

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

**ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ**

ЧАРЛЬЗ ХОРТОН КУЛИ
ИЗБРАННОЕ

Сборник переводов

МОСКВА
2019

ББК 60.5
К 90

Серия
«Теория и история социологии»

**Центр социальных
научно-информационных исследований**

Отдел социологии и социальной психологии

Кули Ч.Х. Избранное: Сб. переводов / РАН. ИНИОН.
К 90 Центр социал. научн.-информ. исследований. Отд. социологии и социальной психологии; сост. и переводчик В.Г. Николаев; отв. ред. Д.В. Ефременко. – М., 2019. – 234 с. – (Сер.: Теория и история социологии).
ISBN 978-5-248-00897-1

Чарльз Хортон Кули (1864–1929) – американский социолог и социальный психолог. Его новаторские идеи и работы оказали значительное влияние на американскую социологию XX в., особенно на Чикагскую школу и символический интеракционизм.

В сборник включены главы из книг «Теория транспорта» (1894) и «Социальная организация» (1909), а также статьи, посвященные общим вопросам социологической теории, природе социальной жизни, социальной динамике и социальным изменениям, социологии знания, социологической критике политической экономии и методологии социальных исследований. Часть текстов публикуется на русском языке впервые.

Для социологов, психологов, всех интересующихся историей идей, преподавателей вузов, студентов и аспирантов.

ББК 60.5

СОДЕРЖАНИЕ

В.Г. Николаев. Социология Чарльза Хортона Кули: Сад расходящихся троп	5
--	---

ТЕОРИЯ ТРАНСПОРТА (1894)

Введение	25
Глава I. Механические и геометрические понятия	27
Глава V. Транспорт и организованное общество в целом	32
Глава VIII. Связь транспорта с организацией, имеющей идеальную цель	36
Глава IX. Транспорт и экономическая организация	43
Глава X. Местоположение городов	56

СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (1909)

Часть II. Коммуникация	64
Глава VI. Значимость коммуникации	64
Глава VII. Рост коммуникации	67
Глава VIII. Современная коммуникация: Расширение и воодушевление	78
Часть V. Институты	85
Глава XXVIII. Институты и индивид	85
Глава XXIX. Институты и индивид (продолжение)	95
Глава XXX. Формализм и дезорганизация	106

РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

Процесс социального изменения (1897)	117
Социальное сознание (1907)	135
Оценивание как социальный процесс (1918 [1912])	148
Институциональный характер денежного оценивания (1913)	156

Сфера денежного оценивания (1913)	169
Политическая экономия и социальный процесс (1918)	185
Корни социального знания (1926)	194
Кейс-стади малых институтов как метод исследования (1928) ..	215
Метод жизнеизучения в приложении к сельским социальным исследованиям (1929)	225

В.Г. Николаев*

СОЦИОЛОГИЯ ЧАРЛЬЗА ХОРТОНА КУЛИ: САД РАСХОДЯЩИХСЯ ТРОП

Чарльза Хортон Кули безвестным не назовешь. В 1930 г., спустя год после его кончины, Роберт Кули Энджелл, его племянник и самый заметный из его учеников, писал: «Не может быть сомнений в непреходящем значении работ Чарльза Хортон Кули, и среди социологов не будет недостатка в оценке его величия»¹. Такие слова типичны для мемориальных публикаций, но чаще всего оказываются последним знаком уважения, предшествующим забвению, иногда очень быстрому. В случае Кули не так: прогноз сбывлся, его до сих пор помнят и, в каком-то смысле, знают; его переиздают и читают (пусть даже преимущественно или только студенты).

При этом, как это часто случается со старой признанной классикой, по мере того, как мы удаляемся во времени от умершего автора, память о нем, знание о нем и его идеях, чтение его работ становятся выборочными, и там, где мы имеем дело с мыслью действительно значимой, время от времени эта выборочность в той или иной мере пересматривается. Идейный мир автора продолжает жить своей самостоятельной жизнью в изменчивых и поразному устроенных копиях и дубликатах, претендующих на соответствие оригиналу, но не всегда хорошо ему соответствующих.

* **Николаев Владимир Геннадьевич** – канд. социол. наук, доцент кафедры общей социологии, департамент социологии, факультет социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва), старший научный сотрудник отдела социологии и социальной психологии ИНИОН РАН (Москва).

¹ Angell R.C. Cooley's heritage to social research // Social forces. – Oxford, 1930. – Vol. 8, N 3. – P. 340.

Мотивом, побудившим издать этот сборник текстов Кули, было осознание того, что расхождение копий и дубликатов с оригиналом очень велико, что последний интереснее и богаче и что он до сих пор сохраняет свою ценность для осмысления того, что такое социология как наука, как она устроена и какие возможности она дает нам для познания социальной реальности, в которой разворачивается наша жизнь.

Чарльз Хортон Кули¹ родился 17 августа 1864 г. в Энн-Арборе, шт. Мичиган. Его отец, Томас Макинтайр Кули, был известным юристом, судьей Верховного суда штата Мичиган, одним из основателей и первым деканом Школы права в Мичиганском университете, а также первым председателем Межштатской торговой комиссии. Сын рос застенчивым, малообщительным и болезненным ребенком (с дефектом речи и глухотой на одно ухо), в тени знаменитого отца. Это обстоятельство часто отмечается биографами как во многом определившее личность Кули: он с детства предпочитал уединение, любил читать, часто предавался грезам; мечты о славе преследовали его всю его жизнь². Постоянные болезни сильно затянули его учебу в Мичиганском университете. Сначала он учился на инженера, и это заняло семь лет, с 1880 по 1887 г. Но его душа не лежала к этому, и в 1888 г. он вернулся в университет, на этот раз изучать экономику. На рубеже 1880–1890-х годов у него возник интерес к социологии. Он познакомился с трудами Г. Спенсера, О. Конта, Г. Тарда, Г. Мэна, Л.Г. Моргана, Л. Гумпловича, А. Шеффле³, встречался с Л.Ф. Уордом и

¹ Биографические сведения почерпнуты в публикациях: Angell R.C. Cooley, Charles H. // *International encyclopedia of the social sciences* / Ed. by D. Sills. – N.Y.: Macmillan: Free press, 1968. – Vol. 3. – P. 367–382; Bain R. Cooley, a great teacher // *Social forces*. – Oxford, 1930. – Vol. 9, N 2. – P. 160–164; Hamilton W.H. Charles Horton Cooley // *Social forces*. – Oxford, 1929. – Vol. 8, N 2. – P. 183–187; Charles Cooley // Wikipedia. – Mode of access: https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Cooley [Accessed 23.08.2018.] Наиболее полная биография Кули написана Э.К. Джени: Jandy E.C. Charles Horton Cooley: His life and his social theory. – N.Y.: Dryden, 1942. Емкий историко-социологический портрет Кули см. в книге: Козер Л. Мастера социологической мысли: Идеи в историческом и социальном контексте / Пер. с англ. Т.И. Шумиловой; под ред. д-ра филос. наук, проф. И.Б. Орловой. – М.: Норма, 2006. – С. 199–236.

² Schwartz B. Emerson, Cooley and the American heroic vision // *Symbolic interaction*. – Hoboken (NJ), 1985. – Vol. 8, N 1. – P. 109–110, 117.

³ Очарование Спенсером, первоначально очень сильное, быстро прошло; наибольшее же впечатление из всей социологической литературы на Кули произвела книга Шеффле «Строение и жизнь социальных тел». См.: Schäffle A.E.F. *Bau und Leben des socialen Körpers*: In 4 Bd. – Tübingen: Laupp, 1875–1878.

Ф. Гиддингсом. В конце 1880-х годов Кули провел больше года в Вашингтоне, изучая статистику трамвайных линий для Торговой комиссии, возглавляемой его отцом; из этого исследования выросла первая его публикация – статья «Социальная значимость трамвайных дорог» (1891). В 1892 г., еще будучи студентом, Кули приступил к преподаванию в Мичиганском университете, в котором работал всю жизнь (в 1899 г. он впервые прочел отдельный курс по социологии). На начало 1890-х годов приходится и его знакомство с Дж. Дьюи: он прослушал по крайней мере один курс Дьюи (по политической философии) и регулярно общался с ним; известно, что Дьюи лично поучаствовал в допуске Кули к преподаванию, когда у того еще не было докторской степени¹. В 1894 г. Кули защитил докторскую диссертацию («Теория транспорта»). После этого он окончательно переключился на социологию, и вся его дальнейшая академическая и писательская карьера связана с ней. Публикации принесли ему уже при жизни широкую известность и высокую репутацию. В 1918 г. он был избран президентом Американского социологического общества. Всю жизнь Кули провел в Энн-Арборе, почти из него не выезжая. 7 мая 1929 г. он умер от неопознанной формы рака.

Наследие Кули сравнительно невелико: пять книг и небольшое число статей. Первой значительной публикацией стала книга «Теория транспорта» (1894), новаторское исследование в области, названной позже человеческой экологией. Далее последовали три книги, составляющие его так называемую «трилогию»: «Человеческая природа и социальный порядок» (1902; в 1922 г. вышло переработанное издание)², «Социальная организация: Исследование

¹ В это же время в Энн-Арборе по возвращении из Европы недолго работал Дж.Г. Мид, и, возможно, Кули был знаком и с ним – по университетским делам, через Дьюи или через чаепития «самоварного клуба», которые Кули регулярно собирал и на которых наверняка бывал Дьюи, тесно с Мидом друживший; Энн-Арбор был маленьким университетским городком, где все друг друга знали. Однако никаких следов это знакомство, если оно было, не оставило. Подробнее об этой истории знакомства / незнакомства Кули и Мида см.: Jacobs G. Influence and canonical supremacy: An analysis of how George Herbert Mead demoted Charles Horton Cooley in the sociological canon // J. of the history of the behavioral sciences. – Hoboken (NJ), 2009. – Vol. 45, N 2. – P. 128–129.

² Cooley Ch.H. Human nature and the social order. – N.Y.: Ch. Scribner's sons, 1902. – (Rev. ed. 1922). Рус. пер.: Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок / Пер. с англ. под общей редакцией А.Б. Толстова. – М.: Идея-Пресс: Дом интеллектуальной книги, 2000. Это единственная книга Кули, полностью переведенная на русский язык.

более широкого разума» (1909)¹ и «Социальный процесс» (1918)². Последняя книга, «Жизнь и исследователь» (1927)³, собрана из переработанных записей из дневника, который Кули вел с 18 лет (сам дневник так и не был полностью опубликован, хотя считается одним из важнейших источников для тех, кто изучает жизнь и наследие Кули). Некоторые статьи, написанные Кули, вошли в его книги как главы (в слегка переработанном виде); часть статей остались самостоятельными текстами. После кончины ученого статьи были собраны под одной обложкой Р.К. Энджеллом⁴.

Тексты Кули с самого начала выделяли его среди других основателей американской социологии. Так, Дж. Винсент в рецензии на «Человеческую природу и социальный порядок» писал: «Этот том – нечто аномальное в социологической литературе, тем не менее мы приветствуем его за саму его неконформность»⁵. Аномальность эта состояла прежде всего в том, что Кули совершенно не был озабочен определением предмета социологии⁶ и даже не пытался утвердить и отстоять ее автономию и право на научный статус. Он был определенно последователен в размышлениях и анализе, но не создал ни стройной теоретической системы, ни специального понятийного аппарата⁷. С недоверием относясь к абстракциям, строгим определениям

¹ Cooley Ch.H. Social organization: A study of the larger mind. – N.Y.: Ch. Scribner's sons, 1909.

² Cooley Ch.H. Social process. – N.Y.: Ch. Scribner's sons, 1918.

³ Cooley Ch.H. Life and the student: Roadside notes on human nature, society and letters. – N.Y.: Knopf, 1927.

⁴ Cooley Ch.H. Sociological theory and social research, being the selected papers of Charles Horton Cooley / With an introduction and notes by R.C. Angell. – N.Y.: Holt, 1930. Другой сборник работ Кули, скомпонованный из наиболее важных статей и глав его книг, был подготовлен и опубликован Х.-Й. Шубертом: Cooley Ch.H. On self and social organization / Ed. by H.-J. Schubert. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1998.

⁵ Vincent G. *Human nature and the social order* by Ch.H. Cooley: Review // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1903. – Vol. 8, N 4. – P. 559.

⁶ Социология определялась им в самом общем смысле – как «наука о человеке в группе» (цит. по: Wood A.E. Charles Horton Cooley: An appreciation // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1930. – Vol. 35, N 5. – P. 709). Так же широко определялся и ее предмет: «А личное общение может рассматриваться либо в его первичных аспектах, о которых идет речь в этой книге, либо во вторичных – таких как группы, институты или процессы. Социология, я полагаю, – это наука о таких вещах» (Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок / Пер. с англ. под общей редакцией А.Б. Толстова. – М.: Идея-Пресс: Дом интеллектуальной книги, 2000. – С. 102).

⁷ Gutman R. Cooley: A perspective // American sociological rev. – Wash.; Thousand Oaks (CA), 1958. – Vol. 23, N 3. – P. 251, 255; Hinkle R.C. Charles Horton Cooley's general sociological orientation // The sociological quart. – Hoboken (NJ), 1967. – Vol. 8, N 1. – P. 5.

и вообще к идее социологии как строгой науки, считая, что задачей социологии является адекватное отражение жизненного процесса, он всячески избегал сползания в абстрактные теоретические построения и постоянно сопровождал все свои рассуждения иллюстративными примерами. Материал для таких примеров и пояснений он брал опять же не там, где его обычно берут социологи. Вместо обычных социологических наблюдений и разного рода данных, в том числе статистических, использовались материалы из художественной литературы, автобиографий, дневников, эссеистики, личные наблюдения (в том числе за собственными детьми)¹. Хотя у Кули есть и узнаваемые характерно научные референции к Ч. Дарвину, Дж. Болдуину, У. Джеймсу, Дж. Дьюи, Дж. Адамс, Дж. Брайсу и т.д., его тексты изобилуют всевозможными литературными и историческими отсылками, личными наблюдениями и впечатлениями². Как для писателя, важнейшими референтными фигурами для Кули были вовсе не социологи, а Гёте, Эмерсон, Торо, Монтень, Патер³. Теория в работах Кули представлена имплицитно, как общая перспектива, как «подспудная рамка», как последовательно и методично выстраиваемое «интуитивное целое», а не как согласованная и проработанная аналитическая

¹ Эта особенность текстов, так же как и основания, из которых она протекает, роднит Кули с представителями чикагской социологической традиции (Hinkle R.C. Charles Horton Cooley's general sociological orientation // *The sociological quart.* – Hoboken (NJ), 1967. – Vol. 8, N 1. – P. 20; Scheff T.J. Looking glass selves: The Cooley / Goffman conjecture: Paper presented at the Memorial session for Erving Goffman at the Annual meeting of the American sociological association. – Atlanta (GA), 2003), от ранних, таких как У.А. Томас, Ф. Знанецкий, Э. Фэрис, Р.Э. Парк, Э.Ч. Хьюз, до поздних, таких как Э. Гоффман.

² А.Э. Вуд отмечает, что дома Кули проще было «застать за чтением скорее французского романа, какой-нибудь книги по литературной критике, об искусстве, путешествиях или биографии, чем тома из новейшей социологической серии» (Wood A.E. Charles Horton Cooley: An appreciation // *American j. of sociology.* – Chicago (IL), 1930. – Vol. 35, N 5. – P. 707). Круг чтения Кули, реконструированный Вудом по его дневнику, включает такие имена, как Марк Аврелий, С. Батлер, Данте, Дарвин, Р.У. Эмерсон, И.В. Гёте, Дж. Герберт, Г. Джеймс, Фома Кемпийский, Ж. де Лабрюйер, Ф. де Ларошфуко, М. Монтень, Б. Паскаль, Ф. Ницше, С. Пипс, Платон, У. Шекспир, Стендаль, Г. Торо, У. Уитмен и т.д. (Ibid. – P. 708). Р. Бейн вспоминает: «Однажды за ужином, когда я спросил его мнение о новейшей социальной психологии, он с улыбкой сказал: “Вы, должно быть, удивитесь, как мало мы, социальные психологи, думаем о книгах друг друга”» (Bain R. Cooley, a great teacher // *Social forces.* – Oxford, 1930. – Vol. 9, N 2. – P. 164).

³ Jacobs G. Charles Horton Cooley, pragmatist or belletrist? The complexity of influence and the decentering of intellectual traditions // *Symbolic interaction.* – Hoboken (NJ), 2012. – Vol. 35, N 1. – P. 24–48.

конструкция¹. Для Кули была важна не столько научная строгость, сколько жизнеподобие, точность и стиль.

Книги Кули писал медленно. Он месяцами делал записи на отдельных листах, накапливал их, время от времени перебирал и сортировал, что-то выбрасывал, что-то переписывал, пока постепенно не складывалась книга². Постепенность была чрезвычайно важна в свете основополагающей для его мировоззрения идеи органического роста: книга, как и всё в жизни, должна была естественным образом вырасти³. Только так, по Кули, можно достичь целостного схватывания жизни. В мысли о жизни должна отразиться сама жизнь во всей ее многогранности, прерывности и непрерывности, тождестве и эмерджентности. «Чтобы мыслить хорошо, нужно знать, как примирить систему со спонтанностью», – писал Кули в своем дневнике⁴.

Отсюда – нелинейность мышления и текстов Кули.

После кончины Кули такое нестандартное, в каком-то смысле, наследие стало основой для многочисленных и очень разнородных интерпретаций⁵. С начала 30-х годов доминирующая интерпретация

¹ Hinkle R.C. Op. cit. – P. 5; Jacobs G. Op. cit. – P. 27.

² Bain R. Cooley, a great teacher // Social forces. – Oxford, 1930. – Vol. 9, N 2. – P. 162.

³ Такую же постепенность Кули практиковал в чтении, по много раз возвращаясь к ранее прочитанному для углубления понимания и переосмысления. Такой же постепенности он ждал от студентов, поощряя самостоятельный выбор темы и длительное погружение в нее до появления «инсайта» и почти не вмешиваясь в подготовку диссертаций, кроме как на финальной стадии, когда было ясно, что исследование уже состоялась и осталось лишь превратить его в текст (Bain R. Op. cit. – P. 161, 162). И требованиям такой же постепенности должно было, согласно Кули, отвечать всякое научное исследование человеческой жизни. Он был убежденным сторонником медленной науки. Бейн отмечает: «Значимые росты медленны, а медленные росты с большей вероятностью органичны. В наши дни, когда так много упора делается на обучение через делание, пожалуй, есть мудрость в теории обучения путем выжидания и обдумывания. Мы требуем от студентов так много чтения, а жизнь в кампусе – так много делания, что остается мало времени и сил для думания и приведения опыта в связные паттерны... [Кули] никогда не спешил, никогда не был нетерпелив. Он твердо верил в суверенную алхимию времени» (Ibid. – P. 162, 164).

⁴ Cooley Ch.H. Life and the student: Roadside notes on human nature, society and letters. – N.Y.: Knopf, 1927. – P. 116.

⁵ Помимо статей и более или менее пространных обращений к идеям Кули в монографиях разной тематики, есть несколько специально посвященных ему книг: Jandy E.C. Charles Horton Cooley: His life and his social theory. – N.Y.: Dryden, 1942; Cooley and sociological analysis / Ed. by A.J. Reiss. – Ann Arbor: Univ. of Michigan press, 1968; Cohen M.J. Charles Horton Cooley and the social self in American thought. – N.Y.;

была задана статьей Мида, содержащей резюмирующую оценку вклада Кули в социальную теорию; в ней было очерчено тематическое ядро теории Кули (Я, природа общества и социального процесса, связь Я с социальным процессом, роль коммуникации в социальном процессе и индивидуальном развитии), а общая позиция Кули была определена как «менталистская», или идеалистическая, локализующая общество в разуме («общество есть разум», «разум есть общество»)¹. Долгое время эта интерпретация, в силу авторитета Мида, не ставилась под сомнение и задавала границы дальнейших интерпретаций. С высоты наших дней она выглядит специфически искаженной: Мид, хотел он того или нет, изобразил Кули так, что тот выглядел всего лишь его предшественником, выдвинувшим ряд ценных и плодотворных идей, но допустившим при этом много ошибок и не доведшим их до той адекватной и завершенной формы, до которой довел их сам Мид в своей социальной психологии².

Несоответствие Кули-мыслителя тому его образу, который нарисовал Мид, легко обнаруживается при внимательном ознакомлении с его работами. Природа человеческого Я – очень важная тема у Кули, но она присутствует у него наряду с другими равнозначными темами, такими как природа, генезис и траектории

L.: Garland, 1982; Schubert H.-J. Demokratische Identität: Der soziologische Pragmatismus von Charles Horton Cooley. – Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1995; Jacobs G. Charles Horton Cooley: Imagining social reality. – Amherst; Boston: Univ. of Massachusetts press, 2006.

¹ Mead G.H. Cooley's contribution to American social thought // *American j. of sociology*. – Chicago (IL), 1930. – Vol. 35, N 5. – P. 693–706. Рус. пер.: Мид Дж.Г. Вклад Кули в американскую социальную мысль // *Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX века: Сб. переводов / РАН. ИНИОН. Центр социал. научн.-информ. исследований. Отд. социологии и социал. психологии; сост. и переводчик В.Г. Николаев; отв. ред. Д.В. Ефременко*. – М., 2010. – С. 129–143.

² Суть и история этого искажения детально разобраны Г. Джекобсом: Jacobs G. Charles Horton Cooley: Imagining social reality. – Amherst; Boston: Univ. of Massachusetts press, 2006; Jacobs G. Influence and canonical supremacy: An analysis of how George Herbert Mead demoted Charles Horton Cooley in the sociological canon // *J. of the history of the behavioral sciences*. – Hoboken (NJ), 2009. – Vol. 45, N 2. – P. 128–129; Jacobs G. Charles Horton Cooley, pragmatist or belletrist? The complexity of influence and the decentering of intellectual traditions // *Symbolic interaction*. – Hoboken (NJ), 2012. – Vol. 35, N 1. – P. 24–48. Джекобс показывает, что взгляды Кули и Мида в ключевых моментах чрезвычайно схожи и представляют собой две версии прагматистской социальной теории, причем в рассмотрении собственно социологической проблематики Кули пошел существенно дальше Мида. Также эти сходства несколько иначе разобраны Х.-Й. Шубертом: Schubert H.-J. The foundation of pragmatic sociology: Charles Horton Cooley and George Herbert Mead // *J. of classical sociology*. – L., 2015. – Vol. 6, N 1. – P. 51–74.

развития институтов, транспорт, медиа и т.п. «Я» у Кули – во многом ментальное образование, но оно не сводится к когнитивным идеям, как это рисует Мид; оно (как и у У. Джеймса, на которого Кули во многом опирался) базируется на самоощущении, которое укореняет его в физическом теле и взаимодействии с материальным миром. Анализ социализации ребенка и формирования его Я в соотношении с социальным окружением – важное и новаторское достижение Кули в контексте изучения связи Я с социальным процессом, но последняя не сводится к этой ограниченной иллюстрации. Понятие первичной группы может отсылать к небольшому сообществу вроде Энн-Арбора, как это усматривается у Кули Мидом, но это не единственный его референт. Коммуникация иногда толкуется у Кули как чисто ментальный (когнитивный) процесс, но принять это толкование как единственное у Кули (на чем настаивает Мид) не выходит, если обратиться ко всему корпусу его работ, в котором коммуникация рассматривается не только как коммуникация идей, но и как коммуникация чувств, страстей, побуждений, а также, прежде всего в «Теории транспорта», как коммуникация тел и физических вещей¹. Что касается упреков Кули в романтическом идеализме, то и они не вполне обоснованы, если помнить, что у него творческое вмешательство в мир, через которое реализуются идеалы, – лишь аспект жизненного процесса, другой стороной которого является инерция и сдерживающее влияние традиции². Итак, отказать Кули в реализме никак нельзя; объективная сторона общества интересовала его так же, как и субъективная, психическая.

Версия социологии Кули, предложенная Мидом, – урезанная, причем выстроенная в логике тех самых «партикуляризов», которые Кули считал главными опасностями для ученого, желающего адекватно описать, понять и объяснить жизненный процесс как в индивидуальных, так и в социальных его аспектах³. Между тем именно она надолго закрепилась в социальных науках и во многом воспроизво-

¹ Стоит обратить внимание, что слово «коммуникация» в английском и русском языках имеет разные коннотации: английскому «communication» соответствует в русском языке не только «общение» (между людьми), но и «сообщение» (как в выражениях «пути сообщения», «железнодорожное сообщение» и т.п.), т.е. «транспортировка», «перевозка».

² См.: Clark M.D. Charles H. Cooley and the modern necessity of tradition // Modern age. – Wilmington (DE), 1994. – Vol. 36, N 3. – P. 277–285.

³ Критике «партикуляризма» посвящена целая глава в книге «Социальный процесс». См.: Cooley Ch.H. Social process. – N.Y.: Ch. Scribner's sons, 1918. – P. 43–51.

дится до сих пор¹. «Целое» социологии Кули было подменено урезанным и неполноценным его дубликатом, дискредитировано и выведено из поля внимания и оборота, а значимость его наследия сведена к нескольким вкладам частного характера, «джентльменский набор» которых включает теорию зеркального Я, теорию социализации и понятие первичных и вторичных групп². «Целое» в его урезанном виде было вписано как ранняя и предварительная работа, еще не вполне научная и больше эссеистическая, в дисциплинарные рамки социальной психологии и традицию символического интеракционизма, и это стало как бы само собой разумеющимся.

Между тем с середины XX в. это классификационное решение все больше ставится под сомнение. Накопившаяся масса альтернативных определений социальной теории Кули – как институциональной экономики³, экономической социологии, социальной экологии, политэкономии⁴, просто эссеистики⁵ и т.д. – волей-неволей заставляет вернуться к тому исходному целому, которое можно столь разнообразно истолковать.

Это целое вряд ли возможно схватить линейно, оно само нелинейное; скорее оно высвечивается как некий гештальт взаимной игрой разных граней, выделяемых и усиливаемых разными частичными интерпретациями. Следует отметить, что эти интерпретации во многом зависят от того, как и в каком объеме берется наследие

¹ В 1950–1960-е годы она утвердилась настолько, что статья Мида была включена в качестве предисловия в переиздание «Человеческой природы и социального порядка» 1964 г.

² Этот набор стандартно воспроизводится за рубежом (особенно в словарях и учебниках) и до сих пор определяет лицо Кули в российской литературе (см., например: Горшков Е.А. Интеракционистский подход Ч.Х. Кули: К определению предмета и метода социальной психологии // Приволжский научный вестник. – Ижевск, 2014. – № 11–2. – С. 80–81). Что касается понятия «вторичная группа», то оно вообще Кули приписано, он его никогда не употреблял (Gutman R. Cooley: A perspective // American sociological rev. – Wash.; Thousand Oaks (CA), 1958. – Vol. 23, N 3. – P. 255).

³ См., например: Angell R.C. Cooley, Charles H. // International encyclopedia of the social sciences / Ed. by D. Sills. – N.Y.: Macmillan: Free press, 1968. – Vol. 3. – P. 380.

⁴ Simonson P. Charles Horton Cooley and the origins of U.S. communication study in political economy // Democratic communiqué. – Boca Raton (FL), 2012. – Vol. 25, N 1. – P. 1–22.

⁵ См.: Jacobs G. Charles Horton Cooley, pragmatist or belletrist? The complexity of influence and the decentering of intellectual traditions // Symbolic interaction. – Hoboken (NJ), 2012. – Vol. 35, N 1. – P. 24–48.

Кули и как интерпретируется соотношение ранних и поздних его работ, прежде всего – «Теории транспорта» и трилогии.

Один путь, предложенный Мидом и Энджеллом (особенно первым)¹, предполагает рассмотрение ранних работ о транспорте как предварительных, незрелых начинаний и локализует суть социологии Кули в трилогии, прежде всего в первой и второй ее книгах. Второй путь, в наиболее завершенном виде находимый у П. Саймонсона², предполагает рассмотрение всех работ Кули как полноценных частей единого, целостного проекта.

На первом пути наиболее прочно утвердилось размещение социологии Кули во взаимосвязанных, хотя и нетождественных областях *символического интеракционизма* и *социальной психологии*³. В рамках такого размещения развернулось несколько важных линий интерпретации.

Одна из линий проясняет значимость Кули для развития *методологии интеракционистского исследования*⁴ и устраняет «слепые пятна» в генезисе и характере этой методологии, созданные, например, такими влиятельными авторами, как Г. Блумер. Сопоставление блумеровской модели качественного исследования с программными предложениями Кули показывает, что многое в ней не было изобретением Блумера (обычно пренебрегавшего ссылками): постулирование качественного отличия социально-научного наблюдения от естест-

¹ Оснований для этого у них, надо сказать, было предостаточно – и, что важно, прежде всего в текстах самого Кули. Как пишет Энджелл, развив в «Теории транспорта» по сути экологический подход, Кули, «неудовлетворенный этим подходом... обратился в 1990-х годах к рассмотрению более фундаментальных процессов ментально-социального комплекса» (Angell R.C. Cooley's heritage to social research // Social forces. – Oxford, 1930. – Vol. 8, N 3. – P. 346).

² Simonson P. Charles Horton Cooley and the origins of U.S. communication study in political economy // Democratic communiqué. – Boca Raton (FL), 2012. – Vol. 25, N 1. – P. 1–22. Саймонсон даже прописывает логику перехода от тематики ранних работ к тематике трилогии через понятие коммуникации (p. 6–7).

³ Образцовый пример этой локализации см.: Горшков Е.А. Интеракционистский подход Ч.Х. Кули: К определению предмета и метода социальной психологии // Приволжский научный вестник. – Ижевск, 2014. – № 11–2. – С. 80–85.

⁴ У Кули методологическим вопросам посвящено пять статей (три из них включены в этот сборник). Главное место среди них занимает статья «Корни социального знания», иногда квалифицируемая как «трактат». Синоптический обзор методологических взглядов Кули можно найти у Энджелла: Angell R.C. Cooley's heritage...

венно-научного; требование прямого и глубокого знакомства с фактами и жизнью в изучаемой области; ориентация на постижение и реконструкцию смыслов («понимание»); предпочтение партисипаторных методов (таких как включенное наблюдение, интервью и т.п.) и особая склонность к кейс-стади; настороженное отношение к статистике (непринятие ее как самодостаточного знания о людях и обществе, атрибуция ей искажений социальной реальности, при допущении ее применения там, где она уместна и дополнена надлежащей интерпретацией, т.е. помещена в целостный смысловой контекст). Вместе с тем есть и контрасты: Кули смелее отстаивает роль интроспекции, интуиции и творческого «симпатического инсайта», свободнее в выборе источников и методов сбора данных¹ (тут он ближе к У.А. Томасу и Р.Э. Парку), придает больше веса частным случаям и откровенно подчеркивает художественную («драматическую») сторону описаний и вообще элемент искусства в научном социальном исследовании. Если обобщить, то, разместив Кули в истории СИ как методолога, мы яснее видим тренд интеракционистских исследований к методологическим самоограничениям, в котором можно усмотреть как шаги в сторону более строгой научности, так и систематическое запрягивание тех их составляющих, которые могли бы испортить этот красивый образ.

Другая важная линия интерпретации связана с *социологией эмоций* и вписывает Кули в эту традицию. Например, Т. Шефф, исследуя социологию Э. Гоффмана и представляя его символическим интеракционистом, нашел у него важную линию преемственности с теорией зеркального Я². Эта связка, как он пытается показать, проливает свет на важное достижение Гоффмана в трактовке природы связи между людьми. Зеркальное Я у Кули предполагает разделяемое сознание («жизнь в умах других людей») и две базовые эмоции (гордость и стыд), которые оно вызывает. С точки зрения Шеффа, Гоффман развивает эту идею, подразделяя стыд на смущение и унижение и добавляя в эту модель управление смущением и стыдом, что позволяет заменить старую интеракционистскую трак-

¹ У.Х. Хэмилтон, учившийся у Кули, пишет: «Кули никогда не говорил нам, что делать и как это делать» (Hamilton W.H. Charles Horton Cooley // *Social forces*. – Oxford, 1929. – Vol. 8, N 2. – P. 185).

² Scheff T.J. Looking glass selves: The Cooley / Goffman conjecture: Paper presented at the Memorial session for Erving Goffman at the Annual meeting of the American sociological association. – Atlanta (GA), 2003; Scheff T.J. Looking-glass self: Goffman as symbolic interactionist // *Symbolic interaction*. – Hoboken (NJ), 2005. – Vol. 28, N 2. – P. 147–166.

товку принятия ролей через поведение и когницию новым тройким синтезом «руки, головы и сердца» и тем самым обогатить концепцию интерсубъективности эмоциональным измерением. Без Кули (как основы и фона) это гоффмановское нововведение оставалось незамеченным и непонятым. Хотя из всех парадигм символический интеракционизм сильнее всего связан с социологией эмоций, никто среди классиков интеракционизма не обращал на тематику социальных эмоций так много внимания, как Кули.

Аналогичное переосмысление, но под другим углом зрения (в оптике прагматизма Ч.С. Пирса) было предпринято в отношении понятия первичной группы, изрядно затасканного и искаженного десятилетиями произвольного употребления. Так, Х.-Й. Шуберт, исходя из того, что базовыми элементами теории социальности являются «коммуникация» и «понимание», показал, что коммуникация в первичной группе (конститутивным для которой является «тесный контакт с другими») – это локус, в котором развиваются ценности человеческой природы как предпосылки понимания, симпатии и социального действия как таковых, т.е. любых общностей и любых групп¹. Понимаемое обычно как очень специальное, понятие первичной группы становится в этой реинтерпретации одним из ключевых звеньев в теоретическом обосновании нормативности значений и коммуникации, а также универсальности общего ядра социального опыта, соединенного с культурными различиями.

Более широким размещением социологии Кули, предлагаемым с 1980-х годов и особенно интенсивно в последнее время, является *прагматистская традиция* в широком ее понимании. Основанием для этого служит влияние, оказанное на Кули философией и психологией прагматизма (У. Джеймсом и Дж. Дьюи)², а

¹ Schubert H.-J. The foundation of pragmatic sociology: Charles Horton Cooley and George Herbert Mead // J. of classical sociology. – L., 2015. – Vol. 6, N 1. – P. 51–74.

² Angell R.C. Cooley's heritage to social research // Social forces. – Oxford, 1930. – Vol. 8, N 3. – P. 340; Clark M.D. Charles H. Cooley and the modern necessity of tradition // Modern age. – Wilmington (DE), 1994. – Vol. 36, N 3. – P. 278, 283; Fackler M. Charles Horton Cooley and the futuristic vision // Qualitative sociology. – B.; N.Y., 1982. – Vol. 5, N 3. – P. 190; Gutman R. Cooley: A perspective // American sociological rev. – Wash.; Thousand Oaks (CA), 1958. – Vol. 23, N 3. – P. 252; Schubert H.-J. The foundation of pragmatic sociology: Charles Horton Cooley and George Herbert Mead // J. of classical sociology. – L., 2015. – Vol. 6, N 1. – P. 51–74; Simonson P. Charles Horton Cooley and the origins of U.S. communication study in political economy // Democratic communiqué. – Boca Raton (FL), 2012. – Vol. 25, N 1. – P. 2.

также то, что он «эксплицитно преследовал цель использовать “прагматический метод” для построения общей социологической теории социального действия, социального порядка и социального изменения»¹. В социологии Кули определенно присутствуют фундаментальные особенности прагматистского мышления: антикартезианская направленность², отрицание психофизического параллелизма³ и стремление к преодолению разного рода дихотомий и дуализмов⁴, диалектика⁵, неприязнь к «механике мышления» и антидогматизм⁶, воздержание от линейных схем и излишней формализации понятий⁷, отсутствие интереса к абстрактным построениям и фокусировка на проблемах, отсылающих к проживаемому опыту⁸, абдукция⁹. Кули, как и другим прагматистам, присущ «органический» взгляд на изучаемые явления, запрещающий вырывать их из взаимосвязей внутри целого, к которому они принадлежат, и изучать обособленно; специальное ограниченное их изучение допустимо, но только для удобства и только как предва-

¹ Schubert H.-J. The foundation of pragmatic sociology: Charles Horton Cooley and George Herbert Mead // J. of classical sociology. – L., 2015. – Vol. 6, N 1. – P. 51.

² Hinkle R.C. Charles Horton Cooley's general sociological orientation // The sociological quart. – Hoboken (NJ), 1967. – Vol. 8, N 1. – P. 14; Schubert H.-J. Op. cit. – P. 51; Simonson P. Op. cit. – P. 7.

³ Schubert H.-J. Op. cit. – P. 52.

⁴ Clark M.D. Charles H. Cooley and the modern necessity of tradition // Modern age. – Wilmington (DE), 1994. – Vol. 36, N 3. – P. 279–281, 284; Wood A.E. Charles Horton Cooley: An appreciation // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1930. – Vol. 35, N 5. – P. 710. Кули систематически уходит от дихотомических противопоставлений, наводнивших социологию («индивид и общество», «индивидуализм и коллективизм», «наследственность и среда», «кооперация и конфликт», «эгоизм и альтруизм», «традиция и конвенция», «подражание и инновация», «внушение и выбор», «инновация и конформность», «индивидуальность и солидарность», «разномыслие и единомыслие», «бихевиоризм и идеализм» и т.д.).

⁵ Hinkle R.C. Charles Horton Cooley's general sociological orientation // The sociological quart. – Hoboken (NJ), 1967. – Vol. 8, N 1. – P. 17.

⁶ Bain R. Cooley, a great teacher // Social forces. – Oxford, 1930. – Vol. 9, N 2. – P. 160–161; Gutman R. Cooley: A perspective // American sociological rev. – Wash.; Thousand Oaks (CA), 1958. – Vol. 23, N 3. – P. 252; Wood A.E. Op. cit. – P. 711.

⁷ Hamilton W.H. Charles Horton Cooley // Social forces. – Oxford, 1929. – Vol. 8, N 2. – P. 186.

⁸ Для Кули, отмечает Р. Гутман, «единственным надежным видом социального знания является знание, схватывающее жизнь во всей ее целостности, как она проживается» (Gutman R. Op. cit. – P. 255).

⁹ Schubert H.-J. Op. cit. – P. 59.

рительное, а выдача его за что-то большее квалифицируется как ошибка, которую Кули называет «партикуляризмом»¹.

Заметим, что при отнесении Кули к прагматизму последний чаще всего сводится к символическому интеракционизму и социальной психологии², что не только неправомерно само по себе, но и прячет от глаз другие стороны социологии Кули, тоже вписывающиеся в прагматизм. Исследуя жизненный и социальный процесс во всей его целостности, Кули обращается не только к «микро», но и к «макро», не только к личности (Я) и микрокоммуникациям, но и к институтам, транспортным инфраструктурам, массовому поведению, медиа, общественному мнению, социальным классам, проблемам бедности, демократии, конфликтам, международным отношениям и т.п. Этот спектр тем определенно невозможно подвести под социальную психологию.

Рассматривая более широкий круг *прагматистских социологий*, у Кули можно найти в зачаточном или даже проработанном виде сравнимые с ними модели анализа и теоретические заходы, пока не получившие достаточного освещения и разбора в комментаторской литературе. Так, теория институтов и их развития, разработанная Кули под заметным влиянием теории эволюции Дарвина и философии развития У. Джеймса³ и включающая такие элементы, как развитие методом проб и ошибок, конкуренция и отбор, выживание или невыживание, диалектика организации / реорганизации и цикл развития (рост, превратности, упадок и разрушение), во многом схожа с интерпретативной институциональной экологией

¹ Здесь четко прослеживается параллель с Э.Ч. Хьюзом, который называл эту ошибку «этноцентризмом», трактуя последний предельно широко и включая в него всевозможные виды узкодисциплинарных сведений явлений к избранным их аспектам. Как и Кули, Хьюз считал эту ошибку одной из самых серьезных угроз для социологии, желающей адекватно схватить и отразить социальную реальность.

² Этот вариант истолкования и идентификации социологии Кули мы уже рассмотрели. См. также: Dewey R. Charles Horton Cooley: Pioneer in psychosociology // An introduction to the history of sociology / Ed. by H.E. Barnes. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1948. – P. 833–852; Farberman H.A. The foundations of symbolic interaction: James, Cooley and Mead // Studies in symbolic interaction. – Greenwich (CT): JAI press, 1985. – Suppl. 1. – P. 13–27; Gunderson R. Sympathetic introspection as method and practice: Cooley's contributions to critical qualitative inquiry and the theory of mind debate // J. for the theory of social behavior. – Hoboken (NJ), 2017. – Vol. 47, N 4. – P. 463–480.

³ Кули считал обсуждение институтов своим главным достижением в книге «Социальная организация» (Bain R. Cooley, a great teacher // Social forces. – Oxford, 1930. – Vol. 9, N 2. – P. 162).

Э.Ч. Хьюза, экологией организаций¹, а также отчасти угадывается как каркас в блумеровской теории моды. Или, например, у Кули обнаруживаются совсем уж удивительные пророчества и интуиции, которые еще недавно прозвучали бы как «откровения» в устах какого-нибудь акторно-сетевого теоретика или постмодерниста: например метафорический образ общества как потока, образованного подвижными наложениями волн, в конце очерка «Процесс социального изменения»², поразительно похожий на описание делезианской элементарной онтологии города у Амина и Трифта³, или предуготовление размывания и смещения границ между реальным и воображаемым в современную эпоху⁴.

Такая многогранность социологии Кули и разнородность заключенных в ней потенциалов позволяют поставить ее в один ряд с *прагматистскими многомерными социологиями* Чикагской школы (У.А. Томас, Р.Э. Парк, Э.Ч. Хьюз, Л. Вирт и др.)⁵, что иногда и делается⁶.

Однако при рассмотрении социологии Кули в полном объеме такая ее идентификация не была единственной. Были и другие.

В 1950–1960-е годы, когда доминирующее положение в социологической теории занял *структурный функционализм*, были попытки разместить Кули в этой традиции как одного из предшественников⁷. Они были мотивированы укреплением американских

¹ Fackler M. Charles Horton Cooley and the futuristic vision // Qualitative sociology. – В.; N.Y., 1982. – Vol. 5, N 3. – P. 190, 192.

² Включен в этот сборник.

³ См.: Амин Э., Трифт Н. Города: Переосмысляя городское / Пер. с англ. В. Николаева. – Нижний Новгород: Красная ласточка, 2017. – С. 39–41.

⁴ См. подробнее: Fackler M. Op. cit. – P. 191, 192–193.

⁵ См.: Николаев В.Г. Многомерные и редукционистские стратегии в чикагской социологии: Случай человеческой экологии // Социологический журнал. – М., 2009. – № 2. – С. 18–55.

⁶ Например, М. Фэклером (Fackler M. Op. cit. – P. 182, 196). Это сходство усиливается, если принять во внимание экологический компонент социологии Кули, содержащийся в «Теории транспорта», включающий, помимо прочего, анализ пространственных структур города, во многом превосходящий модель роста города Э. Бёрджесса.

⁷ Важный документ этих попыток – сборник статей о Кули под ред. А.Дж. Рейсса-мл., вышедший в 1968 г.: Cooley and sociological analysis / Ed. by A.J. Reiss. – Ann Arbor: Univ. of Michigan press, 1968. Показательна статья Т. Парсонса в этом сборнике: Parsons T. Cooley and problem of internalization // Ibid. – P. 48–67. См. также ранее цитированные статьи Р. Гутмана и Р. Хинкла.

корней структурного функционализма. Кули как нельзя хорошо подходил на эту роль: из всех «отцов-основателей» он больше всех повлиял на развитие дисциплины¹; он был «величайшим толкователем холизма в американской социологии»²; в его социологии легко было найти ту масштабность и многомерность, которую развивали сами парсонсианцы³; ряд понятий у него были близки по смыслу к парсонсианским («ценность», «институты» и т.д.); преобладавшее отнесение наследия Кули к социальной психологии явно было слишком узким, а сведение его к ограниченному ряду идей и понятий слишком явно аннулировало значимость целого, из которого эти понятия были изъяты⁴. Попытки воссоздать Кули-теоретика на основе стандартов теоретической работы, принятых в структурном функционализме, могли быть только ограниченными и не могли увенчаться успехом, хотя бы в силу несовместимости этих стандартов с прагматистской эпистемологией. С одной стороны, они сразу же породили ряд искажений, например трактовку «целостностей» Кули как «систем» и «подсистем», соотносящихся ровно так, как у Парсонса⁵. С другой стороны, необходимо было что-то делать с теми сторонами и компонентами мышления Кули, которые не удавалось втиснуть в стройное теоретическое здание структурного функционализма. Оставалось свести их к «неспособностям» Кули выстраивать устойчивые теоретические аргументы и доводить их до конца, сугубой предварительности его работы, «идеализму», «нерациональности» и т.п.; Р. Хинкл, например, отказал Кули в «теории», оставив ему только «общую социологическую ориентацию». Для создания «предшественника», однако, этого было вполне достаточно.

¹ Hinkle R.C. Charles Horton Cooley's general sociological orientation // The sociological quart. – Hoboken (NJ), 1967. – Vol. 8, N 1. – P. 5.

² Ibid. – P. 6.

³ Кули «предвосхитил во многих деталях современную социологическую теорию», – писал Р. Гутман, понимая под последней структурный функционализм. И далее: «...мне кажется, что Кули часто гораздо ближе к этой традиции, чем любой социолог поколения, предшествовавшего Парсонсу и Мертону» (Gutman R. Cooley: A perspective // American sociological rev. – Wash.; Thousand Oaks (CA), 1958. – Vol. 23, N 3. – P. 255, 256). Примерно в том же духе пишет и Р. Хинкл: «Его [Кули] теоретический анализ являет... очевидное предвосхищение некоторых базовых компонентов современной теории социального действия и структурно-функциональной ориентации» (Hinkle R.C. Op. cit. – P. 5).

⁴ Хинкл специально это подчеркивает (Hinkle R.C. Op. cit. – P. 6).

⁵ Хотя для такой трактовки Кули дает, кажется, не больше оснований, чем, например, для трактовки их как «систем» в духе Н. Лумана.

Еще одна крайняя возможность интерпретации, контрастирующая с попыткой соотнести Кули со «строгой» наукой, – истолковать его просто как *литератора*, опираясь на его связь с эссеистической традицией, – не была до конца реализована, но постоянно витала над его фигурой¹, начиная со статьи Мида, представившей его скорее как наблюдателя, чем теоретика. Кули и в самом деле практиковал в своих работах высокоплотное, имажинативное, эвристическое письмо и вел диалог скорее с великими мыслителями других эпох, чем с современными ему социологами. Но если бы дело было только в литературных достоинствах, он никогда бы не вошел в институциональную память социальной науки. Интерес к художественной стороне его работы затрагивает гораздо больше, чем его судьбу в научной памяти; это вопрос о самой природе социологии и о том, как сочетаются (или не сочетаются) в ней наука и искусство. Для Кули искусство было неотъемлемой частью великого дела познания человека: органическая связь социального процесса и частных человеческих биографий, видимо, требовала для своего точного отражения теоретизирования участного типа, высказываний не слишком догматических и жестких, такого «контурного» письма, которое оставляло бы возможность присоединения к нему читателя с его неповторимым частным опытом – как профессионала, так и просто человека. Хорошо это или плохо, такой стиль письма, содержащий в себе всячески лелеемые Кули элементы интуиции и драматизма, мы находим не только у него, но и у многих других социологов, составляющих цвет нашей дисциплины, от ранних чикагцев (У.А. Томаса, Р.Э. Парка, Э.Ч. Хьюза) до новейших классиков вроде Э. Гоффмана или З. Баумана².

¹ Наибольшее приближение к этой крайности среди найденного – статья Б. Шварца (Schwartz B. Emerson, Cooley and the American heroic vision // Symbolic interaction. – Hoboken (NJ), 1985. – Vol. 8, N 1. – P. 103–120).

² Легитимация такого стиля письма позволяет, например, Г. Джекобсу переосмыслить относительные места Кули и Мида в заложении канона символического интеракционизма как равнозначные, взамен мидовской интерпретации Кули как «предшественника». См.: Jacobs G. Influence and canonical supremacy: An analysis of how George Herbert Mead demoted Charles Horton Cooley in the sociological canon // J. of the history of the behavioral sciences. – Hoboken (NJ), 2009. – Vol. 45, N 2. – P. 117–144; Jacobs G. Charles Horton Cooley, pragmatist or belletrist? The complexity of influence and the decentering of intellectual traditions // Symbolic interaction. – Hoboken (NJ), 2012. – Vol. 35, N 1. – P. 24–48.

Обращение к эссеистической стороне работ Кули позволяет также увидеть вещи, при иных углах зрения остававшиеся незамеченными. Так, при рассмотрении связи идей Кули с философской эссеистикой Р.У. Эмерсона Б. Шварц находит важную линию преемственности в переосмыслении идеи «героического»¹. Кули был единственным в своем поколении социологом, который присоединился к европейским дебатам о роли личности в истории и, опираясь на эмерсоновское переистолкование «великого человека» как «репрезентативного человека», воплощающего в себе в концентрированном виде тенденции эпохи (общества), связал «героическое» с совершенством в исполнении той или иной социальной роли. Это позволило, по Б. Шварцу, определить место «героического» в неавторитарном, неаристократическом, массовом, демократическом обществе наподобие американского и увидеть секуляризацию, принижение и девальвацию «героя» и «героического» как стандартное свойство таких обществ².

Еще одна линия интерпретации – неожиданным образом трактуемая ранние работы Кули как основополагающие, а трилогию как новаторское их развитие – размещает Кули в *политэкономической традиции*, прежде всего в традиции *политэкономии коммуникации*³. Этот подход, берущий понятие коммуникации как центральное для Кули и трактующий его в предельно широком смысле (как охватывающее в том числе и транспортировку вещей),

¹ Schwartz B. Emerson, Cooley and the American heroic vision // Symbolic interaction. – Hoboken (NJ), 1985. – Vol. 8, N 1. – P. 103–120.

² Можно и дальше проследить некоторые параллели, о которых Шварц не говорит. Эхо этой идеи Кули мы находим у Э.Ч. Хьюза в связывании исторической роли с социальной ролью и несколько иронической трактовке «героического» как отклоняющегося от нормы совершенства в исполнении ролевых / должностных обязанностей (например, «героизм» целибата как доведенное до совершенства очищение человека от «низменных» помыслов). Другая параллель – анализ понижения «героя» и «героизма» в контексте распада старых сословных структур и становления современного массового крупногородского общества в работах В. Беньямина о Бодлере (см.: Беньямин В. Шарль Бодлер: Поэт в эпоху зрелого капитализма // Беньямин В. Маски времени: Эссе о культуре и литературе / Пер. с нем. и франц.; Сост., предисл. и примеч. А.В. Белобратова. – СПб.: Симпозиум, 2004. – С. 79–172).

³ См. прекрасную работу П. Саймонсона: (Simonson P. Charles Horton Cooley and the origins of U.S. communication study in political economy // Democratic communication. – Boca Raton (FL), 2012. – Vol. 25, N 1. – P. 1–22). Он более, чем кто-либо из комментаторов, акцентирует многомерный, антиредукционистский характер работы Кули (р. 2–3) и рассматривает статью «Процесс социального изменения» (включена в сборник) как связующее звено между «Теорией транспорта» и трилогией.

выносит на передний план медиа¹. В политэкономической традиции уже закрепилось рассмотрение медиа (в марксистском ключе) как способных к саморазвитию производительных сил, определяющих изменчивый каркас, в котором развертываются конституирующие общество коммуникации. Кули в этом контексте предстает как важное связующее звено между европейскими теоретиками медиа XIX в. (А. Шеффле, Г. Тардом) и – через чикагских исследователей медиа и коммуникаций (Р.Э. Парка, Х.М. Хьюз и др.) – канадским политэкономом и теоретиком медиа Г. Иннисом и, далее, Г.М. Маклюэном. В других истолкованиях наследия Кули, ориентированных на более узкое интеракционистское понимание коммуникации, увидеть Кули как раннего классика и одного из родоначальников медиаисследований и медиаэкологии вряд ли было возможно.

Наконец, несколько слов в заключение. В 1967 г. Р. Хинкл опубликовал статью о Кули в «Sociological quarterly» как запоздалое извинение за то, что столетие со дня рождения ученого прошло незамеченным. Спустя полвека этот сборник публикуется как еще одно запоздалое извинение – за то, что для нас прошло незамеченным 150-летие со дня рождения подлинного мастера социологической мысли. Сегодня, когда мы, похоже, заблудились в саду расходящихся троп, не будет лишним еще раз вернуться к наследию, в котором эти тропы были все еще в едином саду. Работы Кули, несмотря на давность, до сих пор очаровывают смелостью и нетривиальностью мысли, способностью разрывать шаблоны и открывать горизонты. В конце концов, как говорил Х.Л. Борхес, «если текст хорош, какая разница, написан ли он сегодня утром, или веков двадцать назад, или еще только будет написан».

О составе сборника

При составлении сборника были приняты во внимание два главных соображения. Во-первых, было решено не включать в него, несмотря на всю их важность, работы, уже переведенные на русский язык. Поэтому, и только поэтому, здесь отсутствуют тек-

¹ На эту сторону работы Кули обращает внимание и М. Фэклер (Fackler M. Charles Horton Cooley and the futuristic vision // Qualitative sociology. – В.; N.Y., 1982. – Vol. 5, N 3. – P. 182–198), но он преимущественно излагает ее, не затрагивая ее далеко идущую значимость.

сты о зеркальном Я и первичных группах¹. Во-вторых, мы хотели представить Кули наиболее полно и многосторонне, подобрав главы из книг и статьи так, чтобы была решена эта задача. Эта подборка была ограничена заданным объемом, и, разумеется, при иных обстоятельствах ее можно было бы расширить. Наверное, лучшим решением был бы полный перевод книг Кули. Будем надеяться, что когда-нибудь это случится.

Часть переводов, представленных в сборнике, публиковалась ранее в РЖ «Социальные и гуманитарные науки», сер. 11 «Социология» (ИНИОН РАН). Для настоящего издания они были заново отредактированы, в ряде случаев существенно. Часть переводов публикуются впервые.

¹ Те, кто хочет прочитать о зеркальном Я, могут обратиться к полному переводу книги «Человеческая природа и социальный порядок» (Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок / Пер. с англ. под общей редакцией А.Б. Толстова. – М.: Идея-Пресс: Дом интеллектуальной книги, 2000). Текст о первичных группах тоже переведен на русский язык: Кули Ч. Первичные группы / Пер. Т. Новиковой // Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В.И. Добренкова. – М.: Изд. Международного ун-та бизнеса и управления, 1996. – С. 328–333.

ТЕОРИЯ ТРАНСПОРТА (1894)*

Введение

Занявшись по случаю изучением транспорта в ряде тех практических аспектов, которые сегодня нуждаются во внимании, я пришел к убеждению, что если мы хотим когда-нибудь разобраться в этой теме, то нужно начать издалека, причем дальше, чем пишущие о нем обычно это делают. Поэтому я задумал написать теорию транспорта, которая развернула бы его наиболее важные связи с экономической и политической жизнью. Примерно в это же время началось мое знакомство с работами новейшей школы социологов, и я подумал, что их анализ общества, особенно работу Шеффле¹, можно взять за основу для осуществления моего плана.

Следовательно, настоящий очерк является попыткой свести воедино эти две вещи: написать теорию транспорта с социологической точки зрения.

Хотя многие из затронутых здесь вопросов были и остаются предметом непрерывного обсуждения, другим уделяли мало внимания. Прежде всего это касается теории местоположения городов, которой я посвятил главу. Я думаю даже, что анализ территориальных связей общества, предложенный в главах IX–XIII, открывает важную область социальных исследований, которой до сих пор во многом пренебрегали. С тех пор как в 1841 г. была опубликована

* Перевод сделан по источнику: Cooley Ch.H. The theory of transportation // Publications of the American economic association. – Pittsburgh (PA), 1894. – Vol. 9, N 3. – P. 5–7, 13–20, 40–45, 62–100. Впервые был опубликован в журнале: Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ/ РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2018. – № 3. – С. 245–266. Главы IX, X публикуются впервые.

¹ Schäffle A.E.F. Bau und Leben des socialen Körpers. – Tübingen: H. Laupp, 1896. – Bd. 1.

работа Коля, я не знаю ни одного всестороннего и связного исследования в этой области демографии, или демографической социологии, в котором освещались бы силы и законы, определяющие территориальное распределение людей и богатства¹. В отношении теории поселения, теории местоположения городков и городов, законов, которые определяют их размер, плотность населения и внутреннюю структуру, мы находим мало понимания.

Этими исследованиями в Соединенных Штатах явно пренебрегали. Но здесь мы имеем богатейший материал для разработки этой области науки – даже более богатый, чем где-либо когда-либо существовавший. В памяти еще живущих людей хранится то, как наша страна заселялась и как вырастали городки и города – не без действия тех законов, которые до сих пор остаются несформулированными.

Что касается практического значения таких исследований, то, надеюсь, я показал, что как минимум разумное решение железнодорожного вопроса должно опираться на изучение территориальной демографии. И, полагаю, столь же важно это исследование для ученого, изучающего экономическую и социальную жизнь во многих других аспектах.

Я, конечно, вовсе не хочу сказать, что в русле этого очерка не было многое сделано раньше. Есть, по крайней мере, четыре важных работы, посвященных в значительной степени общей теории транспорта, в отличие от таких частных ее отраслей, как теория железнодорожных тарифов. Речь идет о следующих трудах: «Транспортировка и поселение людей в зависимости от рельефа местности» [*«Die Verkehr und die Ansiedelungen der Menschen in ihrer Abhängigkeit von der Erdoberfläche»*] Коля², «Национальная экономика ремесел и торговли» [*«Nationalökonomik der Handels und Gewerbflusses»*] и «Средства сообщения в народном и государственном хозяйстве» [*«Die Verkehrsmittel in Volks- und Staatswirtschaft»*] Рошера и «Преобразования средств транспортировки и их экономические и социальные

¹ Многое в этой области делают сегодня люди, подходящие к ней со стороны географии. Важнейшей работой тут является, видимо, «Антропогеография» проф. Ратцеля; первая ее часть вышла в 1882 г., вторая – в 1891 г. (Ratzel F. Anthropogeographie. – Stuttgart: Verl. von J. Engelhorn, 1899. – Bd 1–2). Недавно этот автор выпустил еще одну книгу – «Политическую географию Соединенных Штатов» (Ratzel F. Die politische Geographie der Vereinigten Staaten von Amerika. – München: Druck u. Verl. von R. Oldenbourg, 1893).

² Эта важная работа попала мне в руки уже после того, как данный труд был написан.

последствия» [«La transformation des moyens de transport et ses conséquences économiques et sociales»] де Фовиля¹.

Не нужно и говорить, что экономическая литература, в особенности в Америке, богата исследованиями железнодорожного и водного транспорта, а также проблемы их общественного регулирования. Какие бы достоинства ни содержались в настоящей работе, они состоят в попытке взглянуть на дело с несколько иной точки зрения.

Глава I.

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ

Мы мыслим транспортировку как перемещение вещей – любого рода масс – из одного места в другое. Все соответствующее этому описанию подпадает под эту идею в ее наиболее общей форме. Если добавить сюда представление, лежащее в основе всякого действия, направленного на цель, а именно что его превосходство состоит в достижении этой цели с как можно меньшими затратами времени и силы, то мы получим самую общую основу, какая только возможна, для оценки транспорта с механической точки зрения. С этой точки зрения лучшей будет транспортировка, перемещающая вещи с наименьшим приложением сил и за самое короткое время. Следовательно, единственным фундаментальным критерием будет скорость, экономия силы же, преломленная через действительные условия, означает дешевизну. Даже при сложнейшем развитии транспорта скорость и дешевизна никогда не перестают быть простейшими критериями эффективности.

К ряду немаловажных понятий можно прийти, если рассмотреть также в простейшей форме геометрические условия транспортировки. Представим большую страну, не испещренную морями, гора-

¹ Kohl J.G. Der Verkehr und die Ansiedlungen der Menschen in ihrer Abhängigkeit von der Gestaltung der Erdoberfläche. – Dresden: Arnoldsche Buchhandlung, 1841; Roscher W. Nationalökonomik des Handels und Gewerbfleisses: Ein Hand- und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studierende. – Stuttgart: Verl. der J.G. Cotta'schen Buchhandlung, 1881; Sax E. Die Verkehrsmittel in Volks- und Staatswirtschaft. – Wien: A. Hölder, 1878 (в тексте Кули эта книга ошибочно приписана В. Рошери. – *Ред.*); de Foville A. La transformation des moyens et transport et ses conséquences économiques et sociales. – P.: Libr. Guillaumin et Cie, 1880. – *Прим. ред.*

ми и реками, а полностью равнинную и разбитую на однородные по размеру земельные участки. Представим далее, что нужно создать всеохватную транспортную систему, которая связала бы каждый из участков с любым другим. Какую форму приняла бы эта система? Какой была бы планировка дорог? В строительстве дорог, разумеется, всегда присутствует тенденция к принятию кратчайших путей. Но буквальное и абсолютное применение этого принципа потребовало бы строительства дорог от каждой точки к каждой другой – иначе говоря, превращения в дороги всей земной поверхности, с огромными затратами труда и полным разрушением фермерских хозяйств. Ясно, что должен быть найден какой-то компромисс между принципом, требующим прямизны дорог, и принципом, требующим экономии труда и пространства. Показ того, какой именно план дорог сложился бы из этого компромисса, потребовал бы от нас решения довольно сложной математической задачи; но и без этого, наверное, достаточно ясно, что решение должно основываться на сложной разветвленной системе. Каждое соседство собирало бы то, что ему нужно отправить, в какой-то центральной точке, а оттуда его перемещение осуществлялось бы уже по общей дороге. Эти центральные точки находились бы в той же связи друг с другом, что и расположенные по соседству фермы; дороги, идущие от них, концентрировались бы в других точках. И так далее, пока, наконец, все самые длинные перемещения у нас не осуществлялись бы по небольшому числу больших дорог, из которых несколько самых важных соединялись бы в центре страны. Общим эффектом оказалась бы сложная радиальная структура с первичными, вторичными и т.д. компонентами¹.

¹ Явно есть общая аналогия между дорогами и артериями живого тела, прожилками листа, стволом, ветвями и веточками дерева и другими каналами биологической коммуникации. Детальную проработку некоторых сходств функции и структуры можно найти у Спенсера в его «Социологии» (т. 1, гл. 8). Однако вопрос о геометрическом упорядочении у него не рассматривается.

Упорядочение дорог, о котором говорится в тексте, на самом деле вообще не было бы похоже на упорядочение прожилок листа, артерий или ветвей. Хотя эти биологические системы ветвятся во многих точках, у них есть, на мой взгляд, только один центр, только один пункт назначения для движений с периферии внутрь – как, например, сердце в кровеносной системе. Другие части не сообщаются друг с другом напрямую, только через сердце. Следовательно, эти системы простые, и единственная задача их упорядочения – облегчить доступ к единичному центру. Социальная циркуляция, напротив, очень сложна и имеет тысячи центров, по-разному подчиненных друг другу. Каждая деревня – центр собственного движения и сама по себе маленькое сердце. Второстепенные городки не сообщаются друг с другом только через посредство какого-то крупного города,

Хотя этот гипотетический случай никогда не реализуется на практике, все же есть некоторое приближение к нему в крупных сельскохозяйственных ареалах, как, например, в долине Миссисипи в Соединенных Штатах. Если вспомнить, как сельские дороги расходятся во всех направлениях из сельских городков, а затем, взглянув на карту, обратить внимание на то, как сходятся в некоторых точках железные дороги, на которых стоят эти городки, и как дальше вся эта система сводится воедино в немногочисленных центральных точках, таких как Чикаго, то мы получим поразительную иллюстрацию того, как действует обсуждаемый нами принцип. В других частях страны, где в дело вмешиваются горы или озера, радиальное упорядочение размывается или вовсе исчезает.

Интересный материал для исследования геометрических отношений в транспортировках дает упорядочение улиц в городах. Здесь мы видим два главных принципа, определяющих планировку улиц: принцип разветвления, или радиальный принцип, наиболее удобный с точки зрения транспорта, и прямоугольное упорядочение кварталов, наиболее удобное с точки зрения архитектуры, строительства, обмера земли и межевания земельных участков. Мало в каких городах не обнаруживаются следы действия обоих принципов. Ветвящаяся планировка редко осуществляется детально в аранжировках меньших улиц, но часто ясно представлена в генеральном плане города в виде схождения важных улиц в одном или более центрах.

Существует заметное различие в планировке между старыми городами, сложившимися посредством медленного и естественного роста, и быстро созданными городами наших западных штатов. В первых преобладает радиальный принцип, в последних – прямоугольный. Так, старая часть Бостона, улицы которой, говорят, были проложены коровами, дает нам почти идеальный пример радиального упорядочения. Было бы несправедливо по отношению к коровам думать, будто в этих улицах нет никакого плана; он в них есть, но это не тот план, к которому мы больше всего привыкли. В свою очередь в Чикаго единственный след радиального упорядочения представлен немногочисленными улицами и авеню, рассекающими по диагонали

которому они подчинены; они сообщаются и напрямую. Так обстоит дело с каждой частью системы. В итоге мы имеем не одноцентровое, а многоцентровое упорядочение, которое может тем не менее обладать некоторым единством, проистекающим из подчинения малых центров крупным.

Ср.: Jenks J.W. Road legislation for the American state // Publications of the American economic association. – Pittsburgh (PA), 1889. – Vol. 4, N 3. – P. 49 et seq.

во всех иных отношениях прямоугольную планировку. Видимо, эти авеню помечают места сельских дорог, существовавших здесь до того, как был заложен город, каким мы теперь его знаем. Европейские города являют нам почти во всех случаях решительно радиальную планировку улиц. В некоторых из них она по тем или иным причинам размыта; причиной может быть, например, гористое место, река, пересекающая город нерегулярным образом, наличие нескольких центров вместо одного. Но даже в этих случаях, где с первого взгляда, возможно, улавливается лишь путаница, более пристальный взгляд обнаруживает отчетливое схождение к одной или более центральным точкам. Среди крупных столичных городов Париж и Вена являют своими общими планировками прекрасные иллюстрации радиального упорядочения.

Схожую разницу в планировке обычно можно увидеть там, где старые города расширялись путем строительства современных пригородов. Новые кварталы почти всегда можно отличить от старых, просто взглянув на карту и отметив, где преобладают нерегулярные разветвленные упорядочения, а где – прямые углы и регулярные кварталы. Недавно построенные пригороды европейских городов обычно такие же прямоугольные, как Чикаго.

Причину этого многообразия в упорядочении, этого различия между старыми и новыми городами в том, насколько они отвечают геометрическим требованиям к транспортировкам, далеко искать не надо. Там, где рост происходит постепенно и упорядочение возникает непредумышленно, где тропы постепенно становятся дорогами, а дороги по прошествии долгого времени превращаются в городские улицы, иными словами, где очертания города складываются без внимания к требованиям строительства и удобства межевания земельных участков, преобладает естественное упорядочение. С другой стороны, там, где упорядочение планируется заранее, выбирается как более удобное прямоугольное упорядочение. Город Вашингтон дает нам превосходный образец продуманного и научного примирения этих двух идей. К планировке, в целом прямоугольной, добавлена система диагональных авеню, а главная точка их схождения располагается в общенациональном Капитолии¹.

¹ Не будет невероятным предположить, что при планировании Вашингтона учитывалось удобство расчистки радиальных улиц из пушки, поставленной в их центре. Но не все из диагональных улиц ведут к Капитолию.

Наиболее общая и постоянная классификация транспортного механизма разбивает его на путь, транспортное средство и движущую силу. Эти элементы практически всегда присутствуют во всякой транспортировке, хотя, строго говоря, абсолютно необходим только последний. Невозможно представить, чтобы движение осуществлялось без приложения силы. Если под путем подразумевать специализированную дорогу, на всем протяжении которой искусственно снижено сопротивление движению, то ясно, что он не будет незаменимым элементом транспортировки. Так, о морской торговле вряд ли можно сказать, что она использует путь в этом смысле, если только речь не идет об использовании искусственных каналов и гаваней. То же в случае движения караванов через пустыню. С другой стороны, путь может принять форму, целиком вбирающую в себя средство и не оставляющую последнему отдельного существования. Так, акведук или трубопровод для передачи нефти вообще не требуют никакого отдельного средства.

Путь возникает из необходимой связи транспортировки с земной поверхностью, и его характер в ту или иную эпоху и ход его развития в очень большой мере определяются изменчивой природой этой поверхности. Из этой основополагающей связи вытекает тесная связь между исследованиями транспорта и изучением физической географии. Нельзя даже надеяться понять транспорт, не поняв в то же время географических фактов, которые его обуславливают. А так как эти географические факты постоянны, по крайней мере по отношению к социальным фактам, которые изучение транспорта тоже должно охватить, то теория их влияния служит основой для теории транспорта.

Эта географическая связь подводит нас к третьему общему критерию эффективности транспорта, вдобавок к уже названным скорости и экономии. Это степень независимости от природных особенностей, которой удастся достичь в месте пролегания пути. Дело не только в более быстром и более экономном перемещении, но и в обеспечении доступности скорости и экономии в новых местах. Значительная часть механического прогресса в области транспорта состоит в распространении транспортировок на участки земной поверхности, прежде сравнительно недоступные.

На подвижное средство и движущую силу можно смотреть как на инструменты, посредством которых сила, извлеченная из того или иного первичного источника, к которому человек имеет доступ, организуется и ставится на службу транспортным применениям. На раннем этапе развития передачи используется сила,

поставляемая в какой-нибудь непосредственной и очевидной форме природой: собственная физическая сила человека, сила тягловых животных, сила волн, течений и ветров. Прогресс с этой точки зрения состоит главным образом в использовании все больших сил и во все более экономной их утилизации. В особенности же прогресс заключается в экономии сил самого человека и во все большем использовании иных сил. С этой стороны изучение транспорта тесно связано с изучением технического развития в целом.

Непосредственной задачей транспортировки в связи с физическими чертами земной поверхности является, стало быть, преодоление природных препятствий посредством использования естественных сил. Эти препятствия и силы как глубочайшие и самые постоянные ее условия создают основу для различных видов перевозки и передачи, действительно встречающихся в истории. Разделение перемещений на сухопутные и водные и классификация препятствий как сухопутных и водных имеют фундаментальное значение для изучения этого предмета, а исследование различных сил, которые когда-либо использовались, и способы их использования для преодоления препятствий эквивалентно изучению механического развития транспорта.

В трех следующих главах я собираюсь предложить очерк теории этого механического развития.

Глава V.

ТРАНСПОРТ И ОРГАНИЗОВАННОЕ ОБЩЕСТВО В ЦЕЛОМ

Характер транспорта в целом и в деталях, в любое конкретное время и на протяжении всей его истории полностью определяется его взаимосвязями с физическими и социальными силами и условиями. Понять транспорт – значит просто проанализировать эти взаимосвязи. До сих пор наше внимание ограничивалось, насколько возможно, более простыми и более очевидными условиями – физическими. Теперь мы приступаем к более сложному вопросу о социальных связях транспорта.

Потребность в движении вещей и людей лежит в основе любого вида социальной организации, любого института. Оно одинаково необходимо для той экономической организации, которая

обеспечивает общество пищей и другими материальными благами, и для тех психических организаций – церкви, образования, исследования и т.п., – которые, будучи идеальными в своих целях, требуют материальных инструментов для их достижения. Перенос книг, научных инструментов и, прежде всего, людей, нагруженных разнообразными социальными функциями, по-своему так же необходим для общества, как и перемещение более грубых материальных веществ. Не может быть адекватной теории транспорта, проявляющей интерес только к какой-то одной стороне его социальной функции, например экономической. Это не единственная его сторона, и нельзя, не погрешив против истины, сказать, что она важнее других. Все стороны равнозначны и одинаково незаменимы для социального прогресса.

Именно потому, что транспорт лежит в основе социального развития, он в свою очередь определяется этим развитием. Это орудие экономических, политических, военных организаций, и характер этого орудия меняется в зависимости от их потребностей. Самые постоянные условия его прогресса – это естественные препятствия, которые ему приходится преодолевать, и те естественные силы, которыми он пользуется; но даже они в практическом своем преломлении соотносятся с социальным развитием. Искусство научной навигации превращает встречный ветер из препятствия в помогающую силу. Когда люди открывают, как можно воспользоваться углем посредством пара и парового двигателя, это оказывается сродни новому и обильному созданию природной энергии. Естественные силы были всегда, но для человека они существуют лишь постольку, поскольку открыты и используются с помощью искусства. Механические искусства опять-таки не развиваются случайным образом, а тесно связаны с экономическими и политическими условиями, а также с прогрессом физической науки. Мы располагаем железными дорогами не только благодаря изобретательности таких людей, как Стефенсон, но и благодаря тому, что за этой изобретательностью стояла требовавшая ее великая экономическая потребность эпохи. Главными характерными чертами экономической революции, начавшейся в конце предыдущего столетия, были промышленная концентрация и специализация. Они не смогли бы так далеко развиться без лучших средств сухопутного передвижения, и сначала каналы, а затем железные дороги дали такие средства. Железная дорога неразделимо связана с другими переменами этой эпохи, отчасти как их причина, отчасти как их следствие.

Какова, в общем и целом, социальная функция транспорта?

С социологической точки зрения, это средство физической организации общества. Будучи развитием или эволюцией, организация социальных сил подразумевает унификацию цели, специализацию деятельности с учетом общей цели и растущую взаимозависимость между частями общества. Такая организация, такое расширение связей предполагает механизм, посредством которого эти связи могут существовать и становиться осязаемыми. Этим механизмом является Коммуникация, в самом широком смысле слова: коммуникация идей и физических благ между одним временем и другим и между одним местом и другим. Это нити, скрепляющие общество воедино; от них зависит всякое единство. И транспорт, как средство материальной коммуникации между одним местом и другим, оказывается среди этих нитей одной из самых крепких и самых заметных.

Согласно этой концепции, коммуникацию, или механизм социальной организации, можно аналитически разложить следующим образом.

Механизм материальной коммуникации:

- коммуникация из места в место: транспортировка;
- коммуникация во времени: хранение и т.п.

Механизм психической коммуникации:

- коммуникация из места в место: жестикуляция, речь, письмо, печать, телеграфия, почтовые отправления и т.д.;
- коммуникация во времени: письмо и печать, рассматриваемые как средства регистрации и сохранения мысли на значительные периоды времени; обычай, подражание, наследственность как охранительные агенты.

Каким бы несовершенным ни был этот анализ, он достаточно хорошо показывает, какая роль здесь отводится транспорту в социальном механизме в целом. Это универсальная организующая машинерия, разными способами специализированная соответственно различным видам организации. Далее в главах этой книги я попытаюсь, насколько смогу, пролить свет на эти более специальные связи.

Из запутанности этих связей, из того, что транспорт – всего лишь одна из красок в социальной картине, следует, что мера его эффективности изменчива. Единственный идеально общий критерий состоит в том, что транспорт эффективен настолько, насколько способствует актуальному типу социального развития. С движением прогресса и усложнением условий этот критерий значит все больше и больше. В основе его лежат механические критерии, установленные в первой главе: что транспорт тем эффективнее, чем больше вопло-

щает в себе скорость, дешевизну, или экономию силы, и независимость от природных препятствий. С социальной точки зрения очень важным и постоянно предъявляемым требованием становится безопасность – безопасность перевозимых людей и вещей, их защита от любых потерь или повреждений. Высокоразвитые средства удовлетворения этого требования мы видим во всех сложных современных устройствах, нацеленных не только на безопасность, но и на устранение мельчайших неудобств в путешествии и перемещении благ. К этим общим критериям каждая разновидность и стадия социального прогресса добавляет свои детали. Система военных перевозок должна быть тщательно приспособлена к действительным и возможным военным условиям. В преимущественно промышленных обществах, где получили признание принципы свободы и равенства, основополагающим требованием к транспорту становится справедливость ко всем индивидам, и это требование лежит в основе нынешней проблемы железных дорог.

Следовательно, для развития теории транспорта, претендующей на хотя бы какую-то адекватность, надо разобрать по отдельности ее связи с разными социальными институтами. С этой целью я для удобства разобью институты на классы: военные, политические, экономические и идеальные. В последние будут включены все формы организации, имеющие прежде всего религиозные, этические, интеллектуальные или художественные задачи. Достаточным оправданием этой классификации служит то, что она хорошо соотносится с конкретными фактами истории. Эти классы институтов – те самые, которые действительно наиболее очевидны при изучении прошлого. Когда институты начинают дифференцироваться, они дифференцируются именно так. Для других исследований, вполне вероятно, были бы сочтены предпочтительными другие классификации. В изучении общества много аспектов, и каждый может потребовать новой классификации социальных фактов.

Когда обсуждается связь средств перемещения с любой выделенной фазой общества, исследование можно видеть как двустороннее: во-первых, оно выявляет определенные упорядочения, находимые в самом транспорте, во-вторых, связь транспорта с подобными институтами в обществе в целом. Различные виды деятельности, характеризующиеся как военные, политические, экономические и идеальные, вырабатываются не только через такие большие специализированные организации, как армия, государство, экономический обмен, наука и искусство, но также в большей

или меньшей степени через подчиненные упорядочения, существующие во всех социальных институтах, в том числе в институтах транспорта. Очевидно, например, что такое высокоразвитое средство перевозок, как система железных дорог, требует внутренней политической организации, имеющей огромную сложность и значимость. И так же обстоит дело с другими видами деятельности.

Глава VIII.

СВЯЗЬ ТРАНСПОРТА С ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ ИДЕАЛЬНУЮ ЦЕЛЬ

Помимо принуждающего государства, или политической организации общества в узком смысле, и промышленной, или экономической, организации, есть еще третий ясно выраженный тип организации, отличимый по более идеальной цели. На ранней ступени прогресса все идеальные цели общества обычно охватывает, вбирая их в себя, религиозная организация. В каком бы виде ни существовали филантропия, общее образование, исследования и т.п., всё существует как часть религии. Позднее идеальная организация сложным образом дифференцируется, и филантропия, образование, искусство, наука обретают свои более или менее особые социальные машинерии. Примерами позднейшего развития идеальной организации служат школы, колледжи и университеты, всевозможного рода филантропические учреждения, общества содействия социальным реформам, ученые общества и т.п.

Наиболее общим фактом, заслуживающим внимания в связи с ранней эпохой, является то, что среди состояния войны, обычно преобладавшего в древности, религиозная организация была единственной силой, способной обеспечить хотя бы временный мир между враждующими племенами и государствами. Промышленность, торговля и другие мирные занятия всюду в мире находили пристанище под крылом религии. Они ненавязчиво начинали свой путь под ее защитой и оставались под ней до тех пор, пока не набирали достаточно силы для самостоятельного развития. Религия, руководствуясь своими целями, всегда настаивала на почтительном отношении к священным временам и местам, в которых враждебные чувства должны прерываться. Эти времена и места давали возможности для

торговли. Религиозные празднества и священная земля возле церквей и храмов неразрывно связаны с ярмарками и рыночными площадями.

Так, у пастушеских народов, у которых впервые возникла сухопутная торговля, издавеле периодически отмечались, как и до сих пор отмечаются, праздники, уходящие своими корнями в родство крови, речи и религиозной традиции между соседними племенами¹. Эти собрания, сопровождавшиеся прекращением вражды и – в случае мест, почитаемых как священные, – сбором паломников из дальних мест, были, как и в других случаях по всему миру, поводом для обмена товарами, и он перерастал при благоприятных обстоятельствах в регулярную ярмарку. Такие празднества и паломничества с сопутствующей транспортировкой, коммуникацией и диффузией искусств и знания были, несомненно, древнейшими центрами зарождавшейся коммерческой деятельности. Так, в ранней истории христианской Европы «ярмарки возникали на могилах святых или в других священных местах в связи с годовщинами, для которых требовалась поначалу всяческая провизия, а потом стали свозить товары на продажу»². Эти ярмарки остаются главным местом коммерческого обмена и основным пунктом назначения торговых транспортировок, пока более устойчивая политическая организация не берет торговлю и транспорт под свою опеку и не дает им более безопасный и удобный механизм. Там, где, как у пустынных народов, централизованной политической организации не сложилось, эта тесная связь религии и торговли может продолжаться до бесконечности. Мекка всегда была как религиозным, так и промышленным центром Аравии, и связь эта настолько древняя и тесная, что непонятно, что здесь причина, а что – следствие. Религиозный праздник был и остается большой ярмаркой; движение паломников и движение товаров неотделимы друг от друга³.

¹ См. ссылки в примечании: Cooley Ch.H. The theory of transportation. – P. 57.

² Spencer H. Descriptive sociology: A cyclopedia of social facts representing the constitution of every type and grade of human society, past and present, stationary and progressive. – N.Y.: D. Appleton & co., 1883. – N 8: The social history of France. – Table 4. На с. 133 и 134 этого номера и в выжимках, собранных под рубрикой «Распределение» во всех номерах этого издания, содержится много сведений, иллюстрирующих раннюю связь религии с торговлей. См. также: Ashley W.J. An introduction to English economic history and theory. – L.: Rivington's, 1888. – Vol. 1: The middle ages. – P. 69.

³ Smith W.R. Mecca // Encyclopaedia Britannica. – 11th ed. – Chicago (IL), 1911. – Vol. 17. – P. 950–955.

По схожей причине старейшим местоположением магазинов и рынков в разных странах Европы были соборные площади и земли возле монастырей и других религиозных построек¹. Эти места находились обыкновенно под церковной юрисдикцией, и духовенство использовало эту юрисдикцию так, чтобы поощрять торговлю. Также монашество и духовенство поощряло и практиковало мануфактуры невоенного типа. Все, что мы высказали здесь в отношении транспорта, применимо и к экономическому прогрессу в целом.

Строительство и улучшение дорог, мостов и т.п. в Средние века часто было прямым объектом филантропической деятельности со стороны монахов и духовенства. Епископы и другие церковные владыки нередко затевали подобные общественные работы; была даже конгрегация монахов, *fratres pontifices*², специально созданная для строительства мостов и обеспечения паромной переправы на благо коммерции и путешествий.

Во всем, что говорилось выше, внимание обращалось прежде всего на важность религиозной организации в стимуляции экономического движения товаров. Но, как и в случае военной и политической организаций, с религией в данном случае связан особый, неэкономический вид транспортировок, который может достигать и иногда достигает существенного развития, в то время как экономическое движение остается незначительным. Своеобразной и отличительной их чертой является паломничество. Так, в цитате, уже приводившейся для иллюстрации положения дел в Японии двухсотлетней давности, мы, перелистнув страницу³, увидим, что главным применением дорог, помимо нанесения политических визитов, было паломничество. В этой стране каждый гражданин обязан был совершать ежегодно по несколько паломничеств. Таким образом, в Средние века главным перемещением людей, помимо военных перемещений, было, видимо, движение пилигримов или людей, притворяющихся таковыми ради большей безопасности. Крестовые походы можно считать случаем транспортировки такого рода, достигшим необычайного размаха и колоссальной организованности.

Из того, что религиозная организация в давние времена была главной кормилицей и защитницей всякого рода возвышенной

¹ Spencer H. Descriptive sociology... – N 8. – P. 134.

² Spencer H. Descriptive sociology... – N 8. – P. 141.

³ Kaempfer E. The history of Japan: Together with a description of the Kingdom of Siam, 1690–1692. – L.: Printed for J.G. Scheuchzer, 1727. – Bk. V, ch. 5.

мысли, естественным образом следует, что транспортировка мысли – важная часть ее механизма. Итак, в той мере, в какой ранняя коммуникация в Европе была не военной и не политической, она была религиозной – иначе говоря, имела место в связи с религиозной организацией общества. Разные книги и церковные документы разносились по миру странствующим духовенством, письма, посвященные мирским делам, доверялись паломникам, а университеты, монастыри и т.д., когда еще не было регулярной почты, держали специальных посыльных¹.

Если перейти к рассмотрению более современного состояния общества, чем то, о котором говорилось выше, то мы столкнемся с проблемой связи транспорта с идеальной организацией в ее новейшем усложненном развитии. Слово «религиозное» больше не покрывает суть дела. Церкви, охватывающие все, что обычно подразумевается под этим словом, составляют лишь малую часть современной организации мысли.

Прежде всего можно заметить, что здесь, как и в случае политических связей, мы имеем организацию обсуждаемого типа как в обществе в целом, так и внутри самого транспорта. Значительную часть сложной и запутанной структуры современной железнодорожной службы, например, можно считать посвященной скорее психическим, а не физическим процессам: наблюдению, обсуждению, принятию решений и коммуникации. Такой характер имеют статистические, бухгалтерские и аудиторские бюро, различного рода советы и комиссии. Что касается физических инструментов передачи мысли, то тут мы находим все виды сигналов и предупредительных знаков, специальную почтовую, телеграфную и диспетчерскую службу и т.д.

Отбрасывая в сторону вопрос о внутренней структуре – как слишком специальный, чтобы иметь большое значение для стоящих здесь перед нами задач, – мы не испытываем трудностей с пониманием того, что транспорт значимым образом связан с психической организацией общества в целом. Теория транспорта должна уделить некоторое внимание этой связи.

Напомним для большей ясности, в чем состоит главным образом эта психическая, или идеальная, организация.

В простейшем своем аспекте – со стороны инструментов, которыми она пользуется, – она включает все физические средства коммуникации и сохранения мысли: знаки и жесты, разговорный

¹ Spencer H. Descriptive sociology... – N 8. – P. 134.

язык, письма, всевозможные рукописные записи, газеты и книги, телеграфы и телефоны. Принимать во внимание только эти физические инструменты было бы, однако, сродни ограничению психологии изучением анатомии нервной системы. Если заглянуть в суть дела поглубже, то мы всюду увидим не только физические, но и социальные упорядочения, служащие этой цели. Мы только что видели, что высшая организация персонала транспортировок – по большей части психическая. Так же и с каждым институтом, особенно с самым заметным среди всех институтов – принуждающим государством. Государство непрерывно стремится развиваться с психической стороны, а не с физической. Законодательные органы, статистические бюро, суды и высшие чиновники выполняют функции наблюдения, коммуникации, принятия решений и обсуждения, отличные от физических и непосредственно силовых функций армии, военно-морского флота и полиции.

Более того, у нас есть ряд великих институтов, имеющих отчетливо и отличительно психическую цель. Таковы наука, образование, литература и искусство. Это не просто именованья для некоторой стороны человеческой активности; это институты, которые обладают более или менее определенной социальной организацией для осуществления своих специальных целей. Так, организация науки является, несомненно, самым универсальным и, вероятно, наиболее совершенным социальным механизмом из всех существующих для достижения ее особой цели. Через ученые общества, университеты, научные книги и периодические издания, библиографии и т.д. она поддерживает что-то вроде совершенной коммуникации и единства усилий среди ученых всего мира.

Если правильно рассмотреть необычайную сложность и важность этих психических процессов в обществе, если увидеть это социальное мышление, восприятие, чувствование и принятие решений во всей его невообразимой множественности, то можно прийти к заключению, что адекватный анализ и истолкование всего этого – самая сложная и трудная задача, когда-либо стоявшая перед наукой.

Так какова же связь транспорта с этой идеальной, или психической, организацией? С одной стороны, очевидно, что эта связь весьма тесна, если иметь в виду физические инструменты; с другой – ясно, что вопросы эти слишком широки, чтобы включать их в исследование, направленное в первую очередь на транспорт.

В сущности, материальная транспортировка и коммуникация мысли пользуются отчасти одними и теми же инструментами,

особенно на раннем этапе их развития, и аналогичны по функциям даже тогда, когда в высокой степени организованны. Но в то же время их функции, при всей их схожести, очень сильно разнятся, а ход механического и технического прогресса стремится все больше привести их даже в плане физических средств.

Так, столетие тому назад «почта» переправляла легкие товары и была также средством передачи мысли. Почтой перевозились люди, вещи, письма и книги. Тем не менее никогда не было такой эпохи, когда коммуникация и перевозка не пользовались бы в значительной мере разными средствами. У диких народов и в стародавние времена практиковалась сигнализация на расстоянии с помощью криков, огней, дымов и т.д. Военная почта персов, римлян и других воинственных народов предназначалась главным образом для коммуникации, в то время как караваны гужевых животных применялись только для перевозки товаров. Так и в более близкие к нам времена, но до появления железных дорог, вдобавок к почте всегда была фургонная служба для перевозки тяжелых товаров. В настоящее время перевозка книг, газет, писем и других носителей мысли осуществляется по большей части теми же средствами, что и переправка легких товаров. Но, кроме того, в телеграфах и телефонах мы находим специальный механизм коммуникации – механизм, который полностью избавляется от переноса материальных масс и делает коммуникацию мгновенной.

Не следует упускать из виду и то, что перевозка писем, депеш и т.п. – лишь малая часть физического механизма передачи мысли. Этот механизм включает устный и письменный языки, печатный пресс и технику искусств и наук. Именно с ними, а не с транспортом, теория коммуникации связана неразрывно и теснее всего.

Более того, две указанные вещи есть все основания разделить ввиду несходства их процессов. Перемещение физических масс, существенное для транспорта, при коммуникации мысли либо вообще не происходит, либо происходит, но является лишь сопутствующим обстоятельством, а не сутью дела. Транспортировка является физической, а коммуникация – психической. Последняя находится в ведении особой, неизмеримо важной и сложной отрасли исследований, а именно социальной психологии. Ее нельзя с пользой для дела оторвать от этой области изучения, заключающей в себе язык как инструмент социальной организации и все материальные средства, которыми язык пользуется.

Поэтому я думаю, что теорию транспорта и теорию коммуникации, несмотря на то что они пользуются отчасти одними и

теми же средствами, имеют общую цель преодоления пространства и оказывают во многом схожее влияние на социальное развитие, лучше было бы разделить. Изучение коммуникации с точки зрения связей с местом можно проводить вместе с изучением транспорта, но такое исследование не может постичь социальное значение коммуникации больше, чем поверхностно. В случае транспорта связи с местом и преодоление препятствий в пространстве – это все. В случае коммуникации связи с местом как таковые менее важны, а с появлением телеграфа их, можно сказать, почти уже и нет. Пространство – расстояние – как препятствие для коммуникации преодолено настолько, что вряд ли стоит рассмотрения. В случае транспортировки материальных благ и людей такой результат немислим, и в этой сфере «уничтожение пространства» неизбежно остается всего лишь фигурой речи. Хотя покорение физических препятствий для движения – главная черта развития транспорта, все-таки ясно, что это покорение остается лишь относительным. В целом, нельзя сказать, что территориальные связи в обмене благами были когда-либо важнее, чем сегодня. Эффективная транспортировка сильно видоизменяет и расширяет их, делая вместо локальных всемирными, но никакой тенденции к снижению их общей значимости в ней нет.

Очевидные аналогии между транспортом и коммуникацией несколько поверхностны и не дают адекватного основания для общей теоретической трактовки этих двух предметов. Нервная и кровеносная системы живого тела также преподносят нам здесь тесные аналогии с анатомической точки зрения; они разделены в своих функциях не больше, чем перемещение материальных благ и передача мысли.

Принятое здесь воззрение, конечно, не предполагает никаких выводов относительно того, не существует ли у таких средств коммуникации, как телеграфы, политических связей, настолько схожих с аналогичными связями транспорта, что можно было бы с пользой для дела регулировать их схожим образом или даже одними и теми же средствами. Это вопрос политический и административный, и решать его нужно на совершенно иных основаниях.

Глава IX.

ТРАНСПОРТ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ¹

В этом очерке экономическая идея трактуется как, в основе своей, идея питания; слово «питание» здесь используется в широком смысле, включая получение и использование любых материальных благ. Поскольку все формы социальной организации требуют питания в этом смысле, то все имеют ту или иную экономическую структуру. Организации, посвященные в первую очередь другим целям, такие как семья, государство, школы, нуждаются в материальных благах и должны поэтому, во вторую очередь, иметь в том или ином виде экономическую организацию. Есть также обширная и общая организация, являющаяся в первичном смысле экономической и лишь во вторую очередь – чем-то другим. Все это держится на разделении труда, территориальном и личном, и охватывает весь механизм производства и экономического обмена.

Следовательно, в теоретическом плане изучение экономики транспорта охватывает две области: область экономической структуры, существующей внутри самого транспорта, и область связи транспорта с экономической организацией общества в целом. Первый предмет, как и последний, очень важен. Сюда включается частный, или внутренний, аспект всех проблем транспорта – например такие вопросы, как теория железнодорожных тарифов, трактуемых как средство получения как можно больших частных доходов. На практике, однако, удобно рассматривать эти два предмета вместе, принимая прежде всего общественную точку зрения, но обращаясь при этом и к частной там, где это видится важным. Итак, перейдем к связи транспорта с экономическим обществом.

Мы подчеркнем самую суть дела, если скажем, что изучение экономических перевозок эквивалентно изучению экономики в ее связях с местом. Транспорт – это механизм перемещения вещей и людей из одного места в другое, и поскольку экономические явления связаны с подобным перемещением, они связаны с транспортом. Все, что бы ни соединялось с территориальными условиями, или земной поверхностью, рассматриваемой как некий ареал, соединяется с транспортировкой, являющейся механизмом, приспособленным к этим условиям.

¹ Строго говоря, этот заголовок относится также к главам X–XIII.

Таким образом, все, что включает в себе распределение населения, богатства и отраслей по земной поверхности, оказывается в одном из своих аспектов содержанием транспортировки. Перед нами развертываются такие большие вопросы, как вопрос о территориальном разделении труда, общем и локальном, о концентрации населения в городах, о местоположении городов и о связи территориальных условий с ценами, рынками, конкуренцией и другими сторонами экономического обмена. Разумеется, они относятся к транспорту лишь в одном из множества их аспектов; но этот аспект важен – и, возможно, не менее важен, чем любой другой.

Для обсуждения этих вопросов наилучшим будет следующий план: сначала мы рассмотрим их более простые – физические, или механические, – аспекты, а затем перейдем к более сложным, или символическим. Начав с сегрегации населения как чисто физического явления, мы перейдем сначала к обсуждению территориального разделения труда и теории городов, а затем к связи транспорта со сложной системой коммерческого обмена.

Без транспорта человечество с необходимостью было бы распределено по поверхности возделываемой земли приблизительно равномерно; основные нерегулярности были бы обусловлены различиями в плодородии почвы. Земля – единственный первичный источник пищи, и человек должен оставаться там, где производится пища, если не может сделать так, чтобы ему ее приносили. Существование даже крошечной деревни подразумевает движение товаров в нее и из нее, и здесь мы находим зачатки социальных транспортировок. Бок о бок с этим общим фактом обнаруживается еще один, настолько же общий: развитие зависит от дифференциации, разбиения единообразия и перераспределения, создающих сложную взаимозависимую систему центров массы и силы. Говоря конкретнее, никакая эффективная организация промышленности немыслима без концентрации людей и других производительных сил в городах и других фокальных точках промышленной активности. Экономия силы и концентрация неотделимы друг от друга. Все виды производительной деятельности, кроме сельского хозяйства, являются в тенденции отчетливо и недвусмысленно централизующими. Да и сельское хозяйство, по сути, не исключение, ведь для него быть эффективным означает быть специализированным, а специализация предполагает центры сбора и распределения.

По-видимому, эта тенденция к промышленной концентрации должна сопутствовать промышленному прогрессу и дальше. В духе умозрительности иногда говорят, что нынешняя промышленная

концентрация производна от получения энергии из угля посредством пара и если, скажем, электричество позволит экономически распределять энергию с центрального предприятия по обширным ареалам, то промышленная концентрация пойдет на спад. По поводу этого можно сказать, что даже если бы энергию можно было бесконечно распределять без потерь, это распределение никак не смогло бы вызвать предполагаемый эффект. Распределение энергии – это простейший среди многих вопросов разделения и распределения, подлежащих решению в первую очередь. Как разделить требующую больших затрат машинерию, такую как паровые молоты, прокатные станы и т.п.? Производство с каждым днем становится все более зависимым от само собой разумеющегося умножения сложных и дорогостоящих механизмов. Если бы удалось решить эту проблему, то возникла бы еще более сложная проблема разделения той социальной машинерии сбора, распределения и экономического обмена, которая всегда неизбежно сопровождает сложную индустрию.

Главное здесь, разумеется, то, что транспорт – инструмент всякой социальной специализации в месте. Ровно настолько, насколько транспорт механически эффективен, может происходить в соответствии с различными законами экономического прогресса эта сегрегация людей и вещей.

Вместе с тем верно и то, что поскольку цель транспорта – делать людей свободными от связей с местом, а эти связи более гибко приурочены к социальным потребностям, то он может смягчать или устранять те аспекты концентрации, которые социально нежелательны. Чрезмерная концентрация населения в центрах, например, плохо сказывается на здоровье, интеллекте и нравственности людей, вынужденных в таких местах жить. Транспорт, который сделал возможной эту чрезмерную концентрацию, работает теперь в противоположную сторону и с помощью трамвайных линий и других форм городских путешествий стремится смягчить ее вредоносные эффекты. Человечность требует, чтобы у людей были солнечный свет, свежий воздух, трава и деревья. Она требует всего этого для мужчины и еще настоятельнее для его жены и детей. Но в то же время промышленные условия требуют концентрации. В ведении городского транспорта находится примирение этих противоположных требований; и если он эффективен, то позволяет людям работать в агрегатах и жить в достойном обособлении. Чем эффективнее он в скорости, дешевизне и удобстве, тем шире ареал, в пределах которого может быть распределена данная промышленная популяция.

Развитие транспорта и развитие территориального разделения труда всегда должны идти вровень. Ни об одном нельзя сказать, что оно другому предшествует, поскольку они взаимозависимы. Единственным источником локальной или международной торговли и в древности, и в современности является международная или локальная производственная специализация: в одном месте производится что-то такое, чего недостает в другом. Если на эти далекие товары есть активный спрос, то они имеют тенденцию перемещаться из места, где они производятся, в место, которое их требует; так образуется транспорт. В то же время, возникнув под действием этих сил, транспорт вовсе не является лишь пассивным эффектом; он становится в свою очередь активной причиной контризмений. Он могущественно стимулирует и существенно модифицирует специализацию, коей обязан своим рождением. Под воздействием транспорта растут имеющиеся различия в производстве и возникают новые, которые до тех пор не могли поддерживаться. Среди усложняющихся причин и следствий, среди повторяющегося из раза в раз взаимодействия, из которого вырастает экономическая жизнь в целом, транспорт, определяемый в значительной мере постоянными естественными условиями, занимает прочное положение как одна из фундаментальных и сравнительно самостоятельных причин. А первопричин здесь никаких нет: эта причина такая же древняя, как и прочие.

С учетом своей особой связи с пространственной специализацией в промышленности транспорт развивается быстрее, чем производство. По мере того как эффективность производственных процессов возрастает благодаря разделению труда, объем перевозимых благ растет не пропорционально, а гораздо больше. Из одного места в другое должна переправляться большая часть продукции. Так, при весьма простом состоянии общества, где половина всего потребляемого производится дома, транспортировки будет требовать только другая половина. Если в силу большего территориального разделения труда извне прибывает 9/10 потребляемого, то перевозки должны соразмерно вырасти независимо от общего роста производства, происходящего в это же время. Следовательно, перевозки являются отраслью, рост которой всегда должен происходить быстрее, чем в промышленности в целом. Если сказать, что транспорт растет пропорционально квадрату производства, то это будет если и не точно, то убедительно.

Для более тщательного изучения связи перевозок с территориальным разделением труда нам нужно обратиться к последнему,

отметив, что для того есть две глубокие причины. Местная специализация в промышленности необходима, во-первых, ввиду экономии, заложенной в принципе разделения труда, и, во-вторых, ввиду существования локальных средств производства. Эти причины, хотя и действуют всюду – иногда в гармонии, иногда вразрез друг с другом, – в теории совершенно различны. Если бы можно было представить поверхность земли как идеально однородную, не дающую нигде уникальных естественных стимулов развитию особых видов производства, то люди все равно нашли бы для себя выгоду в локальной специализации, так как специализация дает сбережение сил. С другой стороны, даже если бы в территориальном разделении труда как таковом не было никакой экономии, то в силу того, что земная поверхность диверсифицирована, территориальное разделение труда возникло бы все же из этой неоднородности. Даже в первом случае люди скапливались бы в городках, городах и на фабриках; даже во втором случае они производили бы пшеницу в одном месте, скот – в другом, а металлы – в третьем. Нам есть смысл мысленно разделить эти два принципа и посмотреть, как работает каждый из них в отдельности.

Начнем, следовательно, с местной специализации в промышленности, рассматривая ее просто как экономическое распределение силы, без ссылки на различающиеся природные возможности.

Я отмечал уже¹, что при отсутствии заметного разнообразия в земной поверхности транспортировки, в общем и целом, стремятся принять сложную радиальную форму, где первичные дороги сходятся в центральных точках, а последние соединяются вторичными дорогами с другими, более важными центрами. В своем действии эта тенденция тесно связана с принципом локального разделения труда, и, действуя вместе, эти две силы порождают то первичное разделение города и деревни, которое мы повсюду наблюдаем. Тенденция общества к делению на город и деревню вытекает из экономии, заключенной в разделении труда; размер и местоположение городов во многом определяются транспортом. Кузнец, мельник, плотник и т.д. нужны в каждом сельскохозяйственном сообществе; удобство доступа к ним и к другим мастерам требует образования деревни в точке, легко достижимой с помощью сходящихся дорог. Увенчаются ли эти разделение и концентрация труда строительством больших городов, зависит от возможностей движения в этот центр и из него.

¹ См.: Cooley Ch.H. The theory of transportation. – P. 14.

Если имеющиеся возможности это допускают, то около центра группы деревень мы находим крупный городок, соединенный с ними сходящимися дорогами. Сами эти деревни перестают быть просто центрами, где крестьяне и ремесленники встречаются и обмениваются продуктами, становясь теперь исходными и конечными точками более протяженных перемещений между деревнями и городом. Они становятся центрами сбора для товаров, которые производятся в округе, и распределения для товаров, привозимых извне. Разделение труда в них возрастает благодаря добавлению класса, занятого покупкой, продажей и хранением товаров, уходящих вовне или поступающих оттуда. Образование крупного городка обусловлено теми же силами, что и образование деревни; более развитое разделение труда требует фабрик и других форм концентрированного производства, которые стягивают большое население и должны располагаться в связке с транспортными условиями. И эти городки соединяются опять-таки с большими городами, существование которых обусловлено такими же общими причинами.

В сравнительно крупном городе мы видим еще один вид локального разделения труда, привносимый специализацией различных частей города. Например, разделение между сити и пригородами, т.е. между частями, отведенными для проживания и для бизнеса. Именно им в первую очередь определяется характер локальных пассажирских перемещений при помощи трамвайных линий, надземки и других форм быстрого транзита. Здесь мы также видим в действии общий принцип, в соответствии с которым степень специализации определяется эффективностью транспорта. Лишь в той мере, в какой развита машинерия этих локальных перемещений, мы можем иметь разделение места жительства и места работы, позволяющее определенным частям городов быть полностью отданными промышленности. Скорость трамваев определяет расстояние от места работы, на котором человек может удобно для себя жить¹. Другая форма местной специализации в городах – отведение разных кварталов под разные отрасли. Оно существовало в средневековых городах и заметно проявляет себя в современных². Кварталы оптовой и розничной торговли обычно отделены друг от друга, а основные учреждения каждой отрасли можно най-

¹ Ср.: Cooley Ch.H. The theory of transportation. – P. 76, 124.

² В Средние века эта сегрегация часто, если не обычно, оказывается принудительной. См.: Ashley W.J. An introduction to English economic history and theory. – L.: Rivington's, 1888. – Vol. 2. – P. 19.

ти сгруппированными в одном месте. Только рестораны, розничные продовольственные магазины, аптеки, а также другие места, где производятся мелкие и частые покупки, обходятся без этой сегрегации.

Чем больше город, тем большую роль в нем играют отрасли, занятые перемещениями. В важном центре мы видим радиальные движения в него и из него – центростремительные и центробежные, – имеющие очень сложный характер. Прежде всего, мы находим локальное, или первичное, движение товаров в непосредственно прилегающую сельскую местность и из нее. Оно такого же рода, что и вокруг деревни в сельской местности, и осуществляется главным образом повозками и подводами фермеров, садоводов и т.д. Далее, мы находим другое локальное движение, специфичное для крупных центров населения и обмена. Для перевозок товаров у нас есть несметное множество вагонов, фургонов и т.д., для транспортировки людей – экипажи, омнибусы, трамвайные линии, надземные и подземные железные дороги, велосипеды и т.п. Даже движение вверх и вниз становится столь важным, что мы не можем исключить из списка транспортных средств грузовые и пассажирские лифты и подъемники. Все эти средства имеют, разумеется, свой многочисленный *персонал* и свой важный и дорогостоящий механизм – дороги, высотные и подземные сооружения, провода, кабели, энергоустановки, гаражи и депо. Вместе они, как каждый может увидеть, образуют отрасль, занимающую огромное место в труде и богатстве города.

Собственной сложной машинерии требуют не только локальные перемещения, но и более протяженные перемещения, соединяющие город с другими городками и городами. Терминальная структура железных дорог для размещения и доставки пассажиров и грузов, офисы, склады и хранилища, отели, элеваторы, доки и т.п. – важная и заметная часть структуры города с материальной стороны, а люди, связанные с ними, в равной степени важны с персональной стороны. Все отрасли, занятые собиранием товаров и людей в городе для дальнейшей отправки из него, распределением товаров и людей, прибывающих в него извне, или перевозкой и хранением того, что через него проходит, входят в машинерию этих вторичных, или дальних, перемещений. Не надо забывать и о том, что весь механизм торгового обмена – оптовые и розничные магазины, банки и другие инструменты торговли – являются в каком-то смысле частью средств перемещения товаров и людей. Теперь рассмотрим подробнее связь транспорта с обменом.

Представим, что все описанные выше формы местной специализации существуют в стране без естественного разнообразия земной поверхности. В этом случае они возникли бы из экономии, которую обеспечивает разделение труда, даже если бы не стимулировались и не модифицировались – как это происходит в реальности – различиями в естественных возможностях мест. И в самом деле, они возникают даже в тех регионах, где почти нет ощутимого разнообразия природных условий, например на обширных территориях в некоторых западных штатах нашей страны, где почвы равнинные, одинаково плодородные, реки слишком малы для навигации, а ирригация невозможна. Преобладающую гомогенность нарушает лишь железная дорога. Более или менее заметный город вырастает в центральной точке, положение которой часто определяется тем случайным обстоятельством, что она расположена близко к центру округа и, в силу этого, отбирается в качестве окружного центра. Это незначительное преимущество кладет начало городу, а население и промышленность скапливаются вокруг просто потому, что экономический прогресс требует промышленных центров. Вокруг таких центров дороги демонстрируют в значительной степени¹ то радиальное упорядочение, которое естественным образом приобретают транспортировки в отсутствие разнообразия физических условий.

Чаще, однако, транспорт и местная специализация в промышленности тесно связаны с различиями в характере земной поверхности и определяются ими. Для целей настоящего исследования все эти различия можно мысленно разделить на два вида: во-первых, фиксированные локальные возможности для производства, такие как уголь, железо и другие полезные ископаемые, энергия воды, рыбные места, особые качества почвы и т.д.; во-вторых, естественные возможности для транспортировки. Различия первого рода предшествуют транспорту и независимы от него, но воздействуют на него косвенно, влияя на производство. Различия второго рода не только служат главными факторами, оказывающими определяющее влияние на транспорт, но и, выступая в этом качестве, создают возможности для производства. Эти положения

¹ Но не в такой, в какой это было бы выгодно. См. монографию проф. Дженкса «Дорожное законодательство для американского государства» (Jenks J.W. Road legislation for the American state // Publications of the American economic association. – Pittsburgh (PA), 1889. – Vol. 4, N 3. – P. 49 et seq.). Естественной аранжировке мешает нарезка земельных участков.

далее будут проработаны подробнее. Мы исходим из того, что экономическое распределение людей и благ по поверхности любой страны определяется в конечном счете природными условиями, подпадающими под два указанных класса.

В горных районах площадка, вокруг которой вырастает поселок, очень часто задана точкой, удобной для получения энергии из водного потока. Это простой пример естественного ресурса для производства, создающего ядро, вокруг которого под действием принципа локального разделения труда группируется население. На этот простой пример можно смотреть как на прототип обширного класса горнодобывающих и мануфактурных поселков и городов. Наличие копей рождает поселки и города в регионах, которые в противном случае были бы совершенно необитаемыми, а мануфактуры более грубого рода, такие как лесопилки, доменные печи и т.д., обычно должны располагаться вблизи от источника сырья, как в случае лесопильных заводов, или топлива, как в случае металлургических производств.

Такого рода локальными возможностями нельзя воспользоваться без транспорта, и от них идет один из основных стимулов к его прогрессу. В этом отношении эффективность транспорта измеряется тем, в какой степени он позволяет воспользоваться природными ресурсами. Чем совершеннее транспорт, тем исключительнее люди могут посвятить себя промыслам, коим благоприятствует место их обитания. Так складывается территориальное разделение труда, и хозяйство становится взаимозависимым и органичным. По какой еще, как не по этой, причине большая популяция на юго-западе страны смогла посвятить себя разведению скота, другая большая популяция на северо-западе – выращиванию пшеницы, еще одна, в Пенсильвании, – производству железа и т.д.? Изготовление чего-то одного означает, что почти вся продукция должна отправляться во вне, а большинство потребностей – удовлетворяться поставками извне. По состоянию сельского хозяйства во многих частях Соединенных Штатов мы видим, насколько может мешать несовершенный транспорт экономическому развитию. Железные дороги, обеспечивающие вторичные транспортировки, или перевозки на дальние расстояния, превзошли средство локального, или первичного, перемещения – сельскую дорогу. Последняя остается по большей части в жалком состоянии, создавая непреодолимое препятствие для поставок сельскохозяйственной продукции со сколько-нибудь больших расстояний и ограничивая выгодное фермерство узкой полоской земли, прилегающей к железной дороге.

Таким же образом наличие локальных возможностей для производства в свою очередь стимулирует транспорт. Именно перевозки угля вызвали строительство рельсовых дорог в Англии, вдохновили и стимулировали изобретения Стефенсона¹ и дали первый толчок постройке железных дорог в Соединенных Штатах². Вообще говоря, копи, располагающиеся обычно в горах, имели первостепенное значение для развития сухопутного транспорта. Они вызволили его из более простых русел и заставили преодолевать самые внушительные препятствия.

Пытаясь сравнивать разные страны и разные времена с точки зрения развития промышленной специализации, мы обнаруживаем, что этот вопрос в значительной мере модифицируется и усложняется различиями в состоянии промышленных искусств и хозяйственном характере народа. Вместе с тем можно вычленил некоторые общие принципы, касающиеся связи между развитием транспорта и развитием территориального разделения труда. Так, с точки зрения использования естественных сил можно утверждать, что локальное разделение труда развивается под влиянием транспорта в трех основных направлениях.

1. От естественной, или первичной, специализации, т.е. такой, которая настолько продиктована природными условиями, что существует до всякого взаимообмена продуктами, к социальной, или вторичной специализации, т.е. такой, которая не могла бы существовать без взаимообмена.

2. От специализации на легких и дорогих товарах, т.е. таких, которые заключают большую ценность в небольшом объеме, к специализации на товарах более тяжелых и дешевых.

3. От специализации, ограничивающейся долговечными товарами, к специализации, включающей также товары недолговечные.

Ясно, что эти изменения в производстве служат отражением изменений в транспорте и неотделимы от последних. Взаимообмен громоздкими и недолговечными товарами означает более быстрые и дешевые перевозки.

¹ Smiles S. The life of George Stephenson, railway engineer. – L.: J. Murray, 1857.

² Ringwalt J.L. Development of transportation systems in the United States: Comprising a comprehensive description of the leading features of advancement, from the colonial era to the present time, in water channels, roads, turnpikes, canals, railways, vessels, vehicles, cars and locomotives; with illustrations of hundreds of typical objects. – Philadelphia (PA): Published by the author, 1888. – P. 68 ff.

То, что естественная специализация на продуктах возникает раньше торговли, легко увидеть. Природа дает золото, специи, меха и другие вещи высокой ценности, где-то недостижимые, а где-то добываемые почти без труда. Дикие племена производят то, что легче всего произвести. В тропиках они живут за счет какао-бобов, в других местах – за счет дичи или молока. Древнейшая торговля – просто взаимообмен этими привычными продуктами; производство поначалу стимулируется без изменений в его характере. Так, Геерен¹ классифицирует товары примитивной сухопутной торговли на Востоке следующим образом:

I. Драгоценные металлы и камни: золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг и т.д.

II. Предметы одежды: тонкая шерсть и хлопок и изделия из них, шелка, меха.

III. Специи, благовония (душистое древесное сырье и ароматические смолы).

Большинство названных вещей – несомненно, первичные естественные продукты. Кроме того, они заключают большую ценность в небольших объемах и неуничтожимы простым течением времени. Современная торговля радикально отлична во всех отношениях. Лишь незначительная доля товаров в ней характеризуется одновременно натуральностью, высокой стоимостью и долговечностью. Основную их массу составляют относительно дешевые вещи: зерно, железо и изделия из него, уголь, скот и мясо, дешевая одежда. Опять же, хотя это касается по большей части сырых материалов, продуктов шахт и сельского хозяйства, эти товары редко бывают явными и исконными продуктами примитивного промысла. И наконец, большая и продолжающая расти доля того, что обменивается, – товары скоропортящиеся: разделанное мясо, фрукты и т.п.

Похоже, нужно лишь проговорить эти принципы, чтобы обеспечить их принятие. Насколько слабо, например, специализация, существующая ныне в занятиях народа Соединенных Штатов, могла бы поддерживаться при такой системе транспорта, как движение караванов, коей было вполне достаточно для восхитительной древневосточной торговли! Наша торговля не смогла бы даже приблизиться к этому великолепию. У нас, разумеется, есть золото на одной из окраин нашей страны, но почти совсем нет шелков,

¹ Heeren A.H.L. Historical researches into the politics, intercourse and trade of the principal nations of antiquity. – L.: H.G. Bohn, 1846. – Vol. 1: Asiatic nations, Persians, Phoenicians, Babylonians. – P. 40 ff.

драгоценных камней, специй, ароматических масел и т.п. Наши тяжелые, хотя и полезные продукты вообще не могли бы при этом перевозиться; каждому соседству приходилось бы производить все, что оно потребляет; у нас не могло бы быть сельскохозяйственных орудий, людям на равнинах пришлось бы жить в саманных хижинах, питание всюду ограничивалось бы немногочисленными местными продуктами, большие города были бы решительно невозможны; одним словом, американский континент не мог бы поддержать ничего, кроме убогого, невежественного и безнадежного крестьянства.

Из двух видов разнообразия естественных условий, названных выше в качестве главных детерминант территориального распределения населения и богатства, — естественных возможностей для производства и естественных возможностей для транспорта — я ограничивался пока, насколько возможно, первыми. Я рассматривал залежи полезных ископаемых, водную энергию, плодородие почвы и т.п. как фундаментальные причины, определяющие рост и местоположение хозяйственных отраслей и населения, стимулирующие движение и во многом определяющие его характер. Переходя к естественным возможностям для транспорта, мы отмечаем прежде всего, что во многих, если не в большинстве случаев, именно они, а не возможности первого класса, определяют местоположение производящих отраслей и связанного с ними населения. Во всех передовых хозяйственных состояниях само по себе удобство транспортировки становится важнейшим среди локальных средств производства. Хотя более грубые производственные процессы, такие как распилка древесины, плавка руды и другие процессы черной металлургии, должны протекать вблизи от источников сырья, процессы более утонченные, в которых стоимость перемещения сырья сравнительно менее значима, обычно стягиваются в крупные центры сбора, распределения и обмена продуктов. Ближайшие окрестности городов, где бы они ни располагались, всегда будут основными вместилищами более тонких производств в силу удобств, предоставляемых городами для продажи и развоза товаров.

Прежде чем двигаться дальше, хорошо было бы ради ясности показать в общих чертах характер связи между перевозкой благ и торговым обменом. Только что я указал на связь транспорта с одной из частей экономического процесса, а именно сельским хозяйством и промышленностью; если теперь я смогу показать его связь с обменом благами, то мне придется обособить ее, насколько

возможно, от исследований, с которыми она теснее всего связана, и это даст мне возможность сформулировать теорию ее собственного особого воздействия на определение локального распределения населения и благ.

Как вообще связан транспорт с видами деятельности, известными как торговля, или коммерция? Обычно коммерция понимается как включающая в себя транспортировку и обмен (куплю-продажу). Последние дополнительно соотносятся с поддерживающими их условиями производства и потребления: транспорт вырастает из территориальных условий, купля и продажа – из института собственности. Поскольку потребность в разделении труда обусловлена территориальными связями, она находит решение в транспорте, а поскольку обусловлена институтом собственности – выражается в обмене. Движение товаров не может быть организовано без изменений в их владении, так же как не может быть организовано без транспортных средств. В одном случае мы имеем физическую сторону дела, в другом – символическую.

Коль скоро эти две стороны так тесно друг с другом связаны, то можно спросить: как возможно разделить их и что достигается таким разделением? Ответ будет такой: все социальные процессы тесно связаны друг с другом, и обособление любого из них может быть лишь частичным и условным. Такое условное обособление, однако, незаменимо для анализа. В данном случае, отделяя транспорт от коммерции и фиксируя внимание на территориальных связях, мы устраняем большинство многочисленных и запутанных явлений, образующих обмен, и получаем сравнительно ограниченное поле, ставящее перед нами свои особые интересные вопросы. Это главным образом вопросы, проистекающие из изучения экономического процесса с точки зрения местоположения. В теории местоположения городов, вопросе, к которому мы теперь пришли, обмен играет подчиненную роль и может рассматриваться просто как символический аспект транспорта. В аспекте пространственных связей именно транспорт определяет обмен, а не наоборот.

Глава X.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДОВ

Теория местоположения городов – вопрос необычайно сложный, и это вопрос не одного только транспорта, но и экономических связей. В ранние и военные эпохи важную, если не главную, роль в исходном размещении городов играют военные соображения. Первые города в воинственных сообществах – это крепости; их обитатели находят в них защиту, базу для враждебных вылазок и средство удержания под контролем завоеванной территории. Кроме того, были и есть города, обязанные своим значением религиозному престижу, предполагаемой священности конкретного места¹. Определяющее значение могут иметь и политические силы; современным примером служит уже упомянутый ранее факт, что на западе Соединенных Штатов, в регионах, где почти нет разнообразия земной поверхности, значимый город часто вырастает в центре округа просто в силу небольших преимуществ, обусловленных размещением в этом месте общественных зданий и служб. Нельзя отрицать и того, что место расположения городов фиксируется иногда простой случайностью и, возможно, недалеким выбором первых колонистов.

Это примеры причин, которые совершенно отделены от экономических соображений, начинающих преобладать с прогрессом общества. Они могут работать сообща с последними или в противовес им. Во многих случаях военная необходимость действует, похоже, просто как модифицирующая сила. Положение города определяется в некоторых пределах – шире или уже в зависимости от случая – экономическими силами, а в этих пределах точное местоположение фиксируется пригодностью для военных нужд.

Помимо этих причин, города всецело обязаны своим происхождением экономическим силам. Я попытался показать, что самая важная среди этих сил, если смотреть с точки зрения местоположения, – транспорт, хотя при этом не отрицал, что локальные возможности для производства оказывают важное независимое влияние. Далее нужно разобраться в том, какую роль транспорт

¹ См. статью Робертсона Смита о Мекке в «Британской энциклопедии»: Smith W.R. Mecca // *Encyclopaedia Britannica*. – 11th ed. – Chicago (IL), 1911. – Vol. 17. – P. 950–955. Важность Рима со времен падения империи опиралась в значительной мере на религиозный престиж.

играет в определении местоположения промышленных центров. В качестве наиболее общей формулировки соответствующего закона я предлагаю следующее утверждение.

Население и богатство имеют тенденцию скапливаться там, где есть разрыв в транспортировке.

Под разрывом подразумевается прерывание движения, по крайней мере достаточное для того, чтобы вызвать передачу благ и их временное хранение. Если дело ограничивается физическим прерыванием движения, то мы имеем то, что можно назвать механическим разрывом; но если в силу тесной связи между транспортировкой и обменом, на которую мы ранее уже указывали, физическое прерывание вызывает перемену во владении транспортируемыми благами, то мы имеем коммерческий разрыв.

Сразу ясно, что разрыв первого рода гораздо менее важен, чем разрыв второго рода. Но даже механический разрыв сводит вместе много людей и делает необходимыми существенные структуры. Должны быть погрузка, разгрузка, а между ними – какая-то перевозка. Должны быть здания для хранения благ, а также люди, заботящиеся о них и о хранимых в них благах. Должны быть обеспечены средства транспорта – суда, верблюды, железнодорожные вагоны и т.п. – в процессе погрузки и разгрузки, а также все нужные для этого люди. Вокруг этой группы специализированного труда и приспособлений должно, конечно, быть собрано соответствующее сельскохозяйственное, ремесленное и торговое население того типа, который характерен для данного времени и данной страны.

Коммерческий разрыв почти всегда присутствует в месте физического разрыва или поблизости от него и существенно повышает его значимость. Там, где подобный разрыв существует на важной транспортной линии, пусть даже среди пустыни, должен находиться коммерческий город.

Причина вполне понятна. В месте коммерческого разрыва, помимо уже названной машинерии перемещения и хранения, с необходимостью возникает высокоорганизованный персонал и налаживается экономический обмен. Должен быть класс торговцев и менял; им нужны здания, более или менее пригодные для ведения их бизнеса, и их богатство обычно стремится к роскошному стилю жизни и собирает вокруг себя относительно большое и разнородное вспомогательное население. Формирующееся тем самым ядро коммерческого города сильно тяготеет, хотя неблагоприятные условия могут и противодействовать этой тенденции, к тому, чтобы стать вмещищем мануфактур, политической власти и центральных

институтов всех видов социальной организации. Даже в самых примитивных государствах торговая столица обычно становится политической столицей и чаще всего оказывается вместилищем главных храмов и центром письменной и художественной культуры.

Следующий вопрос: откуда возникают эти разрывы? Если они имеют столь важные последствия, если социальная субстанция стремится проявить себя и закрепиться везде, где возникают подобные прерывания, то важно разобраться в их причинах.

Самые важные среди этих причин – необходимые физические прерывания: например, соединение сухопутной транспортировки с водной, одного вида водной транспортировки с другим или одного вида сухопутной транспортировки с другим.

Местоположение многих торговых городов по всему миру с древности до наших дней фиксировалось в точке соединения сухопутных и водных перемещений. Вряд ли нужно детально иллюстрировать это утверждение. Размещение городов в глубине суши происходит – или, по крайней мере, происходило до появления железных дорог – в основном вдоль судоходных рек, в точках, где они легче всего доступны с суши. Точку схождения дороги и реки могут определять особенности ландшафта, особенно если поверхность земли неровная или гористая. Следовательно, город можно искать недалеко от наиболее удобных путей или в местах, где в реку впадает приток, долина которого служит удобным подъездным путем. Либо определяющую роль может сыграть характер реки, и тогда дорога может быть проложена к точке, удобной для переправы вброд или для моста. Названия бесчисленных городов, заканчивающиеся слогами «ford» или «bridge» или их эквивалентами в других языках, показывают, насколько общим было действие этой причины. Искусственный канал имеет те же последствия, что и река, о чем говорит, например, появление множества городов на канале Эри сразу по завершении его строительства.

Рошер¹ отмечает в этой связи важность перешейков, т.е. самых узких мест на полоске земли, разделяющей два моря, две важные реки или реку и море. Две стороны перешейка становятся, разумеется, точками сообщения между сушей и водой и, в

¹ Roscher W. Nationalökonomik des Handels und Gewerbflusses: Ein Hand- und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studierende. – Stuttgart: J.G. Cotta, 1899. Первый параграф первой главы, состоящий из двух страниц текста и нескольких примечаний, посвящен местоположению городов.

силу этого, согласно утверждаемой здесь теории, часто оказываются местами, где вырастают города.

На морском побережье или на берегах крупных озер определяющее значение обычно имеет расположение бухты, особенно если бухт немного; именно оно фиксирует точку соединения между сухопутными и водными перемещениями.

Физическая необходимость разрыва не ограничивается точкой, где встречаются сухопутные и водные транспортировки. Она существует везде, где должен меняться технический аппарат средств передвижения и сил. В случае водной транспортировки она обнаруживается в той точке течения рек, где морские суда нужно менять на более легкие и мелководные. Видимо, это главный фактор в определении местоположения большинства торговых городов первого класса. Они располагаются в устьях судоходных рек или на самих реках в местах, не слишком удаленных от устья, чтобы в них могли заходить большие суда. Разрыв здесь происходит не между сухопутной и водной транспортировкой, а между двумя видами водной транспортировки, и это обмен между кораблями, построенными для движения по отмелям, и кораблями, построенными для того, чтобы бороздить морские волны. От факта, что многие большие реки породили города такого рода, никак не уйти: таковы Александрия и Каир на Ниле, Вавилон на Евфрате, Гамбург на Эльбе, Бремен на Везере, Лондон на Темзе, Гавр на Сене, Марсель на Роне¹, Новый Орлеан на Миссисипи, Квебек на реке Св. Лаврентия, Нью-Йорк на Гудзоне², Филадельфия на реке Делавэр и т.д. Действительно, среди городов, славящихся своей торговлей, городов, которые не были бы расположены в устье или нижнем течении какой-нибудь судоходной реки, сравнительно немного. Разумеется, к этим точкам прокладываются также сухопутные транспортные пути, и вполне возможно, что с удивительным развитием железных дорог в последние годы значимость того, чтобы у торгового города была судоходная река, питающая его торговлю, становится сравнительно ниже.

Есть также большой класс городов, размещение которых фиксируется встречей двух видов сухопутного транспорта. Так, железные дороги в наши дни играют в определении общественно-

¹ Не прямо на реке, но «в ближайшем месте на берегу, где природа обеспечила условия, которых не было в дельте Роны». Chisholm G.G. Handbook of commercial geography. – N.Y.: Longmans, Green & co., 1889. – P. 238.

² Канал Эри, который можно считать продолжением Гудзона, в первую очередь породил Нью-Йорк как коммерческий метрополис Америки.

го развития примерно такую же роль, какую в прошлом играли реки. На их исходное расположение в значительной мере влияет местоположение уже существующих городов; но как только они построены, они сами становятся причиной возникновения новых городов, особенно в тех молодых местностях, где прокладка железной дороги предшествует заселению. Активные города неизменно размещаются по линии железных дорог, а точное их местоположение – если поверхность неоднородная и гористая – обычно фиксируется точкой пересечения с какой-нибудь значимой грунтовой дорогой. Точка, в которой железная дорога пересекает судоходную реку, разумеется, хорошо подходит для того, чтобы стать местом, в котором происходит обмен между сухопутным и водным движением. Пересечение двух железных дорог само по себе не ведет к образованию города, так как в этом случае нет изменения в способе транспортировки и нет необходимого разрыва.

До появления железных дорог образование городов в точках разрыва между двумя видами сухопутного движения не было редкостью, хотя, быть может, происходило не так часто, как сегодня. Так, граница горного района, т.е. линия, по которой горы переходят в равнину, обычно бывает местом, где располагаются города, тяготеющие к размещению в конечных пунктах основных дорог, пересекающих горы. Здесь осуществляется разрыв между транспортными средствами и сезонами, специфически приспособленными к горным перевозкам и к перевозкам по ровной и открытой местности¹. На Востоке, особенно в прошлом, когда процветали караванные перевозки, местом расположения городов часто была граница между пустыней или засушливой равниной и плодородными аграрными регионами². Какое-то место, находящееся не очень далеко от этой границы, должно быть местом, где организуют караваны и собирают и распределяют товары. Так, проф. Робертсон Смит³ объясняет расположение Мекки тем, что это место, где важнейшие

¹ Ср.: Roscher W. Nationalökonomik des Handels und Gewerbflusses: Ein Hand- und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studierende. – Stuttgart: J.G. Cotta, 1899. – S. 4, 5.

² Интересной иллюстрацией служит история Пальмиры. Этот город, насколько я знаю, был городом, местоположение и важность которого можно объяснить только на основе теории разрывов. См.: Smith W.R. Palmyra // Encyclopaedia Britannica. – 9th ed. – Edinburgh: A. & C. Black, 1885. – Vol. 18. – P. 198–203; Heeren A.H.L. Historical researches into the politics, intercourse and trade of the principal nations of antiquity. – L.: H.G. Bohn, 1846. – Vol. 2. – Appendix IX.

³ Smith W.R. Mecca // Encyclopaedia Britannica. – 11th ed. – Chicago (IL), 1911. – Vol. 17. – P. 950–955.

пути, ведущие из засушливых глубинных районов, спускаясь вниз через горы, встречаются с сельскохозяйственной равниной.

Если взглянуть на дело с несколько иной точки зрения, то оказывается, что прерывание не обязательно обуславливается переменами в природных особенностях земной поверхности, а может быть просто переключением со средств, обеспечивающих мелкие и рассеянные перемещения, на средства, обеспечивающие большое и единое перемещение. Разрывы подобного рода чрезвычайно важны для сухопутных перевозок и существуют везде, где несколько локальных потоков перемещений сходятся воедино, образуя своим соединением единое большое движение, или вливаются в большое движение, образуящееся в другом месте. Они соответствуют тому факту, что сырье для всякой торговли поступает, в конце концов, из почвы и должно свозиться при помощи транспортных средств в центры в удобное для локальных перевозок время года. Схожими средствами должна распределяться и любая локальная продукция, потребляемая территориально рассеянным населением. Этот род движения принимает естественным образом радиальную форму¹: небольшие локальные движения стекаются в одну точку и вливаются в более крупное движение между этой точкой и точками, находящимися от нее в отдалении. В точке соединения более объемных и лучше оснащенных и организованных дальних транспортировок с грубыми средствами локальных перевозок обязательно возникает прерывание движения. При прочих равных условиях, соображения удобства приводят к тому, что эти точки сбора и распределения размещаются в центре участвующей в них равнины. Размещение многих городов фиксируется, видимо, исключительно этим требованием².

Отбросив в сторону изучение чисто физических условий и оставив гипотезу, что разрыв в транспортировке – необходимое условие образования торгового города, мы видим, что это прерывание может быть обусловлено политическими силами. Помехи для торговли, создаваемые непромышленной организацией многих обществ и особенно международных отношений, часто не позволяют торговцам распространить свои операции далеко за пределы своей страны. Торговля ведется через ярмарки, торги, оптовые рынки, на которые торговцы соседних стран съезжаются для обмена своими товарами. Национальная граница, особенно если она к тому же разделяет разные расы, действует во многом так же, как

¹ См.: Cooley Ch.H. The theory of transportation. – P. 14 ff, 78, 79.

² Ср.: Roscher W. Op. cit. – Kap. 1, § 1.

и граница между морем и сушей или иные природные разрывы. В этом случае должны меняться и средства транспорта, и собственность на товары, т.е. имеются существенные условия для коммерческого разрыва. У варварских народов во все времена и у цивилизованных народов на ранней ступени развития это первейшая по значимости причина. В наше время ее действие не столь очевидно, отчасти потому что практика водной доставки благ в глубинные районы под залог обычно не позволяет действию существующих ограничений локализоваться на национальных границах.

Прежде чем подвести итог, стоит обратить внимание на тот факт, что, в противовес общему впечатлению, простое пересечение транспортных путей не включает в себе необходимой тенденции к развитию торгового города. Требуется именно разрыв – передача, хранение и перемена собственности, – и если разрыв есть, то никакого пересечения не нужно. В нашей стране есть много точек, где две оживленные железные дороги пересекаются без всякого намека на порождение города. Даже при взаимообмене большими объемами грузов и большим числом пассажиров достаточно небольшого «разъезда» и ресторана. В этом случае мы имеем простейший механический разрыв. Более совершенные упорядочения для взаимообмена автомобилями, смешанных перевозок и т.п. постоянно порождают такие пересечения, имеющие сами по себе второстепенную значимость.

Здесь мы, по сути, находим одну из причин постоянного возвышения больших городов над меньшими за счет переноса в них механизмов передачи благ и коммерческого обмена. С некоторой точки зрения число разрывов репрезентирует стоимость транспортировки, и склонность обходиться без меньших городов путем обмена транспортными средствами, консолидации транспортных путей и т.д. является частью прогресса разделения труда. Вопрос о том, не является ли получаемый результат нежелательным в иных отношениях, вряд ли здесь возникает.

То, что мы предложили в отношении теории местоположения городов, можно подытожить следующим образом.

Неэкономические причины, как то военные и политические, оказывают заметное влияние, особенно в ранней истории обществ.

Из экономических причин развития городов наиболее общей является давление к большему разделению труда: эффективное использование природных сил неотделимо от концентрации населе-

ния и богатства. Эта причина действует независимо от конкретных мест и сама по себе, в одиночку, не воздействует на фиксацию местоположения.

Местоположение городов определяют главным образом два влияния: локальные возможности для производства и локальные связи с транспортом. Первое из этих влияний действует преимущественно через более сырьевые и первичные отрасли. Более утонченные производства ищут наиболее удобные центры распределения, т.е. транспортировки.

Транспорт, сам направляемый в своем развитии главным образом физическим разнообразием земной поверхности, служит основной причиной появления и роста городов в промышленном обществе. Способ его влияния состоит в том, что *население и богатство имеют тенденцию собираться в точках разрыва в транспортировке*; причина этого кроется, во-первых, в необходимости материальной и символической машинерии передачи благ в точках разрыва и, во-вторых, в склонности других видов экономической деятельности собираться там, где существует такая машинерия.

СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (1909)*

ЧАСТЬ II. КОММУНИКАЦИЯ

Глава VI.

ЗНАЧИМОСТЬ КОММУНИКАЦИИ

Значение коммуникации. – Ее связь с человеческой природой. – Ее связь с обществом в целом.

Под коммуникацией здесь понимается механизм, посредством которого существуют и развиваются человеческие связи, т.е. все символы ума вкупе со средствами их передачи в пространстве и сохранения во времени. Сюда входят выражения лица, установки и жесты, голосовые интонации, слова, письмо, печать, железные дороги, телеграф, телефоны и все прочие новейшие достижения в покорении пространства и времени. Все это вместе взятое, во всей сложности его действительной комбинации, составляет органическое целое, соответствующее органическому целому человеческой мысли; все, что возникает в русле ментального развития, обретает внешнее существование внутри него. Чем ближе мы изучаем этот механизм, тем теснее оказывается его связь с внутренней жизнью человека, и ничто так не помогает нам понять последнюю, как подобное исследование.

Между средствами коммуникации и остальным внешним миром нет четкой границы. В каком-то смысле все объекты и дей-

* Перевод сделан по источнику: Cooley Ch.H. Social organization: A study of the larger mind. – N.Y.: Ch. Scribner's sons, 1929. – P. 61–90, 313–355. Впервые был опубликован в журнале: Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2018. – № 1. – С. 128–150; № 2. – С. 168–191. Глава XXX публикуется впервые.

ствия – символы ума, и едва ли не всё можно использовать как знак; так, я могу обозначить ребенку луну или белку, просто показав на них или симитировав голосом болтовню одной и обрисовав очертания другой. Вместе с тем почти с самого начала присутствует конвенциональное развитие коммуникации, возникающее из самопроизвольных знаков, но вскоре теряющее очевидную связь с ними, т.е. некоторая система стандартных символов, существующая просто для передачи мысли. Ее нам и нужно главным образом рассмотреть.

Без коммуникации ум не развивает подлинно человеческую природу, а остается в аномальном и несформированном состоянии – не человеческом, но и, собственно говоря, не животном. Это трогательно иллюстрирует случай Хелен Келлер, которая, как известно всему миру, в возрасте полутора лет была отрезана от жизнерадостной людской жизни потерей зрения и слуха и только к семи годам восстановила связь с окружающими. Хотя ее ум в течение этого времени не был полностью изолированным, поскольку она продолжала пользоваться значительным числом знаков, усвоенных в раннем младенчестве, все-таки ее порывы были грубыми и неуправляемыми, а ее мышление – настолько бессвязным, что впоследствии она не помнила почти ничего из того, что происходило с ней до пробуждения, случившегося к концу седьмого года жизни.

История этого пробуждения, рассказанная ее учительницей, со всей живостью показывает значимость общего факта и идеи коммуникации для индивидуального ума, а именно это нам и нужно. Неделями мисс Салливан произносила слова по буквам ей в руку, а Хелен их повторяла и связывала с объектами; но она не постигла еще идею языка как такового, не понимала, что у всего есть имя и что с помощью этих имен она может делиться своими переживаниями с другими и узнавать их переживания; у нее не было идеи, что есть некое *товарищество в мысли*. Эта идея пришла к ней внезапно.

«Этим утром, – пишет ее учительница, – она умывалась, и ей захотелось узнать, как называется вода... Я проговорила по буквам “в-о-д-а” и больше не думала об этом, пока мы не позавтракали. И вдруг мне пришло в голову, что с помощью этого нового слова мне, возможно, удастся исправить проблему “кружки-молока” [путаницу идей, о которой говорилось выше]. Мы вышли в насосную, я сделала так, чтобы Хелен подставила кружку под

кран, а сама стала качать воду. Когда холодная вода хлынула, наполняя кружку, я проговорила в свободную руку Хелен: “в-о-д-а”. Настолько приближенное к ощущению льющейся ей на руку холодной воды, это слово, казалось, поразило ее. Она уронила кружку и стояла как вкопанная. Новый свет явился в ее лице. Она проговорила несколько раз: “вода”. Потом стряхнула капли на землю и спросила, как это называется, указала рукой на насос и подпорки, а затем, внезапно повернувшись ко мне, спросила мое имя. Я проговорила: “учительница”. В этот самый момент няня внесла в помещение насосной маленькую сестренку Хелен, и Хелен произнесла “малышка” и показала рукой на няню. Все время по дороге домой она была крайне возбуждена и спрашивала названия всех предметов, к которым прикасалась; в итоге за считанные часы она прибавила к своему словарному запасу тридцать новых слов».

На следующий день мисс Салливан пишет: «Этим утром Хелен проснулась как светящаяся фея. Она порхала от одного предмета к другому, спрашивая, как это все называется, и радостно целуя меня». И четыре дня спустя: «Теперь все должно иметь свое имя... Она отказывается от знаков и пантомимы, которыми пользовалась раньше, сразу, как только находит слова, могущие их заметить, и приобретение каждого нового слова доставляет ей живейшее удовольствие. Мы замечаем, что лицо ее становится с каждым днем все выразительнее»¹.

Этот опыт типичен для того, что происходит – но постепенно – со всеми нами: именно благодаря коммуникации мы достигаем своего высшего развития. Лица наших товарищей и разговоры с ними, книги, письма, путешествия, искусства и т.п., пробуждая мысль и чувства и направляя их в определенное русло, дают стимул и рамку всякому нашему росту.

Если взглянуть шире и рассмотреть жизнь социальной группы, то и здесь мы видим, что коммуникация, включая организацию ее в литературу, искусство и институты, есть поистине внешняя, или зримая, структура мысли, одновременно причина и следствие внутренней, или сознательной, жизни людей. Всё есть единый рост: символы, традиции, институты, разумеется, проецируются из ума

¹ Keller H. The story of my life; with her letters (1887–1901) and a supplementary account of her education, including passages from the reports and letters of her teacher, Anne Mansfield Sullivan. – N.Y.: Doubleday, Page & co., 1905. – P. 316, 317.

вовне, но в самый момент своего проецирования и после они оказывают на него обратное воздействие и в каком-то смысле его контролируют, стимулируя, развивая и закрепляя одни мысли в ущерб другим, не получившим пробуждающего внушения. Благодаря этой структуре индивид является членом не только семьи, класса и государства, но и более обширного целого, включающего и доисторических людей, мысль которых участвовала в его построении. В этом целом он живет как в некоем начале, черпая из него материалы для своего роста и добавляя в него всякую конструктивную мысль, которую сможет выразить.

Итак, система коммуникации – это орудие, прогрессивное изобретение, усовершенствования в котором оказывают обратное влияние на человечество и изменяют жизнь каждого индивида и института. Изучение этих усовершенствований – один из лучших способов приблизиться к пониманию связанных с ними ментальных и социальных изменений, поскольку оно дает осязаемый каркас для наших идей – подобно тому, как человек, желающий постичь органический характер промышленности и торговли, вполне мог бы начать с изучения железнодорожной системы и объема и видов перевозимых ею товаров, а уже затем перейти к более абстрактным финансовым сделкам.

И мы не можем, особенно подходя к современной эпохе, ничего понять правильно, если не понимаем, как революция в коммуникации создала для нас новый мир. Поэтому далее я постараюсь показать, как рост сношений сказывается на социальном развитии, сосредоточив особое внимание на последствиях новейших изменений.

Глава VII.

РОСТ КОММУНИКАЦИИ

Довербальная коммуникация. – Возникновение речи. – Ее ментальная и социальная функция. – Функция письма. – Печать и современный мир. – Невербальные искусства.

Главными средствами того, что мы называем довербальной коммуникацией, служат выражение лица – особенно подвижных его частей вокруг глаз и рта, – высота, интонация и эмоциональный тон голоса, а также жесты, производимые головой и руками. Все они берут начало в невольных движениях, но могут быть под-

чинены волевому усилию, и все они энергично практикуются и интерпретируются детьми задолго до того, как те научатся говорить. Они непосредственно связаны с действием и эмоцией. Например, голосовые интонации воздействуют на чувства ребенка так же прямо, как и музыка, и интерпретируются отчасти за счет инстинктивной восприимчивости. Мне довелось слышать, например, как девочка 17 месяцев использовала свой голос нечленораздельно, но так выразительно, что звучало это почти как оживленная беседа. Жестикуляция, будь то протягивание руки, поклон, отворачивание головы и т.д., прямо проистекает из идей и чувств, которые ею репрезентируются.

Человеческое лицо, «и цвет и абрис жизни и ума»¹, – своего рода олицетворение общества, и если бы мы могли прочесть все то, что вписано в выражения проплывающих мимо человеческих лиц, то нашли бы в них немало социологии. Наследственные predispositions, семейное воспитание, отпечаток школы, текущие мнения, современные институты – все есть в них, прорисованное точнейшим карандашом. Если хочется, например, достичь настоящего человеческого проникновения во времена Генриха VIII, то вряд ли найдется путь лучше, чем ознакомление с портретами Гольбейна; то же касается и других эпох, в том числе нашей, черты коих предстают со всей наглядностью в коллекции портретов. Многие люди могут узнавать по выражениям лиц особые классы, например священников, а кто-то из них и расскажет с большой точностью, к какой церкви те принадлежат и к каким чинам духовенства, низшим или высшим, они относятся. Опять же есть различие, пусть и не поддающееся описанию, но явное, между внешним обликом американской и английской молодежи – особенно девушек, – в котором отражаются разные социальные системы.

Подобная коммуникация является, конечно, невольной. Искусственный механизм коммуникации рождается тогда, когда люди начинают целенаправленно воспроизводить свои инстинктивные движения и крики или звуки, формы и движения окружающего мира, стремясь воссоздать в памяти связанные с ними идеи. Считается, что все виды конвенциональной коммуникации коренятся в этих примитивных подражаниях, которые в силу легкого предствимого процесса разрастаются и дифференцируются на жестикуляцию, речь, письмо и специальные символы искусств и наук; в итоге вся внешняя организация мышления отсылает к этим началам.

¹ Цитата из «Королевских идиллий» А. Теннисона. – *Прим. пер.*

О том, какой была жизнь человека, или его очеловечивающегося предка, до появления речи, можно только гадать; но можно предположить, что выражения лица, нечленораздельные крики и песни¹, а также множество разнообразных подражательных звуков и действий пробуждали симпатию, позволяли сложиться простейшим видам общих идей и были тем средством, благодаря которому получили древнейшее развитие традиция и конвенция. По всей видимости, искусственный жестовый язык был хорошо организован еще до того, как на авансцену развития вышла речь. Даже без слов жизнь могла быть активным и непрерывным ментальным целым, не зависящим в своем единстве от простой наследственности, а скрепленным некоторой сознательной общностью в простейших мыслях и чувствах и их передачей и накоплением через традицию. Были, надо полагать, кооперация и обучение в простейшем их виде, и в них было заключено зерно будущих институтов.

Всякий, кому доводилось наблюдать за детьми, без труда догадается, какими были начала речи, ведь едва ли не каждый ребенок начинает с того, что изобретает для себя язык сам, и прекращает это занятие, только когда обнаруживает, что полностью готовый язык для него уже есть. Естественных слов (если можно так их назвать) так же много, как и знакомых звуков с определенными ассоциациями, неважно, исходят ли они от людей, животных или неодушевленной природы. Ребенок инстинктивно любит воспроизводить и передавать их – сначала просто ради развлечения или из общительности, а потом, от случая к случаю, с более определенным смыслом. Этот смысл легко расширяется благодаря различным ассоциациям идей; сами звуки меняются и комбинируются в употреблении; так возникает речь.

В ее рост вносит вклад множество скромных изобретателей; возможно, каждый человек меняет наследие в той мере, в какой вкладывает в свою речь собственную индивидуальность. Вариации идей сохраняются в словах или иных символах и, тем самым, складываются в непрерывно длящемся целом, постоянно растущем в объеме и разнообразии, которое, как мы уже видели, есть ни много ни мало внешнее, или осязаемое, воплощение человеческого

¹ О вероятности того, что пение предшествовало речи, см.: Darwin Ch. The descent of man, and selection in relation to sex. – N.Y.: D. Appleton & co., 1875. – Ch. 19. (Рус. пер.: Дарвин Ч. Происхождение человека и половой подбор / Пер. И. Сеченова. – СПб.: Изд. О.Н. Поповой, 1896. – С. 382–387.)

мышления, в котором каждый отдельный ум живет и растет, черпая из него материал для собственной жизни и пополняя его любимым более высоким продуктом, который он может произвести из этого материала.

Слово – это транспортное средство, лодка, приплывающая из прошлого и нагруженная мыслью людей, которых мы никогда не видели; подступаясь к его пониманию, мы входим не только в умы наших современников, но и в общий ум человечества, непрерывно делящийся во времени. Расхожее представление об освоении речи состоит в том, что сначала ребенок имеет идею, а затем получает от других звук, которым может воспользоваться для ее передачи; более тщательное исследование, однако, показывает, что это вряд ли истинно даже для простейших идей и уже совершенно расходится с истиной, когда дело доходит до развитой мысли. В последнем случае слово обычно идет вначале, ведя и разжигая идею; и идеи бы у нас не было, если бы прежде уже не было слова. «На этом пути, – говорит слово, – находится интересная мысль: приди и найди ее». Это ведет нас к переоткрытию старого знания. Такие слова, например, как «благо», «правота», «истина», «любовь», «дом», «справедливость», «красота», «свобода», являются могущественными творцами того, что они обозначают.

Без слов ум был бы способен лишь к ничтожному и нерешительному прогрессу, подобно путешественнику, заброшенному в дикую местность, где нет ни дорог, ни транспортных средств, ни даже компаса. Оснащенный же ими, ум подобен тому же путешественнику, оказавшемуся в самом сердце цивилизации, с проложенными дорогами и быстрыми транспортными средствами, готовыми доставить его куда угодно, в любое место, где до него уже были люди. Как путешественник должен так или иначе перемещаться по земной поверхности, так и ум должен перемещаться по опыту, но если у него есть язык, то опыт оказывается уже предусмотренным, нанесенным на карту и истолкованным всей мудростью прошлого, и в его распоряжении оказывается не только собственный опыт, но и опыт всего человечества – так же, как современному путешественнику открывается не только первозданная местность, но и города и плантации, созданные на ней людьми.

Принцип, относящийся к словам, применим также ко всем структурам, выстроенным из слов, к литературе и многочисленным традициям, которые ею передаются. Как строки Данте служат «тропами для мысли Италии», так и успешные усилия ума в любой об-

ласти сохраняются в соответствующих символах и становятся тропами, которыми приходят в ту же точку другие умы. И это касается не только определенных идей, но и чувств. Едва ли не самой удивительной вещью, связанной с языком, является то, что благодаря чему-то неосозаемому в его порядке и движении, в отборе и расстановке слов оказывается возможно передать саму душу человека, сохраняя живой его летопись, в то время как конкретные его идеи теряют свою ценность. От сэра Томаса Брауна, к примеру, мы получаем не его тщеславие и легковерие, а высокий религиозный дух, парящий, так сказать, над его жизнью.

Достижение речи обычно – и по праву – считают отличительной чертой человека, вратами, через которые он выбрался из дочеловеческого состояния. Это означает, что он, подобно Хелен Келлер, узнал, что все имеет или может иметь свое имя, и вошел в жизнь осознанного товарищества в мышлении. Это не только позволило развиться более рациональному и человеческому виду мышления и чувствования, но и послужило основой для формирования древнейших институтов. В каждой группе, где появлялась речь, возникало более широкое и полное единство мышления. Идеи, касавшиеся основных интересов примитивной жизни – охоты, войны, брака, пиршеств и т.п., – определялись, передавались и расширялись. В племени, несомненно, начинало развиваться общественное мнение, кристаллизуясь в пословицах и поговорках, служивших правилами мышления и поведения; праздничные песнопения, если они уже существовали, становились артикулированными и историческими. А когда в группе доходили до какой-то особо ценной мысли, она не исчезала, а передавалась по традиции и закладывала основу для новых достижений. Тем самым примитивные мудрость и правило увековечивались, расширялись и совершенствовались, становясь в итоге – в соединении с церемониальными и прочими символами – институтами управления, брака, религии и собственности, которые мы находим в каждом диком племени.

Не будем забывать и о том, что это положение вещей оказывало обратное воздействие на природные способности человека: возможно, через прямое наследование приобретенных социальных привычек и склонностей, и определенно через выживание тех, кто, обладая ими, был более других приспособлен к преуспеванию в социальной жизни. Таким образом, человек, с началом использования речи уже став человеком, быстро укреплялся в этом качестве и переходил к накоплению социального наследия.

Итак, изучение речи открывает нам истину, к которой можно прийти и множеством иных способов, а именно: что рост индивидуального ума – это не отдельное развитие, а скорее дифференциация внутри общего ума. Наша личная жизнь, насколько мы можем понять, имеет свои источники отчасти во врожденной тенденции и отчасти в потоке коммуникации, и оба влияния проистекают из совокупной жизни рода. Мыслить себя как отдельного от человечества у индивида не больше оснований, чем мыслить себя, какой он сегодня, отдельным от себя вчерашнего; неразрывность в обоих случаях одинаково несомненна. Если скажут, что он отделен, поскольку чувствует себя отдельным, то на это можно ответить, что для малого дитяти каждое мгновение особняком и что собственную личную жизнь мы знаем как целое только благодаря развитию мышления и памяти. И точно так же чувство более широкого, или социального, целого есть, возможно, всего лишь вопрос нашего вставания в более живое и разумное сознание того единства, которое уже достаточно очевидно в рефлексивном наблюдении.

Социальная функция письма состоит в том, чтобы, обеспечив идеям долговечную запись, сделать возможным более надежное, непрерывное и разнородное развитие человеческого ума. Для рода оно делает во многом то же, что и для индивида. Когда у исследователя есть хорошая мысль, он ее записывает, дабы можно было, когда понадобится, ее вспомнить и сделать отправной точкой для лучшей идеи, ведущей в том же направлении; так же и человечество в целом записывает и бережет свои озарения.

До появления письма накопление идей зависит от устной традиции, вместимость которой измеряется интересом и памятью людей, ее передающих. Следовательно, оно должно ограничиваться главным образом идеями и чувствами, на которые есть сравнительно общий и постоянный спрос, такими как популярные истории вроде Гомеровских преданий, песни, пословицы, поговорки и т.п. Правда, в семьях и кастах традиция становится более или менее специализированной – как мы видим, например, в случае широко распространенных наследственных жрецов, – но эта специализация не может быть очень проработанной и надежной в своей преемственности. Без письма вряд ли возможно существование науки и диверсифицированной литературы. Они требуют средства, с помощью которого важные идеи можно было бы передать в сохранном виде людям, далеко отстоящим от их авторов во времени и пространстве. Мы можем уверенно заявить вместе с Гиббоном, что «без

помощи какого-либо рода письменности ни один народ никогда не сохранял верных сведений о своей истории, никогда не делал сколько-нибудь значительных успехов в отвлеченных науках и никогда не достигал какой-либо степени совершенства в искусствах, приносящих в нашей жизни пользу или удовольствие»¹.

Без письма не может быть организовано и устойчивое и расширенное правительство, ибо такое правительство требует какой-нибудь конституции, определенного и постоянного корпуса права и обычая, заключающего в себе мудрость прошлого, касающуюся поддержания социального порядка.

Так же и с религиозными системами. Исторические религии основаны на священных писаниях, существенная часть которых представляет собой закреплённое в записи учение основоположника и его ближайших учеников; без такой записи христианство, буддизм и магометанство никогда не смогли бы стать чем-то большим, чем маленькая сиюминутная секта. Среди наших бесписьменных предков, быть может, и были религиозно одаренные люди, но возможности основать долговечные системы у них не было.

Вся структура и весь прогресс современной жизни очевидным образом покоятся на сохранении – в записанном виде – достижений древнего ума, на записях, оставленных прежде всего Иудеями, Грецией и Римом. Спрашивать о том, что бы мы собой представляли без них, – все равно что спрашивать о том, кем были бы мы, если бы не существовало наших родителей. Письмо сделало возможной историю и исторического человека с его сложными институтами. Оно открыло дорогу быстрому и надежному расширению той человеческой природы, которая прежде оставалась заточенной в небольших и неустойчивых группах.

Если письмо, дав мысли постоянство, принесло раннюю цивилизацию, то печать, обеспечив ее распространение, открыла двери современному миру.

До ее появления доступ к записям человечества был ограничен ученым классом, обладавшим, за счет этого, своего рода мо-

¹ Gibbon E. The history of the decline and fall of the Roman Empire / With notes by D. Milman, M. Guizot; with additional notes by W. Smith, D.C.L. & L.L.D. – L.: J. Murray, 1872. – Vol. 1. – P. 354. (Перевод приводится по изданию: Гиббон Э. История упадка и разрушения Великой Римской империи: Закат и падение Римской империи: В 7 т. / Пер. с англ. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2008. – Т. 1. – Прим. пер.)

нополий на те традиции, на которых держалась социальная система. Например, на протяжении всего раннего Средневековья в Европе это положение занимало духовенство – или та малая часть духовенства, которая была образованной, – и его система была единственной живой и масштабной ментальной организацией этой эпохи. Веками для простого мирянина любого рода и звания было редкостью знать, как пишется его имя. Благодаря письменной и разговорной латыни – которая, по всей видимости, исчезла бы, если бы не Церковь, – поддерживалась более широкая непрерывность и кооперация человеческого ума. Те, кто умел ее читать, имели общую литературу и смутное ощущение единства и братства. Римские идеи, пусть и несовершенно, сохранялись, и в папстве и империи жил идеальный Рим. Образование, естественно, находилось под контролем духовенства, и в его же руках находились политическая корреспонденция и законодательство. Как хорошо известно, оно в какой-то мере переделывало традиции в собственных интересах, и контроль над средством коммуникации помог ему стать господствующей силой в Европе.

Печать означает демократию, ведь она приносит доступность знания простому народу, а знание в конце концов непременно делает благом его притязание на власть. Она дает индивиду любую долю участия в идейном наследии, какую только он готов воспринять. Мир мысли, а со временем и мир действия постепенно подчиняются подлинной аристократии интеллекта и характера, приходящей на смену искусственной аристократии, созданной предоставлением исключительных возможностей.

За распространением печати всюду следовало общее пробуждение, обусловленное тревожащими внушениями, которые она щедро разбрасывала. Политическая и религиозная агитация, известная, конечно, и раньше, получила сильнейшую стимуляцию и без устали продолжается по сей день. «Все это движение, – пишет м-р Г.Ч. Ли, имея в виду либеральную агитацию начала XVI в., – стало возможным благодаря изобретению книгопечатания, которое необычайно ускорило распространение образованности, позволило сформироваться и выразиться общественному мнению и, введя в общение сходно мыслящие умы, обеспечило возможность комбинированного действия». «Поэтому, когда 31 октября 1517 г. на воротах церкви в Виттенберге были вывешены судьбоносные тезисы Лютера, они, по его словам, уже через две недели были известны по всей Германии, а через месяц достигли Рима и читались в каждой школе и каждом

монастыре Европы; без помощи печатной прессы такой результат был бы совершенно невозможен»¹.

Печатная страница – это также и дверь, через которую индивид в наше время выходит в более широкие жизненные просторы. Хорошая книга, «драгоценный жизненный сок творческого духа, набальзамированный и сохраненный как сокровище для грядущих поколений»², – это почти всегда канал, через который выдающиеся умы получают побудительный толчок и помощь в стремлении возвыситься до более высокой мысли, созданной другими выдающимися умами. «В изысканиях мы ведем беседу с мудрецами, в действии же – обычно с глупцами»³. Хотя масса людей вокруг нас – всегда обычное дело, всегда в наши дни есть и более избранное общество, не столь и далекое для того, кто его жаждет, и человек вроде Авраама Линкольна, чье происхождение еще пару веков назад означало безнадежное рабство, может из полудюжины книг получить устремления, выводящие на дорогу к власти и благодеяниям.

В то время как разговорный язык, вместе с письмом и печатью, при помощи которых он сохраняется и распространяется, служит основным потоком коммуникации, рядом с ним обнаруживается с самого начала много боковых каналов.

Так, у диких или варварских народов мы повсеместно находим, наряду с жестовым языком, использование множества других символов, таких как красная стрела для обозначения войны, трубка мира, сигнальные огни, колья, веревки с узелками, тотемы, а у народов с более развитой культурой – гербы, флаги и бесконечное разнообразие символических ритуалов. Вне языка есть целый мир знаков, большинство которых мы можем не замечать, поскольку их общая суть для нас достаточно очевидна.

¹ Lea H.C. The eve of the Reformation // The Cambridge modern history / Planned by the late Lord Acton; ed. by A.W. Ward, G.W. Prothero, S. Leathes. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1902. – Vol. 1: The Renaissance. – P. 684, 685.

² Milton J. Areopagitica. (Цитата приводится по изданию: Мильтон Дж. Ареопagitика: Речь о свободе печати от цензуры, обращенная к парламенту Англии (1644) // Современные проблемы. – Новосибирск, 1997. – Вып. 1. – С. 6. – Прим. пер.)

³ Lord Bacon and Archbishop Whately on studies // Education, the school and the teacher in English literature: Republished from Barnard's American j. of education. – Philadelphia (PA): J.B. Lippincott & co., 1862. – P. 104. (В тексте Кули цитата из этого издания приводится с существенными изменениями. В оригинале: «В чтении мы ведем беседу с мудрецами, в ведении бизнеса – обычно с глупцами». – Прим. пер.)

Искусства живописи, скульптуры, музыки и архитектуры, взятые как коммуникация, имеют две отчасти различающиеся функции. Во-первых, они служат просто изобразительным, или образным, письмом, передающим идеи, которые могут быть переданы также (хотя и иначе) словами; во-вторых, они служат средством передачи особых аспектов чувств, никаким иным способом не коммуницируемых. В искусстве прошлого эти две функции часто и даже обычно сочетались. В современную эпоху первая, в силу распространения грамотности, отошла на второй план.

Известным примером функции изобразительного письма являются цветные мозаичные полотна на золотой основе, покрывающие внутренние стены собора Святого Марка в Венеции. В их грубо очерченных фигурах, на помощь которым приходят символы, изображена вся система христианской теологии в тогдашнем ее понимании. Таким образом, они являли собой иллюминированную книгу сакрального учения, через которую люди входили в религиозную традицию. Скульптурные изображения в соборах Шартра и Реймса иллюстрируют эту же традицию вкупе со многим другим: тут и светская история, отраженная в фигурах королей Франции, и моральная философия с добродетелями и пороками, вознаграждениями и наказаниями, и символы земледелия и ремесла. Рядом с этими скульптурами шли окна с росписью, святые мощи – способные, по словам Гиббона, «укреплять и воспламенять благочестие верующих»¹, – музыка, пышные процессии и ритуалы; и все это работало сообща, как единый насыщенный знак, в котором воплотилась идеальная жизнь того времени.

Менее уловимая функция невербальных искусств – передача того, что не может быть передано никаким другим путем, особенно некоторых чувств, которые благодаря этой передаче увековечиваются и распространяются.

Один их самых простых и красноречивых примеров этого – изображение человеческих форм и лиц, воплощающих, как бы посредством живого присутствия, возвышенные чувства и устремления эпохи. Такие произведения в живописи и скульптуре сохраняются как символы, благодаря чему в умах всех, кто с ними зна-

¹ Gibbon E. The history of the decline and fall of the Roman Empire / Ed. by D. Milman, M. Guizot, W. Smith. – L.: J. Murray, 1887. – Vol. 3. – P. 428. (Перевод приводится по изданию: Гиббон Э. История упадка и разрушения Великой Римской империи: Закат и падение Римской империи: В 7 т. / Пер. с англ. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2008. – Т. 3. – *Прим. пер.*)

ком, вырастают схожие чувства. Чувство в человеческой истории так же кумулятивно, как и мысль, пусть это и не столь очевидно. Христианское чувство, как оно выросло и расцвело в Средние века, вскормлено живописью, возможно, не меньше, чем Священным Писанием. А греческая скульптура со времен гуманистов до Винкельмана и Гёте и далее до наших дней была каналом, по которому в современную жизнь вливались греческие чувства.

Эту фиксацию человеческих чувств в выразительных формах и лицах, как, например, в мадоннах и святых у Рафаэля, некоторые критики называют «иллюстрацией», отличая ее от «декорации», включающей все элементы произведения искусства, существующие не для передачи чего-то другого, а ради своей более непосредственной ценности – красоты цвета, формы, композиции или внушаемого движения. В последнем случае мы тоже имеем коммуникацию, вызывающую к ярким, но никак иначе не артикулированным фазам человеческого инстинкта. Каждое искусство может передавать особый вид чувства и имеет «свое особое и непередаваемое чувственное очарование, свой особый способ покорения воображения». В картине самой характерной вещью является «то подлинное изобразительное качество... изобретательное и творческое обращение с чистой линией и цветом, которое, как мы видим почти всегда в голландской живописи, а также часто в полотнах Тициана или Веронезе, совершенно не зависит от каких-либо поэтических качеств в самом предмете изображения». В музыке важнее всего «музыкальное очарование – та сущностная музыка, которая не предъявляет никаких слов, никакого материала чувства или мысли, отдельного от той особой формы, в которой он нам передается»¹. Так же и с архитектурой – искусством, особенно близким к социальной организации: во многих случаях, как, скажем, во дворце Венеции, зримо вознесен в камне сам дух социальной системы.

То, что эти искусства не менее существенны для роста человеческого духа, чем литература или правление, думаю, не нуждается в доказательствах.

¹ Pater W.H. The school of Giorgione // Pater W.H. The Renaissance: Studies in art and poetry. – L.: Macmillan & co., 1901. – P. 131.

Глава VIII.

СОВРЕМЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ: РАСШИРЕНИЕ И ВООДУШЕВЛЕНИЕ

Характер новейших изменений. – Их общее воздействие. – Изменения в Соединенных Штатах. – Организованные сплетни. – Общественное мнение, демократия, интернационализм. – Ценность диффузии. – Расширение чувств. – Выводы.

Изменения, произошедшие с начала XIX в., открыли новую эпоху в коммуникации и во всей системе общества. Следовательно, они заслуживают тщательного рассмотрения – не столько в их механическом аспекте, который известен каждому, сколько в их воздействии на более широкий разум.

Если бы кто-то проанализировал механизм взаимного общения, то он, возможно, выделил бы четыре фактора, вносящих основной вклад в его действенность, а именно:

- выразительность, или спектр идей и чувств, к переносу которых он способен;

- постоянство письменной фиксации, или преодоление времени;

- быстроту, или преодоление пространства;

- диффузию, или доступность всем классам людей.

Хотя, несомненно, мы немало приобрели в выразительности, например, с расширением нашего словаря за счет включения в него идей современной науки, и даже в постоянстве письменной фиксации для научных и других специальных целей, все-таки широкая поступь недавней эпохи определенно вела в сторону быстроты и диффузии. С точки зрения большинства целей наша сегодняшняя речь не лучше, чем во времена Елизаветы, если даже не хуже, но какую скорость мы приобрели в ее применении! Удешевление печати, принесшее нам целое половодье популярных книг, журналов и газет, было дополнено развитием современной почтовой системы и покорением пространства с помощью железных дорог, телеграфных линий и телефонов. Помимо этих расширений устного или письменного слова пришли новые искусства репродукции, такие как фотография, фотогравировка, звукозапись и т.п. – социально гораздо более значимые, чем мы это себе представляем, – благодаря которым могут фиксироваться и распространяться новые виды впечатлений от видимого или слышимого мира.

Без преувеличения можно сказать, что с механической точки зрения эти изменения есть основа едва ли не всего, что характерно для психологии современной жизни. В общих чертах, они означают экспансию человеческой природы, т.е. ее способности выражать себя в социальных целостностях. Они позволяют обществу быть все больше организованным на основе высших способностей человека — на основе интеллекта и симпатии, а не господства, касты и рутины. Они означают свободу, кругозор, бесконечные возможности. Общественное сознание, вместо того чтобы ограничиваться в своих наиболее активных фазах локальными группами, неуклонно расширяется шаг за шагом вместе с тем обменом внушениями, который делается возможным благодаря новому общению, пока обширные нации и в конечном счете весь мир не смогут быть включены в одно живое ментальное целое.

Общую суть этого изменения хорошо выражают два слова: *расширение* и *воодушевление*. Социальные контакты расширяются в пространстве и ускоряются во времени, и, соответственно, становятся шире и бдительнее предполагаемое ими ментальное единство. Индивид расширяется, вступая в связь с более обширной и разнообразной жизнью и подпадая под постоянное, а порой и чрезмерное воздействие того множества изменчивых внушений, которое эта жизнь ему приносит.

С какой бы точки зрения мы ни изучали современное общество для сравнения его с прошлым или предсказания его будущего, мы должны видеть по крайней мере подоплеку этого радикального изменения механизма, без допущения которой невозможно понять ничто остальное.

Например, в Соединенных Штатах на исходе XVIII в. общественное сознание сколько-нибудь активного рода замыкалось в пределах небольших местностей. Путешествия были медленными, неудобными, дорогостоящими, и люди, отправляясь в дальний путь, загодя писали завещания. В газетах, выходивших в сравнительно больших городах раз в неделю, совершенно отсутствовало то, что мы назвали бы новостями; а писем в течение года во всех тринадцати штатах посылалось намного меньше, чем проходит сегодня за день через нью-йоркское отделение почтовой службы. Сегодня люди проявляют гораздо больше внимания к тому, что происходит в Китае (если это вдруг окажется им интересно), чем тогда проявляли к событиям, происходившим в 100 милях от них. Обособленность даже больших городов от остального мира и вы-

текавшая отсюда интроверсия людских умов, т.е. их замкнутость на локальных заботах, были чем-то таким, что нам очень трудно понять. В сельской местности «средой фермы было прилегающее соседство, средой деревни – окружающие фермы и местная традиция... для обсуждений и общего действия изредка собирались сходь; образовательные центры не доносили до каждого селения ударное воздействие новой интеллектуальной жизни; федерации и союзы не связывали людей, близких и дальних, в то товарищество, которое превращает множество самых разных людей в единый составной тип. Это была эпоха сект, в силу отсутствия знакомства нетерпимо относившихся друг к другу»¹.

Переход к нынешнему режиму железных дорог, телеграфных линий, ежедневных газет, телефонов и всего остального принес с собой революцию во всех сторонах жизни: в торговле, в политике, в образовании, даже в самой общительности и сплетнях. И эта революция всегда состоит в расширении и ускорении рассматриваемого рода жизни.

В этом новом механизме нет, вероятно, ничего более всепроникающего и характерного, чем ежедневная газета. Ее и всячески превозносят, и яростно обвиняют в злоупотреблениях – для того и другого есть все основания. Если вдуматься, какая это странная практика: когда отец семейства садится за стол завтракать и, вместо того чтобы беседовать с женой и детьми, разворачивает перед лицом своего рода экран, на котором напечатаны мировые сплетни!

Важнейшая функция газеты состоит, разумеется, в том, чтобы служить бюллетенем важных новостей и посредником во взаимобмене идеями через напечатание интервью, писем, речей и редакционных комментариев. Таким образом, она незаменима для организации общественного ума.

Подавляющая масса ее материалов, однако, лучше всего описывается фразой «организованные сплетни». То общение, которое люди прежде вели в магазинах на перекрестках или в укромных закоулках, возвысилось теперь до уровня печати и внушительной системы. То, что мы впитываем поток всего этого, вовсе не означает ущербности наших умов; мы просто удовлетворяем по-новому старую страсть. Генри Джеймс с присущей писателю жесткостью описывает «вездесущее газетное лицо, с его неказистой чудовищностью

¹ Anderson W.L. The country town: A study of rural evolution. – N.Y.: Baker & Taylor, 1906. – P. 209, 210.

и деформацией черт, широко разинутый рот, привычный к безумной болтовне, переходящей [в Америке] границы вульгарности гораздо дальше, чем где бы то ни было в мире»¹. Но, в конце концов, разве это хоть в чем-то вульгарнее прежнего вида сплетен? Выглядит это, несомненно, хуже, и вот почему: сплетни осмеливаются использовать печатное слово наравне с литературой.

То, что подавляющая часть содержания газеты близка по существу к сплетням, можно увидеть, если выделить три черты, видимо, составляющие в сумме ясное определение этого слова: сплетни изобильны, призваны занять ум без остатка; они состоят в основном из выпадов личного характера и вызывают к поверхностным эмоциям; они недостойны доверия, если не брать отдельные текущие моменты, которые общественность может отследить и проверить. В наличии этих черт каждый, кому любопытно, может убедиться, изучив содержание своей утренней газеты.

У разрастания сплетен есть светлая и темная стороны. Говоря о первой, можно принять во внимание то, что они способствуют расширению общения и чувству общности; мы знаем, что люди по всей стране смеются над одними и теми же шутками и испытывают одно и то же умеренное возбуждение от футбольной игры, и проникаемся уверенностью в том, что они такие же, как и мы, хорошие люди. Кроме того, сплетни властно способствуют, через страх перед обнародованием, утверждению массового, несколько вульгарного, но надежного и человеческого уровня нравственности. С другой стороны, они поощряют поверхностность и тривиальность во всех сферах мысли и чувства и, разумеется, являются антитезой литературе и всем возвышенным, или изысканным духовным, достижениям. Они поддерживают общую диффузию, в противовес выдающимся отличиям.

В политике коммуникация делает возможным общественное мнение, которое, организуясь, становится демократией. Всё развитие общественного мнения, как и массового образования и просвещения, ему сопутствующего, напрямую зависит от телеграфа, газеты и быстрого почтового сообщения, ибо не может быть никакого народного мнения по злободневным вопросам в обширных ареалах, если люди не информированы должным образом по этим вопросам и неспособны обменяться взглядами относительно них.

¹ James H. The manners of American women // Harper's Bazaar. – N.Y., 1907. – Vol. 41, N 5. – P. 453–458.

Наша система правления, подчиненная конституции, изначально не была демократией, и последняя не входила в намерения тех, кто ее создавал. Ожидалось, что это будет представительная республика, где народ выбирает людей, обладающих характером и мудростью, а те отправляются в столицу, набираются информации по текущим вопросам, размышляют и принимают по ним решения. То, что народ может думать и действовать более прямо, не предвиделось. Конституция недемократична по духу и, как заметил м-р Брайс¹, могла бы при других условиях стать основой аристократической системы.

То, что без появления современной коммуникации какая-либо система смогла бы удержать в прочном союзе даже первоначальные 13 штатов, очень сомнительно. Политическая философия от Платона до Монтескье учила, что свободные государства должны быть невелики; Фридрих Великий, говорят, смеялся над идеей государства от Мэна до Джорджии. «Обширные размеры империи, – говорит Монтескье, – предпосылка для деспотического управления. Надо, чтобы отдаленность мест, куда рассылаются приказания правителя, уравновешивалась быстротой выполнения этих приказаний»².

Демократия возникла у нас – как, видимо, она возникает и повсюду в цивилизованном мире – главным образом не из-за изменений в формальной конституции, а как результат условий, делающих для людей естественным обладание сознанием в отношении злободневных вопросов и выражение этого сознания. Люди, знающие Китай, говорят, что когда эта страна воевала с Японией, большинство китайцев не ведало о том, что идет война. Подобное неведение делает влияние общественного мнения невозможным; и наоборот, ни одно государство, обладающее крепким народом, по всей вероятности, не сможет быть долго избавленным от этого влияния, если не будет подавлять взаимообмен мыслью. Когда у народа есть информация и дискуссия, у него возникает воля, и она рано или поздно овладевает институтами общества.

Нас часто ошеломляет мысль, что современное движение нуждается в более широком названии, чем «демократия», в таком, которое бы отчетливее говорило о расширении и ускорении обще-

¹ Bryce J. The American Commonwealth. – N.Y.: The Macmillan co., 1908. – Vol. 1, Ch. 26. – P. 565–577.

² Монтескье Ш.Л. О духе законов. – Кн. 8, гл. 19. (Цит. по изданию: Монтескье Ш.Л. О духе законов. – М.: Мысль, 1999. – С. 113. – *Прим. пер.*)

го ума, относительно которого формальное правление народа является лишь одним из проявлений, наряду со множеством других. У потока новой жизни, текущего со все нарастающим напором через старые структуры общества, то сметая их, то оставляя внешне нетронутыми, нет подходящего названия.

Неотрывная часть всего этого – народное образование: индивид должен владеть, по крайней мере, искусствами чтения и письма, без которых он вряд ли сможет быть жизнеспособным членом этого нового организма. И то дальнейшее развитие образования, быстро становящееся осознанной целью современного общества, которое стремится дать каждому человеку особую подготовку к любой из функций, к которой он может быть предрасположен, является также и фазой более свободной и гибкой организации умственных сил. Такое же расширение проходит через всю жизнь, включая моду и другие тривиальные и мимолетные виды общения. И самая обширная фаза всего этого, на важности которой нет нужды особо здесь останавливаться, – это тот подъем международного сознания в литературе, науке и, наконец, политике, который дает заслуживающее доверия обещание бесконечного расширения масштабов справедливости и дружбы.

Это объединение жизни более свободным течением мысли – не только одновременное, преодолевающее пространство, но и историческое: привнося прошлое в настоящее, оно делает каждое заметное достижение человечества возможным фактором его текущей жизни, как, например, когда полотно средневекового живописца путем искусного воспроизведения возвращают людям, живущим пять столетий спустя на другом конце земного шара. Наше время – время «большого дискурса, обращенного назад и вперед».

В этой силе распространения есть удивительные возможности. Никогда еще огромные массы людей не возносились на высшие уровни так быстро, как сегодня. Для распространения улучшений в уме и манерах имеются такие же возможности, как и в сфере материальных приспособлений; и новая коммуникация разносилась над миром подобно утреннему свету, пробуждая, просвещая, расширяя его и наполняя его ожиданиями. Человеческая природа жаждет блага, едва его восприняв, и через то, что легко поддается пониманию и повторению, пролегает ее столбовая дорога к лучшему.

И, как я дальше попытаюсь показать, нет оснований думать, будто эти условия непременно неблагоприятны для развития спе-

циальных и избранных типов превосходства. То же средство коммуникации, которое воодушевляет миллионы на подражание общим образцам, облегчает для более разборчивых объединение в небольшие группы. Человеческая природа вообще рождена свободной, и со временем она, несомненно, оправдывает свою свободу.

Расширение оказывает влияние не только на мысль, но и на чувства, благоприятствуя росту общей человечности, чувства морального единства между нациями, расами и классами. Среди членов коммуницирующего целого чувства не всегда могут быть дружелюбными, но они должны быть, в каком-то смысле, симпатическими, заключая в себе осознание точки зрения другого. Даже враждебные чувства современных наций являются по сути своей человеческими и наполненными воображением, а не слепой животной враждой более примитивной эпохи. Это обиды, а обида, как говорит Чарльз Лэм, относится к тому же семейству, что и любовь.

Связи между людьми или сообществами, лишенными взаимного понимания, неизбежно остаются на низком уровне. Могут быть равнодушие, слепая ярость, обусловленная вмешательством, возможна благожелательная терпимость, но нет того сознания единой природы, от которого могли бы затеплиться сердечные чувства. По-настоящему человеческое сочувствие в древности замыкалось в пределах племени; люди, находившиеся вне его, не воспринимались как члены общего целого. С чужаком обычно обращались как с более или менее полезным или опасным животным: убивали, грабили, порабощали. Даже в наши дни нас мало заботят люди, чья жизнь не входит в наше сознание посредством какого-либо симпатического контакта. Можно читать статистические сведения о нищете итальянцев и евреев в Нью-Йорке и Чикаго, о скверных жилищных условиях, потогонных цехах и туберкулезе, но вряд ли они волнуют нас больше, чем жертвы средневековой «черной смерти», если их жизнь не дана нам в человеческом облике – либо вследствие личного контакта, либо через картинки и образное описание.

А в настоящее время мы приходим именно к этому. В стимулирование и удовлетворение нашего интереса к любой из сторон человеческой жизни вовлекаются ресурсы современной коммуникации. Нашему взору предстают русские, японцы, филиппинцы, рыбаки, шахтеры, миллионеры, преступники, бродяги, курильщики опиума. Пресса хорошо знает, что ничто человеческое нам не чуждо, если сделать его понятным.

С умом, расширенным и обеспеченным такой подготовкой, нынешний человек склонен всюду искать общую природу и требовать, чтобы весь мир был подчинен общим принципам доброжелательности и справедливости. Он хочет видеть усмирение международных раздоров – но чтобы это не мешало экспансии способных рас и выживанию лучших типов; он желает ослабления межклассовой напряженности и справедливого отношения к каждому интересу – но без сдерживания индивидуальности и предприимчивости. Еще никогда не было настолько общей убежденности в том, что правота должна победить; споры ведутся в основном о принципах, на базе которых это может быть воплощено в жизнь.

Коммуникация работает на расширение человеческой природы отчасти непосредственно, через облегчение контактов, но еще больше – исподволь, через содействие росту интеллекта, падению механических и произвольных форм организации и становлению более гуманного типа общества. Историю можно рассматривать как летопись борьбы человека за осуществление своих устремлений посредством организации; и новая коммуникация – действенное средство для достижения этой цели. Считая арбитром того, какими должны становиться институты, человеческое сердце и совесть, ограниченные лишь трудностями организации, мы можем ожидать, что легкость общения станет отправной точкой для эры морального прогресса.

ЧАСТЬ V. ИНСТИТУТЫ

Глава XXVIII.

ИНСТИТУТЫ И ИНДИВИД

Природа институтов. – Наследственные и социальные факторы. – Ребенок и мир. – Общество и личность. – Личность versus институт. – Институт как основа личности. – Моральный аспект. – Выбор versus механизм. – Личность как жизнь институтов. – Институты становятся свободнее в своей структуре.

Институт – это просто несомненная и устоявшаяся фаза общественного ума, не отличающаяся, в конце концов, по своей природе от общественного мнения, хотя и кажущаяся иногда, ввиду ее постоянства и зримых обычаев и символов, в которых она явля-

на, обладающей несколько обособленным и независимым существованием. Так, политическое государство и церковь с их чтимыми ассоциациями, их обширной и древней властью, их литературой, зданиями и учреждениями вряд ли представляются даже демократическому народу просто продуктами человеческой изобретательности, коими они, несомненно, являются.

Великие институты – продукт той организации, которую естественным путем принимает человеческая мысль, направляясь из века в век на какую-то особую цель и постепенно отливаясь в определенные формы: долговечные чувства, верования, обычаи и символы. И происходит это тогда, когда есть некоторый глубокий и непреходящий интерес, удерживающий человеческое внимание. Язык, правительство, церковь, законы и обычаи собственности и семьи, системы промышленности и образования – все это институты, и все они – порождения постоянных потребностей человеческой природы.

Эти разнообразные институты являются не раздельными сущностями, а, подобно различным склонностям и убеждениям индивида, скорее фазами общей и, по крайней мере отчасти, однородной совокупности мышления: это «апперцептивные системы», или организованные установки общественного ума, и трактовать их как самостоятельные вещи можно лишь в абстракции. Следует помнить, что социальная система есть прежде всего целое, к каким бы его разбиениям ради удобства изучения мы ни прибегали.

В индивиде институт существует как привычка ума и действия, по большей части неосознаваемая ввиду того, что она в значительной мере обща всей группе: это лишь отличительный аспект нас самих, который мы сообщаем. Вместе с тем институт обнаруживается только в людях, и больше нигде. Например, реальное существование конституции Соединенных Штатов заключено в традиционных идеях народа и деятельности судей, законодателей и администраторов; письменный инструмент – лишь средство коммуникации, ковчег завета, обеспечивающий сохранность традиции.

Индивид всегда является как причиной, так и следствием института: на нем всегда лежит отпечаток государства, традиции которого окутывали его с детства, но в то же время он запечатлевает свой характер – сформированный не только этой, но и другими силами – в государстве, которое тем самым подчинено изменению в нем и в других людях, подобных ему.

Меж тем, тщательно над этим задумавшись, мы увидим, что в изучение связи между индивидом и институтом можно было бы включить несколько отчасти разных вопросов, и мы должны их развести.

Один из них – вопрос о связи младенца с миром, или наследственного фактора, присутствующего в нас от рождения, с фактором коммуникации и влияния.

Другой, совершенно отличный, – вопрос о связи общества и личности, о связи между зрелым индивидом и тем целым, членом которого он является.

Третий вопрос, опять-таки отдельный, – о связи не между человеком и обществом в целом, а между ним и конкретными институтами. Последний вопрос занимает нас больше всего, но не будет лишним привести кое-какие замечания относительно остальных.

Ребенок на момент рождения, когда общество, как можно для удобства предположить, еще не оказало на него прямого влияния, предъявляет нам родовой, или наследственный, фактор в жизни, в противоположность фактору традиции, коммуникации и социальной организации. Он представляет собой также неразвитую, или просто биологическую, индивидуальность, в отличие от развитого социального целого, в которое он входит.

В связи с этой проблемой мы мыслим социальный мир как зрелый, организованный, институциональный фактор; и все же мы вправе сказать, что ребенок тоже воплощает в себе некий институт (в широком смысле слова), причем более древний и стабильный, чем церковь или государство, а именно биологический тип, мало изменившийся, вероятно, с начала истории. Никаким из известных мне способов нельзя показать, что дети, рождающиеся сегодня у английских или американских родителей – отложим в сторону вопрос о расовых смешениях, – сколько-нибудь значительно отличаются в естественном оснащении от своих предков, саксонских мальчиков и девочек, игравших на берегах Эльбы пятнадцать веков тому назад. Укорененные инстинкты и темперамент родовых групп оказываются во многом такими же, какими были и раньше, а исторические изменения – развитие политических институтов, экономические революции, заселение новых стран, Реформация, подъем науки и т.д. – изменения главным образом в социальном факторе жизни, который предстает, таким образом, сравнительно изменчивой вещью.

Итак, в случае развития ребенка мы сталкиваемся с взаимодействием двух типов; оба древни и устойчивы, но один более, чем другой. Шевеление и воспроизводство человеческой жизни заключены именно в смешении этих типов и в многочисленных вариациях того и другого. Наследственный багаж ребенка составляют неясные склонности, или предрасположенности, которые обретают определенность

и смысл только через коммуникативные влияния, позволяющие им развиваться. Так, лепет младенца инстинктивен, а речь появляется благодаря тому, что этот инстинкт определяют и развивают путем обучения в обществе; любопытство проявляется от природы, а знание дается жизнью; страх в смутной, инстинктивной форме ощущает предположительно даже зародыш, а страхи позднейшей жизни – по большей части социальные страхи; есть инстинктивная чуткость, из которой развиваются симпатия и любовь, и т.д.

Нет ничего бессмысленнее, чем обсуждать относительную значимость наследственности и среды в общих словах. Это во многом то же самое, что и обсуждение материи и духа. То и другое незаменимо в любой стороне человеческой жизни, ни одно не может существовать без другого: они одинаково важны и несоизмеримы по сути. Спрашивать, что для нас важнее, природа или воспитание, – все равно что спрашивать, что важнее, почва или семя, в образовании дерева. То, что большинство авторов питают пристрастие к одному из этих факторов в ущерб другому (как, например, м-р Гальтон и биологическая школа видят всюду наследственность и почти ничего кроме нее, а психологи и социологи превозносят влияние), означает всего лишь, что одни обучены уделять внимание одному классу фактов, а другие – другому. Для каких-то практических задач один класс может быть более значимым, чем другой, но делать из этого общие выводы неразумно.

Сентиментальному взору новорожденное дитя являет волнующую противоположность древнему и грязному миру, в который оно во всей своей невинности входит. Ребенок будто создан для всего чистого и благого; по мысли некоторых, он словно является, «странствуя, как Славы облака», из более духовного мира, нежели наш, трогательно не сознавая ничего кроме радости. Мир же мрачен, угрюм и непременно оказывается во многих отношениях темницей, подчас грязной и отвратительной:

«Ведь душу гнет земной лишь миг спустя
Придавит...»¹

¹ Здесь и выше – цитаты из оды У. Вордсворта «Откровения о бессмертии». Приводятся в пер. Я. Пробштейна. См.: Вордсворт У. Откровения о бессмертии. – Режим доступа: <https://www.stihi.ru/2011/07/25/7830> [Дата обращения: 01.11.2017.] – *Прим. пер.*

Но пафос этого противопоставления, несомненно, вытекает отчасти из ошибочных предубеждений. Воображение рисует идеальный образ ребенка, внося в его невинность, как и в невинность моря и гор, собственные фантазии и противопоставляя его будущую карьеру не тому, каков он есть, а идеалу того, каким он мог бы стать. На самом деле ребенок уже по-своему чувствует мучительную сторону жизни; в нем есть уже, наряду с зернами света, семена тьмы, и о нем нельзя сказать со всей строгостью, что он в каком-либо отношении лучше мира. Добро, как и зло, выходит за рамки его воображения, и он вообще не смог бы стать никем иначе, кроме как в социальном мире. Печальная грань этой ситуации, вполне могущая подтолкнуть каждого, кто о ней думает, к борьбе за лучшие дома, школы и игровые площадки, состоит в том, что мы склонны крайне плохо использовать этот пластичный материал, и человек мог бы быть гораздо лучше и счастливее, если бы мы подготовили для него лучшее место.

Слова Бэкона, что в юности больше божественного, в каком-то смысле верны, но, пожалуй, мы могли бы сказать, что в ней больше и дьявольского. Чем моложе жизнь, тем она раскованнее, необузданнее, тем больше в ней божественной просветленности и безоглядной страсти; молодость – пора не только поэзии, но и преступности.

Существует естественное сродство между детством и демократией; последняя даже предполагает, что мы должны стать больше похожими на маленьких детей, проще, искреннее и человечнее. И вполне логичной частью демократического движения является то, что все больше и больше престижа в нем отдается детству; его все больше изучают, ценят и уважают. Наверное, ничто не делает идею реформы более убедительной, чем размышления о том, что она означает для детей. Мы желаем знать, что все дети страны счастливо раскрывают свои умы и сердца дома, в школе и в игре и что их постепенно подводят к полезной работе, тоже протекающей регулярно и счастливо. Это требует лучших домов и соседств, а также преодоления условий, которые их ухудшают; это подразумевает улучшение школ, запрещение детского труда, регулярное техническое образование, здоровую, справедливо оплачиваемую работу и разумную надежность занимаемого положения. Хотя ребенок точно не лучше мира, открывающиеся перед ним возможности заставляют нас думать, что мир во имя его блага должен быть лучше.

Как только ребенок становится личностью, он становится также членом существующего социального порядка. Это всего лишь случай целого и одной из его дифференцированных частей; поскольку я уже не раз подчеркивал, что общество и индивид суть аспекты одного и того же, то нет нужды еще раз на этом здесь останавливаться. Даже дегенераты, достаточно способные, чтобы быть людьми, живут в социальном порядке и в той же мере едины с ним, что и остальное человечество. Мы просто не в состоянии отделить индивида от общества в целом; чтобы получить такой контраст, мы должны перейти от более пластичных сторон его жизни к рассмотрению его связи с отдельными институтами или с институтами вообще.

Институт – зрелая, специализированная и сравнительно жесткая часть социальной структуры. Он образуется из личностей, но не из личностей в полном объеме; каждый человек входит в него особым образом обученной и специализированной частью себя. Приведем в качестве примера правовую часть юриста, церковную часть прихожанина или деловую часть торговца. Следовательно, в противовес институту человек репрезентирует целостность и человечность жизни; по словам профессора Альфреда Ллойда, он является «исправителем частичности и передатчиком и распределителем особого развития»¹. Человек вообще не человек, если он всего лишь часть института; он должен, помимо этого, отстаивать человеческую природу, инстинктивное, пластичное и идеальное.

Слова, что у корпораций нет души, довольно хорошо выражают дефект всех жестких социальных структур, порождающий неукротимый конфликт между ними и более свободными и широкими влечениями человеческой природы. Ровно в той мере, в какой они вырабатывают действенный особый механизм для достижения узкой цели, они теряют человечность, широту и приспособляемость. Как с особой настороженностью мы относимся обычно к коммерческим институтам, ввиду присущего им союза власти и безличности, так же следует нам относиться и ко всем институтам.

Институт репрезентирует могущество, а также, пожалуй, право, но право организованное, зрелое, может быть, умудренное, но никогда – свежее и непризнанное. Новое право, или моральный прогресс, всегда берет начало в бунте против институтов.

¹ Lloyd A.H. The personal and the factional in the life of society // The j. of philosophy, psychology a. scientific methods. – N.Y., 1906. – Vol. 2, N 13. – P. 337.

Я вспоминаю картину, можно сказать, воочию являющую нам эту связь между живой душой и институтом. На ней изображен Св. Иаков, стоящий перед римским императором¹. Первый бедно одет, прекрасен, с задумчивым, чуть поднятым лицом; второй – величественный, доминирующий, уверенный в себе, высоко восседающий на троне из слоновой кости в окружении солдат.

Институциональный и личностный элементы, разумеется, одинаково существенны. Механическая работа традиции и конвенции вливает в ум проверенную мудрость рода, систему мышления, каждая часть которой выжила благодаря тому, что была в каком-то смысле наиболее пригодной и оправдала себя для человеческого духа. Так индивид получает язык, чувства, моральные стандарты и все виды знания: усилием воли, незначительным по сравнению с тем, чего все это первоначально стоило. Это стало социальной атмосферой, пронизывающей ум по большей части без его активного участия. Будучи некогда фокусом внимания и усилия, все эти вещи отступили теперь в полусумрак само собой разумеющегося, высвободив энергию для новых свершений. На этих непреднамеренных основаниях мы строим свою жизнь, и то, что без них мы ничего не смогли бы добиться, не нуждается ни в каких доказательствах.

Таким образом, всякая инновация базируется на конформности, всякая гетеродоксия – на ортодоксии, всякая индивидуальность – на солидарности. Так, без ортодоксальной традиции в биологии, под водительством которой был накоплен запас упорядоченного знания, никогда не стала бы возможной гетеродоксия Дарвина, основанная на переистолковании этого знания. То же и в искусстве: институт обеспечивает точку опоры для того самого индивида, который восстает против него. М-р Браунелл, обсуждая в своей работе о французском искусстве связь скульптора-новатора Родена с Институтом Франции, отмечает, что собственным развитием и тем интересом, который пробуждает его неконформность, он обязан прежде всего «самой системе, оказавшейся достаточно могущественной, чтобы бесконечно популяризовать тему приверженности и бунта»². В Америке художника и литератора обескураживает, мешая ему сформировать высо-

¹ Имеется в виду фреска «Суд над святым Иаковом» Андреа Мантеньи. – *Прим. пер.*

² Brownell W.C. French art: Classic and contemporary painting and sculpture. – N.Y.: Scribner's, 1905. – P. 36. См. также последнюю главу. (У Кули неточная ссылка; здесь поправлено. – *Прим. пер.*)

кий идеал, не враждебная критика, а отсутствие всякой критики, т.е. полное неведение и безразличие. Там, где есть организованная традиция, может быть нетерпимость, но будет также всегда присутствовать и интеллект.

Итак, выбор, представляющий собой относительно свободное действие человеческой природы в выстраивании своей жизни, подобен коралловому насекомому, всегда оказывающему влияние на гору, образующуюся из окостеневших останков его мертвых предшественников.

Ошибочно полагать, что человек, вообще говоря, *лучше*, чем институт. В моральном отношении, как и во всех прочих, у каждой стороны есть свои преимущества. У человека есть любовь, воодушевление, все виды теплых, чистых, гибких импульсов, коим институт редко оказывает гостеприимство, но в последнем есть трезвая и испытанная праведность веков, хранилище, в которое мало-помалу складывается то, что показало свою осуществимость в своенравных и преходящих дерзаниях человеческого идеализма. Право, государство, традиционный кодекс добра и зла – все это связано с личностью так, как седой отец связан со своим ребенком. Как бы они ни обветшали и как бы ни были ожесточены конфликтом, они все же сильны, мудры и добры, и мы в большинстве случаев поступаем правильно, когда им подчиняемся.

Схожая линия аргументации применима и к расхожему заблуждению, что нация в обращении с другими нациями непременно менее нравственна, чем индивид в обращении с другими индивидами. Международная мораль пребывает на низком уровне из-за того, что возникла недавно и еще не развилась, а не в силу какого-то неизбежного дефекта в ее природе. Растет она медленно, как и все прочее, имеющее институциональный характер, но нет никаких причин для того, чтобы она не выразила в конце концов высшую справедливость и великодушие, к каким мы только способны. Все зависит от энергии и настойчивости, с которыми люди пытаются действительно воплотить в этой сфере свои идеалы. Медлительность института компенсируется его способностью к многовековому кумулятивному росту, и на этом пути он может превзойти, даже морально, обычные достижения индивида – подобно тому, как, например, христианская церковь выступает за идеалы, выходящие за пределы достижимого для большинства ее членов. Если мы преисполнены решимости достичь состояния праведности, то можем достичь состояния более праведного, чем любой отдельно взятый индивид.

Обращение Соединенных Штатов с Кубой и подавление британцами работорговли – примеры того, как нации действуют на основе благородных принципов, расширения которых со временем мы можем резонно ожидать. По мере того как потребность в международной справедливости и мире ощущается все острее, ее развитие становится таким же естественным, как и аналогичный процесс в индивидуе.

Каждый раз, когда возникает дилемма между выбором и механизмом¹, защитники последнего могут справедливо утверждать, что он экономит силы, и спрашивать, оправдывают ли в данном случае результаты выбора его цену.

Так, выбор, работающий в широком масштабе, есть конкуренция, и единственная альтернатива ему – тот или иной механический принцип: либо унаследованное историческое состояние, либо какое-нибудь новое правило стабильности, вырабатываемое, возможно, социализмом. Вместе с тем нынешний конкурентный порядок порицается – и не без оснований – как расточительный, изнуряющий, несправедливый и враждебный художественному духу. Выбор работает несколько хаотично, без адекватной основы установленных принципов и стандартов, и социализм, стремясь к последним, поступает правильно.

Карлейль и другие авторы утверждали, притом весьма убедительно, что средневековый работник, опутанный механическими и неразумными, на наш взгляд, ограничениями, был в некоторых отношениях лучше обеспечен, чем его современный преемник. Было меньше свободы и возможностей, но также и меньше напряженности, уродства и отчаяния; и стандарты того времени поддерживались, пожалуй, лучше, чем наши сегодня.

Нам нужна лучшая дисциплина, более адекватная организация; вряд ли знающий исследователь этого не заметит; но эти вещи не существуют уже готовыми, и наша сегодняшняя задача заключается, видимо, в том, чтобы их выработать, несомненно, пожертвовав при этом другими целями, на которые мог быть направлен выбор в более спокойные времена.

Итак, прогресс проистекает из взаимодействия личности и институтов. Человек более непосредственно являет нам человечность как цель, которой должны служить все институты, а институт – сово-

¹ Под механизмом я понимаю всё относящееся к привычке, авторитету или формуле, что обычно избавляет от выбора.

купный итог развития, выходящий далеко за рамки любого отдельно-го персонального сознания. Человек будет критиковать, будучи по большей части неправ, но не во всем. Человек будет нападать, в основном безуспешно, но из множества нападений будет рождаться изменение.

Верно также и то, что хотя институты, вообще говоря, защищают более механическую сторону жизни, они все-таки требуют внутри себя элемента личной свободы. Индивидуальность, пусть даже обузданная, составляет саму жизнь институтов; вся их жизненность и адаптивность зависит от нее.

Армия – типичный механический институт, и все же даже в случае армии индивидуальный выбор, удерживаемый, конечно, в особых руслах, жизненно важен для этой машины. В немецкой армии, по словам знающего наблюдателя, есть систематическая культура самостоятельности, «развития индивидуальных способностей путем максимально возможного согласования свободы с сохранением необходимой системы и дисциплины». «На ротном остается вся ответственность за обучение своих людей любыми способами и в любой час, когда он сочтет нужным», «схожая свобода дается каждому офицеру, отвечающему за тот или иной раздел подготовки», и все «постоянно взывает к интеллекту и самостоятельности солдата»¹. В американских войсках дух самостоятельности солдата и здравомыслие и адаптивность, развиваемые нашей грубоватой, но энергичной цивилизацией, всегда имели высочайшую ценность. И они не противоречат дисциплине, той «подлинной дисциплине солдат свободы, которая должна проистекать из индивидуального чувства долга и очень отличается от принудительной дисциплины солдата деспотизма»². Так, в битве при Геттисберге, когда атака Пикетта прорвала линию обороны федералов и на какой-то момент, в силу гибели множества офицеров, преемственность командования была потеряна, именно рядовые бойцы, как рассказывают, без всяких приказов заняли те позиции, которые позволили им сокрушить вторгшуюся колонну.

По мере того как общий характер организации становится свободнее и человечнее, развиваются до высокого уровня как механический элемент института, так и элемент выбора. Первый перестает

¹ Baring-Gould S. The story of Germany. – N.Y.: G.P. Putnam's sons, 1887. – P. 350 ff.

² Garibaldi G. Autobiography. – L.: Walter Smith & Innes, 1889. – Vol. 1. – P. 105.

быть произвольным и нетерпимым правом, опирающимся на страх, сверхъестественные санкции и подавление свободы слова, и обычно превращается просто в установленную привычку мышления – установленную не в силу удушения дискуссии, а в силу ее ненужности, ибо привычка мышления доказала свою пригодность в существующих условиях настолько, что сомнений в ней не предвидится.

Итак, политическая система, фундаментальные права собственности и т.п. являются в свободном современном государстве установленными, насколько они установлены, не потому что они священны или авторитетны, а потому что общественный ум убежден в их незыблемости. Хотя, возможно, мы о них и не рассуждаем; они, так сказать, потенциально рациональны, поскольку считается, что они покоятся на разуме и могут быть в любое время подвергнуты им проверке.

Преимущества и недостатки подобных институтов вполне понятны. Они не обеспечивают столь четко очерченной и определенной дисциплины, какая свойственна более произвольной системе, но зато более гибки, точнее выражают общественное умянастроение и, следовательно, если их удастся заставить работать, более стабильны.

Свободный элемент институтов тоже имеет тенденцию становиться более осведомленным, более подготовленным, более организованным, более подлинно рациональным. У нас бывает так много поводов это заметить, что нет нужды особо на этом здесь останавливаться.

Глава XXIX.

ИНСТИТУТЫ И ИНДИВИД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Инновация как личностная тенденция. – Инновация и консерватизм как общественная привычка. – Солидарность. – Французская и англосаксонская солидарность. – Традиция и конвенция. – Не так уж они и противоположны, как кажется. – Реальное различие между современным и средневековым обществом в этом отношении. – Традиционализм и конвенционализм в современной жизни.

Стародавняя дилемма консерватизма и изменения явно имеет много общего с дилеммой личности и института. Иначе говоря, инновация связана с утверждением обновленной личности в противовес механизму; и доводы «за» и «против» здесь те же, что я уже

приводил. Везде, где у индивида есть энергия и конструктивная сила, вероятно возникновение недовольства учреждением. Молодые, как известно, склонны к инновации, как и люди смелого и неугомонного темперамента в любом возрасте; старики же, как и люди спокойные и нерешительные, напротив, консервативны. То же и с целыми народами: в той мере, в какой они ослаблены климатом или иными причинами, они становятся инертными и неспособными к конструктивному изменению.

Что, возможно, не столь очевидно – по крайней мере, тем, кто не читал работу мсье Тарда о законах подражания¹, – так это то, что инновация или ее противоположность могут быть общественной привычкой, независимо от различий в возрасте или энергичности. Отношение к изменению подвержено таким же колебаниям, как и общественное мнение или любая другая фаза общественного ума. То, что какая-то нация двигалась веками в глубочайших руслах консерватизма, как, например, в Китае или Индии, никоим образом не доказывает отсутствие в ней естественной энергичности, но может означать всего лишь, что данный социальный тип созрел и упрочился в изоляции, не сталкиваясь ни с какими влияниями, достаточно едкими, чтобы разъесть его раковину и запустить цикл изменения. Так, ныне очевидно, что причиной отсталости Японии было отсутствие именно стимула, а не способности, и мы мало сомневаемся в том, что то же относится к Китаю.

Энергия и внушение одинаково незаменимы для всякого человеческого достижения. В отсутствие последнего ум легко растрчивает себя в незначительных деятельности, и нет никаких причин для того, чтобы это не было верно для целого народа и не продолжалось столетиями. Затем искра может снова разжечь огонь и за считанные годы произвести далеко идущие изменения в структуре общества. Физический закон сохранения энергии – самый обманчивый в применении к человеческой жизни. Ментальной энергии всегда гораздо больше, чем используется, и реально продуктивное ее количество зависит главным образом от настоятельности внушения. В самом деле, высшие деятельные проявления человеческого духа, в целом больше похожи на серию довольно случайных взрывов, чем на работу равномерно действующей силы.

¹ Tarde G. Les lois de l'imitation. – P.: Alcan, 1890. (Рус. пер.: Тард Г. Законы подражания / Пер. с фр. Ф. Павленкова. – М.: Академический проект, 2011.)

Может существовать и привычка к изменению, представляющая собой простую неугомонность и не имеющая никакой конструктивной значимости. В ранней истории Америки видным персонажем на фронтире был человек, имевший привычку постоянно перебираться с места на место. Обычно он селился на два-три года в одной местности, а затем, впад в беспокойное состояние, распродал имущество и переселялся в другую. Так и сегодня те, кого амбиции и обстоятельства в юности быстро влекли от одного к другому, часто сохраняют приобретенную таким образом привычку и в более почтенные годы, создавая всяческие неудобства для своих семей и друзей. Я замечал, что есть люди чрезмерно энергичные; для них идеалом стало само приложение усилий, и они чувствуют себя крайне неуютно, когда этого нет. «Внутренняя успокоенность» совершенно для них невозможна.

В нашей торговой и промышленной жизни лихорадочный прогресс породил привычку, даже целую систему привычек, основанных на ожидании изменения. Предприимчивость и адаптивность пестуются в ущерб всему, что входит с ними в противоречие; каждый, чувствуя, что процессия движется вперед и что он должен за ней угнаться, все время спешит – возможно, в ущерб здоровью, культуре и душевному благополучию.

Это беспокойствие обусловлено скорее переходным состоянием, чем демократией; древнее воззрение, что последняя по сути своей нестабильна, как я уже говорил, полностью развенчано. Даже де Токвиль – примерно в 1835 г. – говорил, что политическая неуспокоенность Америки проявляется в делах малозначительных и что демократическая полития вполне могла бы «создать самое стабильное общество из всех когда-либо существовавших в истории нашего западного мира»¹. Тард досконально проработал этот вопрос и пришел примерно к таким же выводам. Политика стабильна, когда приспособлена к преобладающим условиям; и с каждым годом становится очевиднее, что, по крайней мере для народов европейской семьи, сущностно демократическое политическое устройство – единственное, которое может постоянно соответствовать этому критерию.

О социальной группе, в которой есть фундаментальная гармония сил, увенчивающаяся эффективным сотрудничеством, можно,

¹ De Tocqueville A. *Democracy in America*. – L.: Saunders & Otley, 1835. – Vol. 2, Bk 3, ch. 21. (Рус. перевод цит. по изданию: Токвиль А. де. *Демократия в Америке* / Пер. с франц.; предисл. Г.Дж. Ласки. – М.: Прогресс, 1992. – С. 462.)

полагаю, сказать, что она *solidaire*, если воспользоваться французским словом, которое в связи с этим широко используется. Так, Франция с ее сравнительно гомогенным народом, несомненно, обладает, при всех ее внутренних раздорах, большей солидарностью, чем Австрия; Англия – большей, чем Россия, а Япония – большей, чем Китай.

Но если внимательнее задуматься над этим вопросом, то окажется, что сказать, в чем именно состоит солидарность, не так-то легко. Разумеется, не в простом сходстве, ведь различность индивидов и частей не только согласуется с гармоничным целым, но и существенна для него, подобно тому как гармонию музыки создают различающиеся, но соотнесенные звуки. Мы хотим того, что Бёрк описывал как «то действие и противодействие, которое в мире природном и в мире политическом извлекает из взаимной борьбы разноголосых сил мировую гармонию»¹.

Насколько здесь необходимо сходство, это, по всей видимости, будет сходство существенных идей и, в еще большей степени, чувств, подобающих соответствующей деятельности. Так, один японский автор объясняет патриотическое единство своих соотечественников их общей преданностью микадо и императорской семье:

«Когда японец говорит: “Я люблю свою страну”, – большую или даже наибольшую часть его представления о своей “стране” занимают император и императорская семья... принимаются также во внимание его предки и потомки». «В радости и в печали он верит, что они (его предки) с ним. Он служит им так, как если бы они были живы. А предки, коих он любит и почитает, все были в свое время верны своему императору; поэтому он чувствует, что и *он* должен быть верен *своему* императору...»

«Ничто так не реально для него, как то, что он чувствует; а он чувствует, что с ним едины прошлые, нынешние и будущие поколения его соотечественников. Таким образом, настоящий японский солдат, в полной мере сознавая сильную симпатию своих соотечественников, умерших и живых, полон возвышенных предчувствий в отношении своей славной судьбы, и никакая опасность не может его утратить, и никакой труд не может его утомить»².

¹ Burke E. The works of the right honorable Edmund Burke. – Boston: Little, Brown & co., 1884. – Vol. 3. – P. 277.

² Amenomori N. The Japanese spirit // The Atlantic monthly. – Boston (MA), 1904. – Oct. – P. 507, 508, 510.

В Америке единство духа сильное, но вместе с тем необычайно безглавое и бесформенное. Здесь нет ни столицы, ни руководящего высшего класса, ни монарха, ни общего вероучения, вряд ли есть даже доминирующая традиция. Похоже, дело здесь в общей приверженности смутным чувствам свободы, добросердечности и надежды. И именно это обстоятельство – то, что американский дух так мало специализирован и имеет так много общего с общим духом человечности, – делает его более, чем что бы то ни было, влиятельным и могущественным в ассимиляции чужеродных элементов.

Единственным адекватным доказательством отсутствия солидарности будет неэффективность во всеобщем действии. Может происходить острая борьба партий и классов, не несущая в себе реально ничего разрушительного; но когда мы видим, как это явно не так давно произошло в России, что час конфликта с внешним врагом не объединяет внутренние силы, а усиливает их разлад, ясно, что здесь что-то не в порядке.

Иногда говорят, что во Франции, дескать, больше солидарности, чем в Великобритании или Соединенных Штатах, на том основании, что единство социального ума у нас менее подвижно и большее значение придается энергичному самоутверждению индивида. Но это так же сомнительно, как и говорить, что состязание атлетов между собой помешает им объединиться в сильную команду. Вместе с тем, похоже, есть интересное родовое различие между тем видом единства – т.е. единством общей дисциплины и чувства, – который существует у французов, и тем, который существует у англичан или американцев; последние, при всей их разнице, гораздо больше похожи в этом отношении друг на друга, чем на французов. Этот контраст представляется мне в плане изучения социальных типов столь показательным, что я посвящаю несколько страниц попытке его прояснить.

Французская мысль (здесь я опираюсь в основном на проницательное исследование м-ра Браунелла¹), видимо, не только больше централизована в отношении места, т.е. находится под преобладающим влиянием столицы, но и, если отбросить в сторону некоторые примечательные различия, более единообразна, более авторитетна, более нетерпима и явно более *solidaire*. В ней меньше инициативы,

¹ Brownell W.C. French traits: An essay in comparative criticism. – N.Y.: Ch. Scribner's sons, 1908. Много интересного также можно найти в работах Ф.Г. Хэмпертона, особенно в книге «Французы и англичане». См.: Hamerton Ph.G. French and English: A comparison. – L.; N.Y.: Macmillan & co., 1889.

меньше агрессивной неконформности. Французское чувство ставит равенство гораздо выше индивидуальной свободы и с некоторой нетерпимостью относится к любым заметным отклонениям от господствующих типов мышления. В нем больше ревности к личной власти, особенно в политике, и меньше той страстной, но полной достоинства симпатии к триумфирующей личности, которую мы находим в Англии или Америке. Во Франции действительно больше нужды в равновесии отношении к личному господству, ведь едва обретенную власть там трудно удержать в узде. И вкупе с этим идет французская система общественного образования: ее широко известные единообразие, строгость дисциплины и классический консерватизм являются как причиной, так и следствием тяги к формальной солидарности.

Кроме того, есть нетерпимость к нефранцузскому и неспособность его понять, выраженная, вероятно, даже больше, чем схожий феномен в других нациях. Французы поглощены собой и мало интересуются историей других народов. Нет у них и симпатии к современникам. «В Париже, – отмечает м-р Браунелл, – к иностранцу, с каким бы гостеприимством к нему неизменно ни относились, относятся так же неизменно как к иностранцу, и никак иначе»¹.

Относительная слабость индивидуальности во Франции обусловлена, конечно, не каким-то недостатком ощущения собственной значимости, а тем фактом, что француз больше идентифицирует себя с социальным целым и, растворяясь в нем, не принимает слишком уж всерьез свое более частное Я. Это скорее мы-ощущение, чем Я-ощущение, и Францию от других наций оно отличает заметнее, чем любого отдельно взятого француза от его сограждан. «Он не потому восхищается Францией, что это его родина. Его довольство собой вытекает из того обстоятельства, что он француз: в первую очередь именно француз, а уже потом – человек»². «Никогда не услышишь, чтобы француз хвастался характером и качеством своих соотечественников так, как это делают англичане и как это делаем мы. Он думает о Франции, о многообразных ее *gloires*, о ее положении во главе цивилизации»³.

Поскольку в целом проявляется меньше индивидуальности, то мы находим одновременно счастливое отсутствие причудливой и агрессивной странности, острых углов и дурного вкуса. М-р Браунелл не обнаруживает во Франции ничего более значимого, чем отсутст-

¹ Brownell W.C. Op. cit. – P. 284.

² Ibid. – P. 295.

³ Ibid. – P. 295.

вие педантов. «Сразу видишь в таком обществе свободную и непринужденную игру способностей, широкий, исполненный юмора и терпимый взгляд на себя и других, свободное время, спокойную, здоровую и рациональную живость, безмятежную уверенность в своих восприятиях и в разумности ближних»¹.

Вместе с этой частичной безответственностью, этой склонностью не принимать слишком всерьез собственное частное Я, идет отсутствие всякого рода моральных крайностей. Их добродетель не столь добродетельна, а порок не столь порочен, как у нас. То и другое проистекает в большей степени из непосредственного общения. «То, что было бы у нас пороком, остается во Франции социальным нарушением, вызванным чувством»².

Эти особенности имеют очевидную связь с более энергичной и легкой общительностью, столь поражающей нас во французах: они, как правило, менее интроспективны и живут более непосредственно и конгениально в социальном потоке, из которого, соответственно, менее склонны себя вычленять.

Франция, разумеется, на свой лад столь же подлинно демократична, как и Соединенные Штаты; более того, пожалуй, ни в одной другой стране преобладающее чувство людей в данной группе не является настолько *кратичным*, настолько непосредственно авторитетным. Формализм в том виде, в каком он там существует, – это тот род формализма, к которому сами люди относятся с разумной симпатией, а не тот, который насаждается свыше, как в России или даже в Германии. Но по типу эта демократия совершенно отлична от нашей: она менее дифференцирована в индивидуальном плане и, пожалуй, больше дифференцирована по группам; она более консолидирована и институциональна. Истоки этой разницы кроются отчасти в ходе истории и отчасти, несомненно, в расовой психологии. Укоренившиеся разногласия вроде тех, что существуют между Республикой и Церковью, и потребность держать народ в готовности к внезапной войне относятся к числу влияний, делающих формальное единство во Франции более необходимым и терпимым, чем в Англии.

Французский вид солидарности по сравнению с англосаксонским имеет как свои достоинства, так и свои недостатки. Он определенно способствует образованию сплоченных социальных групп – например художественных «школ», энергичности которых Франция во многом обязана своим ведущим положением в эстетической про-

¹ Brownell W.C. Op. cit. – P. 304.

² Ibid. – P. 64.

дукции. С другой стороны, в тех сферах, где англосаксонский тип структуры успешно соединяет большую энергию индивидуальности со столь же действенным единством в чувствах, он до сих пор, по-видимому, превосходит тот тип, солидарность которого достигается в ущерб изменчивости. Именно дух самостоятельности тевтонских народов – их так называемый индивидуализм – принес им неоспоримо ведущую роль в промышленной и политической борьбе последнего времени.

Наверное, самый глубокий критерий солидарности – это та лояльность индивида целому, которая гарантирует, что как бы ни был он обособлен в качестве солдата, пионера, механика, студента, он будет лелеять это целое в своем сердце и неустрашимо и неподкупно выполнять свой долг перед ним. Именно этим сильны англосаксонские народы. Англичанин, даже оставшись один в дебрях Африки, редко бывает кем-то иным, нежели англичанином: совесть его скроена по английским стандартам, и он действительно проводит их в жизнь. Это моральное целое, владеющее индивидом и делающее каждого на свой лад героем, и есть та солидарность, которая нам нужна.

Традиция приходит из прошлого, а конвенция, пусть и окольно, – от наших современников. Первую иллюстрируют рассказы о домашнем очаге и максимы наших бабушек и дедушек, вторую – сиюминутные моды. В обоих случаях есть указание на духовную непрерывность, но традиция обладает большой протяженностью во времени и, наверное, очень малой в месте, тогда как конвенция охватывает обширное место, но может длиться всего лишь день.

Похоже, это ясное различие, и некоторые авторы извлекли из него немало пользы, отнеся «подражание обычаю» и «подражание моде»¹ – если воспользоваться терминами блистательного французского социолога Тарда – к первичным особенностям, отличающим одни общества от других.

Так, средневековое общество, говорят нам, было традиционным: люди жили в довольно обособленных группах, и над ними господствовали идеи их предков, бывшие более доступными, чем идеи их современников. В свою очередь современное общество с его телеграфами, газетами и миграциями конвенционально. Передача мысли охватывает обширные территории и неисчислимые множества людей; преемственная связь с предками разорвана; люди приобретают привычку смотреть по сторонам, а не назад, и все это оборачивается ин-

¹ *Imitation-coutume* и *imitation-mode*.

стинктивным предпочтением моды обычаю. Во времена Данте, когда вы путешествовали по Европе, оказывалось, что каждый город, каждый район имеют свою особую одежду, свой диалект и свой локальный обычай, переданные от предков. Было много изменчивости от места к месту, но мало во времени. Если бы вы отправились в такое путешествие сегодня, то оказалось бы, что люди всюду одеты очень похоже, что диалекты выходят из употребления и что люди стремятся идентифицироваться с общей суетой современной жизни. Кроме того, вы бы обнаружили, что одежда, поведение и объекты текущего интереса, будучи во многом одинаковыми для целых наций и имея много общего по всему миру, имеют в какой-то степени преходящий характер, сильно меняясь во времени, но мало от места к месту.

Между современной и средневековой жизнью и впрямь существует в этом отношении огромное различие, но если бы мы назвали его переходом от традиции к конвенции, то это, на мой взгляд, не показало бы его реальный характер. На самом деле традиция и конвенция – вовсе не отдельные и противоположные вещи, каковыми могут казаться, когда мы смотрим на них в их предельно контрастных фазах. Было бы странно, если бы имелся сколько-нибудь реальный разрыв между идеями, приходящими из прошлого, и идеями, приходящими от современников, ведь они существуют в одном и том же общественном уме. Традиционное обыкновение (*usage*) – это также и конвенция внутри группы, в которой оно преобладает. Человек перенимает его от других людей и подчиняется ему благодаря подражанию и желанию не выделяться – так же, как и в случае любой другой конвенции. Причудливые местные костюмы, все еще преобладающие в глухих уголках Европы, носят, несомненно, по тем же причинам, по которым утонченные люди по всему миру носят столь же своеобразные фраки и цилиндры; одна конвенция всего лишь имеет более широкое хождение, чем другая. В прошлом конформная группа, в силу затрудненности общения, была небольшой в размере. Люди стремились следовать моде так же, как и сегодня, но ничего не знали о модах, существовавших за пределами их местности. Современные традиции конвенциональны в более широких масштабах. Возьмем достойный пример: доктрина Монро является традицией, если взглянуть на нее исторически, но конвенцией в части того, как она входит в нынешнее мнение.

Схожим образом можно увидеть, что конвенции должны быть также и традициями. Новые моды – это адаптации старых, и

никаких новых идей на самом деле нет, а есть лишь постепенная трансформация идей, пришедших к нам из прошлого.

Следовательно, при широком взгляде традиция и конвенция – всего лишь разные аспекты передачи мысли и того единства социальных групп, которое из нее возникает. Если наш ум фиксируется на исторической стороне дела, то мы видим традицию, если на современной – то конвенцию. Но сам процесс на самом деле един, а их противоположность – лишь частичная и кажущаяся. Все влияния в их непосредственном происхождении современны, и все укоренены в прошлом.

Что же тогда создает разницу между явно традиционным обществом, таким как общество средневековой Европы, и очевидно конвенциональным обществом, вроде общества нашего времени? Всего лишь то, что условия определенного рода делают одну из этих фаз более очевидной, чем другую. В сравнительно небольшой и устойчивой группе, непрерывно существующей в одной и той же местности и имеющей мало сношений с окружающим миром, является очевидным фактом приход идей из традиции: они переходят от родителей к детям так же зримо, как и физические черты. Конвенция же, или воздействие современного общения, имеет настолько малый масштаб, что ее меньше видно: в глаза бросается длительность движений, а не их ширина.

В свою очередь в случае обширной группы, связанной в осознанное единство свободной коммуникацией, люди в поисках идей уже не смотрят главным образом на своих отцов; родительскому влиянию приходится конкурировать с множеством других, и еще более ослабляет его разрушение семейных связей, идущее рука об руку со свободой передвижения. Тем не менее люди зависят от прошлого не меньше, чем раньше; только традиция настолько тонка и рассеяна в поверхности вещей, что характер традиции с трудом в ней обнаруживается. Теперь в сферу явного выходит латеральное движение; влияния, похоже, приходят со стороны, и мода одерживает верх над обычаем. Это в чем-то сродни разнице между множеством несвязных ручейков и одной большой рекой, в которой общее ниспадающее движение искажается многочисленными поперечными течениями и водоворотами.

На самом деле свободная коммуникация расширяет масштаб традиции так же, как и масштаб моды. Все известное прошлое становится доступным повсюду, и вместо культа непосредственных предков приходит длиннорукое избирательное присвоение любых традиционных идей, которые придутся нам по вкусу. За живописью мир отправляется в Италию эпохи Возрождения, за

скульптурой – в древнюю Грецию и т.д. Конвенция не одержала верх над традицией; они обе трансформировались.

Во многом так же можно провести различие между традиционализмом и конвенционализмом. Первый означает доминирующий тип мышления, явно передаваемый из прошлого, второй – тип мышления, сформированный современными веяниями. При этом не следует ожидать, что это различие будет сколько-нибудь более фундаментальным, чем уже разобранный.

Традиционализм можно искать везде, где есть давно сложившиеся группы, в какой-то мере отрезанные от сторонних влияний либо внешними условиями, либо характером их собственной системы идей, – например, в изолированных сельских сообществах, в старых сплоченных организациях наподобие церкви или в замкнутых на себе нациях, таких какой обычно был Китай. Конвенционализм относится к сплоченным типам, не являющимся с очевидностью традиционными, и этим термином описывается значительная часть современной жизни.

Тот факт, что какие-то фазы общества больше, чем другие, подпадают под господство устоявшихся типов, традиционного или конвенционального, указывает, конечно, на некоторое равновесие влияний внутри них и на сравнительное отсутствие конкурирующих идей. Этому в свою очередь способствует ряд причин. Одна из них – недостаток индивидуальности и уверенности в себе, проявляемый со стороны народа; так, о французах говорят, что они вписываются в типы с большей готовностью, чем англичане или американцы. Второе требование – истечение достаточного времени для того, чтобы установился сам тип и чтобы действия людей пришли с ним в соответствие; даже моду нельзя создать за минуту. Третья причина состоит в том, что интересы должны быть достаточно, чтобы заметить и осудить неконформность, но недостаточно, чтобы поощрить оригинальность. Более всего мы подражательны тогда, когда что-то замечаем, но не придаем этому большого значения. Еще одно благоприятное условие – привычка почтения к какому-нибудь авторитету, который может навязывать тип своим примером.

Так, образованные классы Англии, возможно, более конвенциональны в одежде и манерах, чем соответствующие классы в Соединенных Штатах. Если это действительно так, то объяснение кроется, вероятно, не в какой-то внутренней разнице в индивидуальности, а в условиях, больше или меньше благоприятствующих созреванию типов, – таких как сравнительная новизна и смешан-

ность американской цивилизации, отсутствие признанного высшего класса, который мог бы задать авторитетный образец, а также некоторый недостаток интереса к внешним сторонам жизни, которому, по-видимому, способствует наша неугомонность¹. С другой стороны, надобно сказать, что ненадежность положения и более плотная зависимость от мнения ближних, существующие в Америке, ведут к конвенционализму, поскольку заставляют индивида старательнее казаться хорошим в глазах других. Этот принцип можно проиллюстрировать любопытным фактом, что Палата общин, более демократичная ветвь британского законодательного органа, описывается как более конвенциональная, чем Палата лордов. Если бы стандарты в Америке были достаточно развиты, то трудностей с проведением их в жизнь было бы, вероятно, не больше, чем в Англии.

Наверное, мы ближе всего подошли бы к истине, если бы сказали, что в американской жизни есть свои конвенции – более смутные, чем британские, придающие меньше значения формам и больше значения сочувствию, но при этом ничуть не менее убедительные.

Глава XXX.

ФОРМАЛИЗМ И ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ

Природа формализма. – Его воздействие на личность. – Формализм в современной жизни. – Деорганизация, или «индивидуализм». – Как она воздействует на индивида. – Связь с формализмом. – «Индивидуализм» предполагает дефекты в симпатии. – Нынешний «индивидуализм». – Беспокойство при дискомфорте. – Лучший аспект деорганизации.

Избыток механичности в обществе дает нам нечто такое, для чего есть множество имен, слегка различающихся по смыслу: «институционализм», «формализм», «традиционализм», «конвенциона-

¹ Американцам следует заметить, что беспокойная предрасположенность представителей английского среднего класса подражать тем, кого они считают социально высшими, т.е. та самая особенность, которую американцы склонны называть снобизмом, приносит благие плоды, рождая дисциплину, которой многим из нас категорически не хватает. Быть может, лучше, например, в манерах, чтобы люди перенимали стандарт, руководствуясь спорными мотивами, чем чтобы у них не было никакого стандарта вообще. Наша проблема – это ползучее, болтливое самодовольство, не знающее и не заботящееся о том, существуют ли такие вещи, как манеры, искусство и литература, или нет.

лизм», «ритуализм», «бюрократия» и т.д. При этом вовсе не легко определить, избыточна механичность или нет. Она, несомненно, становится злом, когда мешает росту и адаптации, подавляет индивидуальность и глушит или направляет в неверную сторону энергии человеческой природы. Но когда именно это происходит, обычно не бывает ясно до тех пор, пока дело не пойдет слишком далеко и мы не сможем увидеть это уже в исторической перспективе.

Так, в религии будет благом то, что люди сохраняют приверженность верованиям и ритуалам, выработанным в прошлом для духовного назидания, пока они, в целом, выполняют свою функцию; и трудно зафиксировать тот момент – неординарный для разных церквей, классов или индивидов, – когда они перестают это делать. Однако нет сомнения в том, что со временем они, подобно всякой живой ткани, умирают и, не будучи вовремя вычищенными, разлагаются.

Когда-то хорошо было сказано, что формализм – это «избыток органа языка»¹. Цель всякой организации – выразить человеческую природу, и она делает это через систему символов, служащих воплощением и переносчиком идеи. До тех пор, пока дух и символ сохраняют жизненное единство и идея реально передается, все хорошо, но стоит только им разделиться, как символ становится пустой оболочкой, за которую, однако, все еще могут цепляться обычаи, чувство гордости или интерес. В этом случае он уже не передает, а скорее вытесняет реальность.

В основе любого формализма лежит, в сущности, то, что он психически дешев; он подменяет внутреннее внешним – тем, что более осязаемо, более пригодно для того, чтобы держать перед умственным взором без новых затрат мысли и чувства, и, следовательно, легче выносится во внешний мир и запечатлевается во множестве. Так, в нашей архитектуре или литературе мы находим несметное множество дешевых, непрочувствованных повторений форм, бывших в свое время и в своем месте осмысленными и прекрасными.

Воздействие формализма на личность состоит в истощении ее высшей жизни, оставлении ее в плену апатии, самоуспокоенности, чувственности и вообще низменного. Формализованная религия и формализованная свобода – явно подходящее пристанище для разврата и угнетения.

¹ В очерке Р.У. Эмерсона «Поэт».

Когда прочно утверждается такого рода система, как это было на закате Римской империи, она словно заточает индивидуальный ум в тесную клетку, обеспечивая его одним-единственным видом внушений. Изменение идей и замещение старых типов новыми могут начаться лишь благодаря индивидам, улавливающим внушения, вступающие в конфликт с внушениями правящей системы; когда этого нет, старый тип может воспроизводиться до бесконечности, и индивиды кажутся при нем не более чем листьями дерева, которые осенью опадают, а весной заменяются новыми, неотличимыми от них. Он «сохраняет чистоту породы» на основе того же принципа, в силу которого дикие голуби, долго привязанные естественными ограничениями к фиксированному типу, менее изменчивы по сравнению с домашними видами, в недавнем прошлом которых присутствовали элементы изменения.

Так, у индусов ребенка с младенческих лет воспитывают в подчинении церемониям и обрядам, накладывающим на него отпечаток фиксированной, с незапамятных времен существующей системы. Они контролируют малейшие детали его жизни и оставляют мало места для выбора как ему самому, так и его родителям. Нет даже попытки рассудочно обосновать традицию: обычай обязателен как таковой.

Рука об руку с формализмом идет естественным образом нетерпимость, ибо уму, намертво схваченному фиксированной системой мышления, все, что отличается от этой системы, должно казаться иррациональным и абсурдным. Распоследний китаец искренне презирает иностранца, какого бы ранга тот ни был, как грубого варвара, точно так же, как христиане в прошлом презирали евреев, а евреи в свою очередь – самаритян. Терпимость приходит с мирной дискуссией, когда есть конкуренция разных способов мышления, ни один из которых не силен настолько, чтобы подавить другие.

В Америке и Западной Европе в наши дни много формализма, но, в целом, он имеет частичный и вторичный характер, существуя скорее от неадекватности жизненной силы, чем в качестве руководящего принципа. Общее состояние мышления благоприятствует адаптации, поскольку мы к ней привыкли и, в целом, сочли ее благотворной. Мы ожидаем, например, что неповоротливые системы России и Востока и всё, что аналогично им в нашем мире, вытеснит более жизненная и гибкая форма организации.

Меж тем мертвый механизм – слишком естественный продукт условий человеческого существования, чтобы не существо-

вать во все времена, и мы легко найдем его сегодня в церкви, политике, образовании, промышленности и филантропии, везде, где недостает живой мысли и чувства, чтобы удержать машинерию в гибком подчинении ее задачам.

Так, много формализма проявляют наши школы, средние и начальные. Рутинные методы здесь, как и везде, служат средством для выполнения в больших количествах дешевого труда, и искушению воспользоваться ими в случае учителя, которому приходится делать слишком много или от которого требуется делание того, чего он не понимает или во что он не верит, почти невозможно сопротивляться. Начальство и специальные училища зачастую прививают учителю презрение к тому факту, что существенным элементом реального преподавания является личная экспрессия между учителем и учеником. Муштра легко дается тому, кто приобрел в ней сноровку, именно потому, что не требует ничего жизненного и личного, а служит удобным средством для того, чтобы сделать дело с видимостью успеха и без заметных затруднений.

Подобных перекосов полно даже в университетах. Так, в литературе, будь то древняя или современная, английская или зарубежная, передается мало жизненно важного. Вынуждаемый своим положением преподавать *что-то* большим и разношерстным классам, учитель приходит к фиксации на определенных темах, таких как грамматика, метры или биографии авторов, определенность которых делает их пригодными для дидактических целей, и вдальбливает их в студента, в то время как реальные вещи, а именно чувства, составляющие душу литературы, не передаются. Даже если учитель лично их чувствует – а часто бывает так, – сам факт несводимости их к формулам и невозможности проверить их на экзамене отваживает его от того, чтобы делать на них упор.

Столь же формальна и вся наша система торговли и промышленности: это огромная машина, которая все мелет и мелет вслепую, часто разрушая человеческую природу, ради служения которой она существует. Мамона – не демон с картины Уоттса, властно давящий женскую фигуру, лежащую под его рукой, а всего лишь очерстневший мирской человек, отвернувшийся в сторону и поглощенный ведением бизнеса на принципах бизнеса.

Любопытный пример того же самого – стереотипизация языка дешевой прессой и привычкой к быстрому чтению. Газеты призваны давать максимум тривиальной информации при минимальных затратах внимания и, делая это, приходят к принятию небольшого стандартного словаря и единообразной расстановки слов и предло-

жений. Все, что требует от читателя или от автора свежей мысли, избегается ради большего удобства обоих. Значительную роль в этом играет телеграф, и наблюдатель, знакомый с его техникой, отмечает, что тот отдает приоритет длинным, но безошибочно узнаваемым словам, расхожим фразам (для которых у операторов есть краткие обозначения) и настолько ясному построению предложений, чтобы их смысл не мог быть искажен ошибками в пунктуации¹. Так наши газеты, а также перенимающие их характер журналы и книги становятся обителью конвенционализма, возможно, настолько же разрушительного для духа литературы, насколько церковность была разрушительной для духа христианства.

По-видимому, противостоит формализму, но в реальности тесно с ним связана дезорганизация, или дезинтеграция, которую часто, хотя и неточно, называют «индивидуализмом»². В одном случае мы имеем механизм, доведенный до наивысшего предела, в другом – механизм, распадающийся на части; оба состояния противоположны той гармонии между человеческой природой и ее инструментами, которая нам желанна.

При таком положении дел общий порядок и дисциплина отсутствуют. Хотя достойные похвалы личности и деятельности могут и быть, обществу в целом недостает единства и рациональности, как картине, в которой хорошо прорисованы детали, но нет радующей глаз композиции. Индивиды и особые группы предстают усердно устремленными к целям, идущим вразрез друг с другом; есть «взаимная борьба расходящихся сил», но «гармонии мира» из нее не рождается. Как хорошие актеры не всегда образуют хорошую труппу, а храбрые солдаты – хорошую армию, так и нация или историческая эпоха, скажем, Италия в эпоху Возрождения, может быть плодотворна на выдающихся людей и разрозненные достижения, но сравнительно бесплодна и хаотична как система.

Дезорганизация проявляется в индивиде как ум, лишенный внятной и прочной приверженности целому, а также высших принципов поведения, вытекающих из этой приверженности. Лучшая сторона этого состоит в том, что недостаток опоры может побуждать человека к большей активности и независимости, худ-

¹ См. статью Р.Л. О'Брайена в «Atlantic monthly»: O'Brien R.L. Machinery and English style // Atlantic monthly. – Boston (MA), 1904. – Oct. – P. 464–472.

² Неточно, поскольку полное развитие индивида требует организации.

шая – в том, что отсутствие социальных стандартов обычно понижает для него планку достижений, отбрасывая в чувственность и иные примитивные импульсы, а также в том, что в случае чувствительного характера он склонен к перенапряжению от тяжести с упрямыми условиями. Как легко и возвышенно дышится в атмосфере широкой и спокойной дисциплины! Помню, я чувствовал это, читая «Сорок один год в Индии» лорда Робертса¹, книгу, красной нитью через которую проходит одна великая и простая мысль: англо-индийская служба, стоящая над любыми узкими соображениями и дающая людям достойный идеал, которым можно жить. Сколь редки в наши дни книга или человек, пребывающие во власти спокойной и несомненной веры во что-то!

То, что великие личности часто появляются во времена хаоса, может внешне противоречить принципу, что здоровое развитие индивидов едино со здоровым развитием институтов. Так, итальянское Возрождение, бывшее эпохой политического беспорядка и религиозного упадка, дало величайших живописцев и скульпторов современности и много великих личностей в литературе и искусстве управления государством. Но какой бы гений ни появился в такую эпоху, он всегда есть в каком-то отношении продукт предшествующего традиционного развития, а не просто личностный феномен. То, что это верно для искусства эпохи Возрождения, не требует доказательств; как и всякое великое достижение, оно основывается на организации.

Несомненно и то, что в сварах смутных времен есть стимул, могущий побуждать немногих индивидов к героическим усилиям и свершениям, точно так же, как могут давать повод для героизма пожар или железнодорожная катастрофа; следовательно, разброд эпохи Возрождения был, возможно, одной из причин как появления великих людей, так и деморализации, коей они не могли избежать.

На первый взгляд, формализм и дезорганизация предельно далеки друг от друга. На самом же деле они тесно друг с другом связаны. Последняя – всего лишь следующий шаг после первого в логической последовательности: распад уже мертвого тела. Формализм совершенно естественно сопрягается с чувственностью, алчностью, эгоистическими амбициями и прочими чертами дезорганизации, поскольку сугубо формальный институт не увлекает и не дисциплинирует душу индивида, а завладевает им исключительно внешне, так

¹ Roberts F.S. Forty-one years in India. – L.: R. Bentley & son, 1898. – *Прим. ред.*

что личности остается либо апатия, либо бессмысленная и мятежная активность. Так, в последние века существования Римской империи, когда ее система достигла максимальной ригидности, люди стали непатриотичными, разнузданными и чувственными.

Так же и школа с сугубо формальной дисциплиной, не мобилизующей интерес и добрую волю школьника, почти наверняка сделает мальчиков и девочек неуправляемыми; ведь все самое личное и жизненное в них приноравливается к утверждению себя в противовес системе. То же самое происходит и в церкви, где внешняя обрядность развилась в ущерб личному суждению: индивид соблюдает обряд, а после чувствует себя свободным для всякого рода вседозволенности. В общем, подлый «индивидуализм» нашего времени, безжалостное самоутверждение, ярче всего явленное, например в бизнесе, – это не что-то отдельное от наших институтов, а выражение того, что они по большей части формальны и бесчеловечны, не вовлекают в свою орбиту душу индивида и не возвеличивают ее.

По-настоящему противоположна как формализму, так и беспорядку та полноценная связь индивидуальности с институтом, при которой они друг друга поддерживают и последний дает стабильную основу для жизненности и изменчивости первой.

В каком-то смысле дезорганизация – это недостаток коммуникации и социального сознания, дефект в органе языка, тогда как формализм означает их избыток. Думаю, более широкое целое есть всегда; вопрос лишь в том, будет ли индивид мыслить и ощущать его живо, посредством некоторого симпатического контакта; если да, то он будет действовать в качестве его члена.

В сочинениях одного из самых въедливых, но все же оптимистичных критиков нашей эпохи¹ мы видим, что «индивидуализм» отождествляется прежде всего с обособлением чувств, вроде того, какое возникает у ученого в его изысканиях, у бизнесмена на службе или у механика, не чувствующего более широкого значения своей работы. Противоположностью ему является жизнь плечом к плечу, наполненная симпатией и сотрудничеством, в которой желание обрести особую власть или отличие теряется во всепреобладающем чувстве общей человечности. И логичное лекарство от «индивидуализма» ищут в том расширении духа непосредственного контакта с более широкими жизненными течениями, которое составляет цель социальных поселений и подобных им движений.

¹ Джейн Аддамс.

Это и в самом деле вдохновляющий и своевременный идеал, но давайте придерживаться его, помня о том, что в специализированных и единоличных устремлениях, даже в индивидуальной гордости и самоустремленности, тоже есть своя польза. Слишком полагаясь на мы-чувство и потерю единицы во множестве, можно впасть в беспорядочную эмоциональность. Товарищество «глаза в глаза» и гордость индивидуальными достижениями одинаково существенны для человеческого роста, каждое по-своему, но оба способны перерасти во вседозволенность. Нам нужен индивид с прочным внутренним стержнем и с широчайшей основой симпатии.

Поскольку в наше время более широкие интересы общества и впрямь не запечатлеваются в индивиде так, что его частные импульсы пребывали бы в кооперации с общественным благом, то это эпоха нравственного распада. Хорошо упорядоченное сообщество сродни кораблю, на котором каждый офицер и матрос уверены друг в друге и в капитане и привыкли выполнять свой долг, разве что с обычным ворчанием. Все слажено и подчинено разуму, явленному в виде испытанных временем правил навигации и дисциплины. Добродетель – это система: люди совершают героические поступки как часть своей повседневной работы и без самосознания. Но представьте, что корабль разбивается вдребезги, скажем, налетев на айсберг, упорядоченное целое распадается, и вот офицеры, матросы и пассажиры вперемешку барахтаются в воде. Рационального контроля и вошедшей в привычку добродетели как не бывало. Каждый отброшен к своим не обработанным дисциплиной порывам. Выживание зависит уже не от мудрости и доброго нрава, как это по большей части бывает в социальной системе, а от безжалостной силы, и лучшие вполне могут погибнуть.

Здесь обнаруживается «индивидуализм» в самом низменном смысле, и именно об аналоге его не без оснований говорят, что им пропитано насквозь все наше общество. Старые институты уходят в прошлое, на их место, как мы надеемся, готовятся прийти лучшие, а тем временем сохраняется отсутствие более высокой дисциплины, которая запечатлевала бы благо целого в сердце его члена. В традиционном порядке человек с детства привыкает относиться к обычаю, авторитету старших и доминирующим институтам как к правилу жизни. «Так это и должно быть» – таково его неосознанное убеждение, и он, подобно матросу, совершает, не ведая того, мудрые и героические поступки. В наше же время для многих людей, если не для большинства, нет никакого авторитетного жизненного канона, и, к

добру это или не к добру, нами правят природные порывы и частный рассудок, бывающий очень слабым в отрыве от рационального целого. Высшая нравственность, чтобы быть достижимой, должна специально продумываться; а из тех немногих, что к этому способен, многие растрачивают все силы в мышлении и не практикуют сколько-нибудь чистосердечно постигнутые ими истины.

Далее, мы обнаруживаем, что людям приходится настраивать умы на собственные обязанности жен, мужей, матерей и дочерей, на коммерческие обязательства и гражданство, на мир, природу и авторитет Господа. Многие из нас неизбежно плохо с этим справляются. Для нас это слишком много. Словно каждый из нас должен сесть и сам изобрести язык: эти вещи должны продумываться постепенно, сообщая, когда каждый мало что вносит и многое берет уже готовым. То, что великие традиции при этих условиях должны быстро распадаться, — возможно, необходимая фаза эволюции и тайное благо, но сегодня результатом этого процесса являются по большей части смятение и деморализация.

В частности, мы отмечаем, что мало кого из тех, кому доводится нести тяготы, всерьез контролирует традиция покорности. Каждый спрашивает: «Почему я должен это нести?», — и мучительные попытки выяснить, почему это так, часто оказываются хуже самих тягот. Обычно не находится никаких очевидных резонансов, и в ответ часто возникают мятежные чувства и горечь, выливающиеся, возможно, в безрассудство, развод или самоубийство.

Почему я беден, в то время как другие богаты? Почему мне приходится делать работу, которая мне не нравится? Почему я должен быть честен, когда другие беспринципны? Зачем мне изнурять себя рождением и воспитанием детей? Почему я должен (должна) хранить верность жене (мужу), если мы не счастливы вместе и кто-то другой лучше бы мне подошел? Почему я должен верить в доброго Бога, если все, что я знаю, — дурной мир? Почему я должен жить, если мне хочется умереть? Наверное, никогда еще не было так много людей, которые задавали бы себе такие вопросы и не находили ясного ответа. Были и другие времена аналогичной смуты, но никогда еще она не проникала в массы так глубоко, как в наши дни всеобщей суеты и коммуникации.

Насколько ничтожными выглядят все эти калькуляции по сравнению с установкой солдата, знающего, что он должен нести лишения и, может, даже погибнуть, но все же с готовностью принимающего эту перспективу и где-то даже гордящегося своим

самопожертвованием. В таком духе, несомненно, должны приниматься все жизненные обязанности. Однако у солдата, моряка, пожарного, машиниста шахтной подъемной машины, врача и других, сам род занятий которых сопряжен с очевидной опасностью, есть одно огромное преимущество: они знают, в чем состоит их долг, и не помышляют ни о чем кроме его выполнения; в них нет душевного разлада, который усложнял бы ситуацию. Как только принципы установлены и привычки сформированы, люди ведут себя в других функциях так же героически, как и в этих.

Ко многому в наши дни можно отнести слова Буркхардта, сказанные по поводу дезорганизации эпохи Возрождения: «Видя торжество эгоизма, он берет защиту справедливости в собственных делах в свои руки и из-за осуществляемой им мести подпадает под влияние темных сил, между тем как полагал достичь внутреннего мира»¹. Иначе говоря, мы думаем, что должны быть такими же эгоистичными, как другие, но оказывается, что эгоизм – это страдание. Я вижу, как многие люди, даже испытывая немало естественной симпатии и расположения к другим, приняли принцип «каждый сам за себя» как своего рода догму, заставив себя поверить, что это необходимое правило конкурентного общества, и практикуя его с таким фанатизмом, что это идет вразрез со всем лучшим, что в них есть. Восприимчивые люди склонны к этому, пожалуй, даже больше других, поскольку больше затронуты зрелищем окружающего «торжества эгоизма». Между тем подлинное благо индивида обнаруживается лишь в подчинении себя рациональному целому, а обращая себя против других, он сам себя разрушает.

Озлобленный, сбитый с толку индивид неизбежно оказывается плохим гражданином. Между теми, кто ощущает жизнь как рациональное целое и, следовательно, так или иначе верит в Бога, и прочими существует такое же моральное различие, как между армией, которая верит в своего полководца, и армией, которая в него не верит. И в том и в другом случае чувство во многом само создает себе оправдание.

В том, что разрушение традиций отбрасывает человека к сиюминутной человеческой природе, есть, однако, как плохая, так и хорошая стороны. Этот факт может отвлекать взор от более масштабных истин, выношенных самим временем, и выпускать из узды

¹ Цит. по: Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии: Опыт исследования. – М.: Юрист, 1996. – С. 303. – *Прим. пер.*

самолюбие, чувственность и скептицизм; но вместе с тем он пробуждает в человеке ребенка и детскую податливость как лучшему, так и худшему в естественных порывах. У людей, переставших ощущать традицию, можно искать такие же добродетели и пороки, какие мы находим на фронтире: бесхитрость, любовь к характеру и силе, доброту, надежду, гостеприимство и мужество. Рядом с экстравагантным развитием чувственной жизни, самолюбия и капризности мы обнаруживаем общий культ детства и женственности, широко разросшуюся благотворительность и интерес ко всему, что связано с благосостоянием масс. Огромные частные дары на благотворительные и образовательные цели и то, что с этими дарами смешано много личного самолюбия, — одинаково значимые приметы нашего времени.

В конце концов, общего состояния полного распада никогда не бывает. Дезинтеграция, от которой страдает наша эпоха в искусстве и социальных отношениях, — это главным образом наказание за сосредоточение мысли на материальном производстве и физической науке. В этих сферах нет дефицита единых кумулятивных усилий, пусть даже в чем-то и негуманных, которые приводят к общим достижениям. У нас нет Данте и готической архитектуры, но есть Дарвин и современные железные дороги. И можно надеяться, что как только общий ум обратится к иным целям, наш хаотичный материал обретет порядок.

РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

ПРОЦЕСС СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ (1897)*

Выражения «естественный отбор», «выживание наиболее приспособленных» и «борьба за существование», наряду с другими, пришедшими из «Происхождения видов» и «Синтетической философии», применяются ныне к социальным явлениям и прочно вошли в обиход как описания того, что происходит у людей. Некоторые, однако, спрашивают, не прижились ли они, как это предполагается в отношении наших серебряных долларов, больше в силу доверия к их авторам, нежели исходя из ценности каких-то конкретных идей, обычно с ними связываемых.

В употреблении этих выражений есть, вообще говоря, много неясности; и одна из задач этой статьи состоит в том, чтобы сделать кое-что для их прояснения, т.е. выяснить, насколько возможно, могут ли эти сомнительные ярлыки как-нибудь быть обменены на стандартную валюту царства мысли и факта. Имея в виду эту цель, я собираюсь вначале разобраться, насколько естественный отбор первичного, животного типа, о котором учит Дарвин, является процессом социального изменения, а затем, если окажется, что здесь присутствует иной процесс, рассмотрю его природу и действие. Исследование удобно разделить на три части:

- I. Естественный отбор как процесс социального изменения.
- II. Социальное изменение в собственном смысле слова.
- III. Влияние коммуникации на социальное изменение.

* Перевод сделан по источнику: Cooley Ch.H. The process of social change // Political science quart. – N.Y., 1897. – Vol. 12, N 1. – P. 63–81. Впервые был опубликован в журнале: Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2017. – № 3. – С. 123–142.

Что касается разных расовых элементов в населении земли, то дарвиновская идея изменения посредством выживания – идея, что все существующее существует постольку, поскольку в то или иное время одержало верх в борьбе за существование, – вовсе не спекуляция, а самая проверяемая в мире вещь. По поводу других видов еще могут быть сомнения, но в случае *homo* этот процесс очевиден на протяжении всей истории и продолжается в полную силу в настоящее время. Трудно было бы отыскать какой-нибудь крупный регион, где одна раса, нация или племенная группа не возрастала бы в численности за счет уменьшения какой-то другой. М-р Гальтон находит, что «вероятно, вряд ли на земле есть такие места, которые бы не населялись в пределах последних тысячелетий самыми разными расами»¹, и «что, в среднем, в каждом районе умеренного размера на поверхности земли можно обнаружить как минимум три разных расы». От рас в Южной Африке у него возникло впечатление «постоянного состояния ферментации и изменения – быстрого развития какого-то клана здесь и полного или почти полного подавления другого клана там». Мы и сами часть этого процесса. Мы пребываем в потоке быстрого и запутанного движения, общее направление которого достаточно ясно, хотя от нас и скрыты детали. Европейские расы почти везде на подъеме: в нашем столетии они почти утроились численно и – с тевтонскими народами впереди и англичанами во главе – распространились и умножились на значительной части земной поверхности². В Соединенных Штатах мы увидели, как исчезают индейцы и остаются негры, а в наших городах и новых сельскохозяйственных регионах разворачивается активная конкуренция между новоприбывшими выходцами из всех европейских народов и между ними и потомками иммигрантов былых времен.

¹ Galton F. *Inquiries into human faculty and its development*. – L.: Macmillan, 1883. – P. 310 ff.

² Согласно «Таблицам населения» Хьюбнера, в Европе в 1895 г. было около 366 млн человек. В 1801 г. было 175 млн. По расчетам Левассёра, численность европейцев вне Европы составляла в 1800 г. 9,5 млн человек, в 1890 г. – 91,5 млн. (Levasseur E. *La population française: Histoire de la population française avant 1789*. – P.: A. Rousseau, 1892. – Т. 3. – Ch. 9). Проф. Бринтон утверждает, что белая раса два столетия назад насчитывала 100 млн человек, что составляло около 10% мирового населения, а в настоящее время только европейские ветви насчитывают 500 млн человек, или треть населения земли. См.: Brinton D.G. *Races and peoples: Lectures on the science of ethnography*. – N.Y.: N.D.C. Hodges publishers, 1890. – P. 298.

Если же исследователь отвлекается от конкуренции рас и обращается к изучению того, что происходит внутри любой отдельной расы, то выяснить, как здесь работает естественный отбор, оказывается не так уж легко; действительно, нелегко показать, что он вызывает здесь какие-то значимые изменения. Представим, например, что он хочет узнать, какие изменения, помимо обусловленных взаимным смешением с другими расами, претерпели в ходе истории англичане. Чтобы понять суть этого вопроса, необходимо вспомнить, что в институтах, манерах, морали и даже во внешнем облике народа могут происходить великие изменения, не обязательно означающие, что через естественный отбор или иначе произошло какое-либо органическое изменение в расе. Если в нашей стране поселяется английская супружеская пара, то их дети будут впитывать из нашего климата и общества особенности внешнего вида и поведения, которые будут маркировать их в глазах всего мира как американцев; но эти изменения мало связаны с естественным отбором, и остается неясно, могут ли они хотя бы сколько-нибудь передаваться по наследству. Это же касается преобразований, составляющих подъем и падение наций: они главным образом, если не полностью, того же качества. Они происходят чересчур быстро, чтобы быть обусловленными естественным отбором или каким-то органическим изменением в расе. Упадок представляет собой, по-видимому, социальный износ, который утягивает индивида вниз, подчиняя его нездоровым влияниям. Так, нет никаких свидетельств того, что сегодняшние китайцы или испанцы чем-либо существенно отличаются от своих предков времен величия и славы этих народов; дегенерация у них, видимо, имеет тот же характер, что и наблюдаемая в поведении группы мальчиков, подпавших под дурное влияние¹. Это упадок общей атмосферы, морального духа, институтов, но не естественных способностей.

¹ «Чистокровно белый испаноамериканец, предки которого жили три века в тропической Америке, гражданин Соединенных Штатов, восходящий в своей генеалогии к пассажирам “Мэйфлауэра” или “Вэлкама”, крайне мало отошли от стандарта сегодняшнего андалуза или англичанина, хотя те, кто лично не изучал вариации в сравниваемых странах, часто утверждают обратное. Климатические условия и условия питания запечатлеваются материально в индивиде, а не в расе. Нубийские греки так же темнокожи, как и нубийцы, но дайте их детям вернуться в Грецию – и нубийский оттенок кожи исчезнет. Это общая истина; она относится ко всем легким запечатлениям, производимым в чистых расах непривычными средами». Brinton D.G. Op. cit. – P. 44, 45.

Убедительным примером возможного расхождения между естественным отбором и социальным изменением служит тот факт, что институты, враждебные выживанию, вроде монастырской системы, могут столетиями распространяться и процветать, не повинувшись животной наследственности.

Научная проверка органического различия состояла бы в том, что взяли бы для сравнения новорожденных младенцев, типичных для родовых групп, и отмечали, какие несходства у них развиваются, когда они вырастают под одними и теми же социальными влияниями. Грубые сравнения такого рода возможны и между нынешними народами, но они, разумеется, практически невозможны для разных периодов в истории одной и той же расы. В случае евреев этот предмет изучался настолько основательно, насколько вообще позволяет природа этих изысканий, и считается сомнительным, что эта раса претерпела сколько-нибудь значительные изменения со времен Моисея¹. Что касается нас и родственных нам народов – всегда обходящих стороной смешение рас, – то, думаю, мало кто из антропологов решится сказать что-то позитивное. А если бы даже и сказали, то не приходится сомневаться, что между ними не было бы согласия в вопросе направленности изменения. Многие предполагают, например, что падает физическая сила – вследствие ее неиспользования, растущего преобладания интеллекта как фактора успеха, сохранения слабых детей и поддержки пауперизма и порока через благотворительность². Но прямого доказательства упадка нет, и вполне может оказаться, что названные силы с лихвой уравниваются другими, которые можно считать противоположно направленными: лучшим и более регулярным питанием, широкой практикой систематических упражнений, подходящими браками и улучшением самых разных унижительных социальных условий. Любую из сторон в этом споре можно поддержать правдоподобными априорными аргументами, но при нынешнем недостатке прямых свидетельств никаких окончательных выводов здесь сделать нельзя.

Можно даже спросить, усилились ли ныне мыслительные способности по сравнению с прошлым. Несомненно, у тевтонских

¹ См. статьи Нойбауэра и Якобса в 15-м томе «Журнала Антропологического института»: Neubauer A. Notes on the race-types of the Jews // The j. of the Anthropological institute of Great Britain a. Ireland. – L., 1886. – Vol. 15. – P. 16–23; Jacobs J. On the racial characteristics of modern Jews // Ibid. – P. 23–62.

² Достойное восхищения обсуждение влияния благотворительности на выживание см.: Warner A.G. American charities. – N.Y.: Crowell, 1894. – Ch. 5.

народов со времен возрождения учености была проделана огромная и разнообразная умственная работа; но даже если предположить, что эффект такого упражнения может наследоваться, все же придется учесть, что в нем участвовала лишь малая часть расы. Более того, когда мы видим, что люди, занимающие ведущие позиции в литературе, науке и государственном деле, часто происходят из крестьянского класса, праотцы которого не участвовали сколько-нибудь ощутимо в умственной активности прошлого, становится ясно, что культура предков несущественна для производства этих выдающихся результатов. Значимо и то, что одно из самых примечательных интеллектуальных влияний нашего времени исходит от русских – народа, нового для цивилизации. Короче говоря, если бы мы смогли перенести в наше время несколько тысяч младенцев из нашего далекого прошлого и дать им современное воспитание и образование, то они, насколько мы знаем, могли бы внести свою лепту в круг конгрессменов, романистов и инженеров-электриков и были бы, во всяком случае, малоотличимы от остального населения. Статуя «Умиравший гладиатор» демонстрирует нашего возможного предка более чем двухтысячелетней давности, и все же он кажется мне вполне современным и узнаваемым – возможно, немного диким, чего можно ожидать от его образа жизни, но в прочих отношениях человеком, которого мы могли бы встретить в наше время почти повсюду.

Естественный отбор, в отличие от конфликта рас, очевидно, гораздо действеннее в сохранении типов, чем в их изменении, ведь он препятствует широким отклонениям в любом направлении. Закоренелые преступники и люди, погрязшие в саморазрушительных пороках, немногочисленны как класс; но людей выдающихся умственных и моральных способностей ничуть не больше. Основной костяк населения составляет промежуточное и ничем не примечательное множество.

Некоторые полагают, что наиболее деградировавшие классы самые плодовитые, но я не знаю ничего, что подтверждало бы это представление. К условиям быстрого естественного прироста относят физическую силу и сравнительно стабильную семейную жизнь. В обоих отношениях нищие и преступные классы решительно уступают остальному населению. С другой стороны, многие полагают, что успех и выживание идут рука об руку, – что то, что мы называем конкуренцией, есть лишь более или менее смягченная форма борьбы за существование и что, как правило и в конечном счете, те, кто достигает богатства, власти и прочего, к чему стремятся люди, способны

оставлять после себя больше детей, чем другие, и тем самым увековечивать те характеристики, коим они обязаны своим успехом. Часто предполагают, что это настолько само собой разумеется, что не требует никаких специальных исследований. Но это допущение предстанет безрассудным любому, кто вообще знаком со статистикой, и, видимо, в основе его лежит не прямое изучение человечества, а поспешный вывод из результатов биологии. Люди, добивающиеся необычайных успехов, не отличаются особой плодовитостью; насколько можно выяснить из статистики, как класс они в этом отношении ниже среднего. Более того, можно подготовить весьма убедительные доводы, с цифрами *ad libitum*, показывающие, что успешные не выживают и, следовательно, неприспособленны. Несомненно, природный стандарт успеха – т.е. выживание – совершенно отличен от социального, и они во многом противоположны друг другу. Ранний брак и заведение большой семьи никак не способствуют удовлетворению личных амбиций. Отсюда представляется, что броская неудача и броский успех примерно одинаково неблагоприятны для выживания и что пути, далеко отходящие от проторенной дороги обычного человечества, ведут к вымиранию.

Этот консерватизм, заключенный в условиях выживания, хорошо иллюстрируется примером образованных женщин. В целом, они кажутся весьма преуспевающим классом людей, классом, чей прогрессивный дух хорошо было бы передавать всеми возможными способами; и все же мы не можем ожидать, что женщины, к нему принадлежащие, оставят после себя столько детей, сколько те, вся энергия которых уходит в репродукцию. На самом деле значительная часть университетских женщин вообще не выходит замуж, а остальные скорее всего выходят замуж позже и рожают детей не так часто, как другие женщины¹.

Соответственно, вообще непонятно, действует ли естественный отбор, отдельно от преобладания рас, определенно или быстро в качестве причины социального изменения. Несомненно, человеческие расы, особенно те, чья история полна событий, претерпевают в той или иной степени органическую трансформацию: так определенно должно было быть в прошлом, поскольку иначе не могли бы зародиться новые типы; и маловероятно, что этот процесс совершенно прекратился. Вместе с тем эта трансформация, скорее всего,

¹ См.: The health statistics of female college graduates: Fifteenth annual report. – Boston (MA): Massachusetts bureau of labor statistics, 1885. См. также: Shinn M.W. The marriage rate of college women // The Century. – N.Y., 1895. – Vol. 50, N 6. – P. 946–948.

происходит медленно, и ее характер и направление трудно отследить; все это, включая законы наследственности, требует досконального изучения и, несомненно, будет изучено. В то же время ясно, что этот естественный отбор простого, животного типа не является обычным процессом социального изменения. Он имеет мало общего с подъемом, распространением и упадком архитектуры, музыки, живописи, поэзии или великих религиозных систем; это не тот процесс, посредством которого смягчаются формы правления, расцветает массовое образование и улучшаются манеры, и явно не тот, через который утверждаются новые взгляды на детство и положение женщин.

II

Процесс, порождающий мнения, моральные стандарты и институты и приводящий к прогрессу или упадку, особенно характерен для человеческой жизни, хотя считается, что он действует в какой-то мере у всех социальных животных. Он держится на способностях к подражанию, симпатии и умственной деятельности и связан с естественным отбором через вероятность того, что у этих способностей есть эволюционная история, в которой отбор играет некоторую роль.

Нетрудно было бы показать, что высшие способности человека, вопреки мнению некоторых, — не элементы, совершенно отдельные от борьбы за существование и не вяжущиеся с ней, а решающие ее факторы, пока она длится, пусть даже и тяготеющие к тому, чтобы заменить ее рациональной и симпатической кооперацией. Подражание и симпатия, как и интеллект, являются условиями могущества общества, и свидетельства того, что они возникли путем естественного отбора, схожи, хотя и гораздо менее осязаемы, с теми, которые указывают на такое же происхождение нашей телесной формы. Нет между тем никакой важности в обсуждении этого вопроса; достаточно отметить, что наше восхождение над иными существами связано с гибкостью природы, протекающей из подражания и симпатии и делающей нас способными к социальному изменению.

Человек не столько силен сам по себе, сколько сформирован так, чтобы составлять часть сильного целого. Если он воспитывается от рождения каким-нибудь диким зверем и отрезан тем самым от коммуницируемых искусств и действий, к которым один

только он хорошо приспособлен, то он будет вести убогую борьбу за существование и может откатиться к своим примитивным навыкам лазанья по деревьям. В обществе же он силен, и главной составляющей его силы служит то, что, находясь под главенством подражательных и симпатических способностей, он приспосабливается к бесконечному многообразию деятельностей. Он, в целом, покладистое, конформное животное и обязан своим могуществом своей податливости.

Психологические и социологические исследования явно приводят к выводу, что социальный фактор в индивидуальном поведении значительнее, чем представляется¹. Каждая мысль и каждый акт, направляемый мыслью, связаны как-то с социальной средой, прошлой или настоящей, и не могли бы быть такими же, если бы она была совершенно другой. Человек рождается с энергиями и тенденциями, сильными, но неопределенными, и, поощряемые и питаемые миром, в который он входит, они неразличимо с ним смешиваются, образуя новое органическое целое, характер и карьеру. Подражательность, контролирующая без нашего ведома многие наши действия, страх перед неодобрением, ведущий к конформности не только в одежде и манерах, но и в серьезнейших частях поведения, надежда на одобрение, зовущая отважные души к совершению смелых поступков на глазах человечества, культ героев, патриотизм, симпатия и любовь – все это дает обществу контроль над его членами. Страсть к тому, чтобы быть чем-то в людских умах и сердцах, есть сама жизнь жизни, огонь, сплавляющий индивидуальные силы в социальное могущество. Соприкасаясь с этим потоком человеческого интереса, наши способности раскаляются добела, подобно куску металла, вошедшему в соприкосновение с потоком пламени от горелки; все остальное в нас остается при этом холодным, бездеятельным и незаметным.

Эту потребность в одобрении часто называют слабостью и противопоставляют предположительной силе самодостаточности; на самом деле ни один человек, в котором есть хоть что-то челове-

¹ Вряд ли необходимо подкреплять это утверждение ссылками: исследования Тарда, Болдуина и других в области «подражания» и теория «сознания рода» проф. Гиддингса – известные примеры этого установленного факта. В «Трудах Национальной конференции благотворительных и коррекционных учреждений» за 1896 г. содержится статья автора этих строк «Природа и воспитание в построении социальных карьер», где кратко раскрыта одна из сторон этого вопроса. См.: Cooley Ch.H. «Nature versus nurture» in the making of social careers // Proceedings of the 23rd Conference of charities and corrections. – Boston (MA), 1896. – P. 399–405.

ческое, не бывает самодостаточно, и любовь к одобрению оказывается слабостью лишь тогда, когда ведет к непостоянству в поведении. Наверное, сильнее всего она выражена в лучших организациях, и искоренить ее вряд ли возможно: пытаться от нее избавиться – все равно что человеку, погрузившемуся в воду, пытаться выплеснуть из себя воду руками. Самое большее, что люди могут сделать (и это крайне важно), – это выбрать себе одобряющих, возможно, заменив тех, кто под рукой, отдаленными или даже воображаемыми лицами, читая великие книги, наблюдая мудрых людей и культивируя, тем самым, чувство героического мнения. Поскольку все должны почитать героев, очень важно подобрать подходящего героя.

Человеческую природу вообще трудно изменить, но восприимчивость к социальным влияниям – самое неисправимое ее качество. Нам нужно проводить ясное различие между природой и поведением: первая есть стабильная основа для бесконечного разнообразия второго. Ассоциация не может изменить природу, но обычно контролирует поведение. Вряд ли она сделает раздражительного человека спокойным, а глупого умным, но она легко может сделать одного умного человека инженером, а другого – изобретательным грабителем. Карьера никогда не вытекает из одной лишь природы; одна и та же природа будет увенчиваться любой из сотни возможных карьер, в зависимости от оказанных на нее влияний. Мы связаны с нашими ближними наследственностью в той части, которая в нас относительно постоянна, и влиянием в той части, которая пластична; человеческая природа передается одним, институты, поведение и мнения – другим.

Именно эта пластичность дает каждому из нас не столько силу саму по себе, сколько пригодность для того, чтобы стать частью сильного целого. Наше мышление и наши чувства, в отличие от инстинктов у животных, не предопределены к тому, чтобы работать на одну цель; они не специализированы и работают сообразно принципам общей полезности, направляя нас к целям, поставленным перед нами обществом, в котором мы живем. Мы настолько счастливо задуманы, что человечество может прогрессировать без изменений в человеческой природе, пользуясь той особой ее конституцией, которую мы уже имеем. Соответственно, должная мера конформности есть мера условий социального прогресса. Конформные влияния часто осуждают; так, Эмерсон говорит, что «общество – это заговор против независимости каждого из его членов» и что «быть человеком – значит быть нонконформистом». Отчасти это

верно и полезно; но верно также и то, что конформность – это социальная дисциплина, от которой никто не может и не должен быть совершенно свободен. Она не только опускает, но и возвышает, не только мешает гению, но и предотвращает преступность и анархию; она связывает людей в сильное, но послушное целое. Партия первооткрывателей, находясь на трудном участке пути, должна держаться вместе, даже если ее участники не могут достичь согласия по поводу наилучшего маршрута; и большинство людей с необходимостью устроены так, что склонности выбиваться из ряда у них нет.

Следовательно, как и эволюция животных, человеческая эволюция основывается в первую очередь на могуществе; но могущество это держится на кооперации, а кооперация предполагает социальную дисциплину и индивидуальное послушание. Человеческий род силен благодаря хорошему взаимопониманию, своевременному самоотречению в борьбе, институтам, символизирующим и укрепляющим социальное единство, но прежде всего – благодаря человеческой природе, не только разумной, но и подражательной, конформной, симпатической и способной к коллективному подъему.

Эта подражательная и симпатическая человеческая природа, служащая средством для социального могущества, предполагает процесс социального изменения. Работая и перерабатываясь через удивительный механизм языка, она способна сплавлять людей в подвижное целое, каждая часть которого каким-то образом чувствует движение каждой другой и реагирует на него. В этом потоке (fluid) распространяется бесконечное множество движений мысли и действия, среди которых – по закону вероятности, если уж не по какой-то другой, более веской причине – возникают время от времени подходящие вариации. Поскольку их подходящий характер в какой-то мере воспринимается, то обычно эти инновации сохраняются и накапливаются, укореняясь в традиции и склонностях и закрепляясь для ума и глаза в законах, верованиях и архитектуре. Именно из таких движений в основном и складывается историческое изменение. Это процесс выживания, важным фактором которого является сознательный отбор, производимый людьми; вместе с тем сознание почти всецело замыкается на непосредственных деталях. Только в последнее время в социальных движениях назревает общая тенденция к тому, чтобы быть предметом знания и выбора. При описании процесса социального изменения есть соблазн уподобить его волне или комбинации волн; но, как это обычно случается при попытках представить социальные факты аналогичными физическим, эта фигура речи безнадежно не соответствует истине. Резонно ясное понимание сути дела

может прийти только через исследование процесса коммуникации – исследование, имеющее ключевое значение для перевода фактов социального изменения с языка психологии на язык истории. Две вещи – человеческая природа и механизм коммуникации – всегда должны сотрудничать. Первая является относительно постоянным фактором, второй же в высокой степени изменчив и именно потому особенно интересен и важен. Его вариации обычно шли в сторону большей эффективности, и во многом благодаря этому история двух минувших тысячелетий является летописью быстрого и все ускоряющегося социального изменения.

III

Мы знаем, что человек – симпатическое, коммуницирующее животное; и я сказал, что именно это делает его податливым, пластичным, пригодным для формирования социальной средой. Но что формирует среду? Эволюция среды – самое судьбоносное изменение в истории.

Социальная среда человека охватывает всех лиц, в отношении которых он проявляет разумность или симпатию, все влияния, которые доходят до него. Если я читаю Аристотеля, то моя среда расширяется на две тысячи лет назад; если я читаю донесения из Японии, то она вбирает и антиподов. То, что на меня могут оказывать влияние «Илиада», Новый Завет и другие высказывания людей, далеких от меня во времени и пространстве, так же обусловлено искусствами письма, печати и транспорта, как то, что я могу получить сложную мысль от моего соседа, обусловлено искусством речи. Иначе говоря, социальные влияния действуют через некоторый механизм, и характер их действия зависит от характера этого механизма. Протяженность среды определяется существующей системой коммуникации. Общество – это вопрос влияния людей друг на друга, а так как это влияние обусловлено коммуникацией, то история последней составляет основание всей истории. Наверное, стоит напомнить некоторые из наиболее очевидных фактов этой истории и высказать кое-какие предположения относительно того, что они означают.

Механизм коммуникации включает, разумеется, жестикуляцию, речь, письмо, печать, почтовые отправления, телефоны, телеграфы, фотографию, технику искусств и наук – все способы, с помощью которых мысль и чувство могут переходить от человека к человеку.

Речь, несомненно, связала доисторических людей в группы и позволила им войти в историю с социальной природой и социальными институтами. Однако как инструмент социальной организации речь имеет серьезные недостатки: ей недостает масштаба как во времени, так и в пространстве. Она может проходить лишь там, где проходит человек; и хотя она может передаваться от человека к человеку и, тем самым, от поколения к поколению, она течет тоненьким и блуждающим ручейком, ограниченным в емкости, и каждый ум, через который она протекает, уводит ее в своем направлении. Какими были бы сейчас Новый Завет или труды Платона, если бы они пришли к нам этим путем?

Этот ненадежный ручеек устной традиции письмо заменяет многочисленными и нерушимыми прочными узами, доходящими до всех времен и стран, практикующих это искусство, и скрепляющими воедино историю. Оно делает возможным широкое политическое влияние, которое не может хорошо организоваться и поддерживаться без писаных законов и точных инструкций¹; оно открывает путь прогрессу наук, который является кумулятивным достижением, предполагающим накопление знания в пыльных рукописях; это состояние диверсифицированной литературы, ведь традиция, неспособная перенести много, ограничивается лишь наиболее ценным, преимущественно историями. Короче говоря, можно без преувеличения утверждать, что письмо лежит в основе всякого социального расширения и индивидуальной специализации. Оно непомерно расширяет среду для всех, кто умеет читать и имеет доступ к рукописям, и позволяет человеку формировать собственную среду, удерживая из всего многообразия материалов то, что ему подходит, и открывая коммуникацию с близкими по духу умами отдаленных времен и мест. При этом каждый индивид, конечно, становится центром распространения всего, что получает, и расширяет среду многим другим. Так человечество достигает кооперации, непрерывности и способности к рациональному и устойчивому прогрессу.

Особая функция печати состоит в том, чтобы сделать коммуникацию общей, или демократичной. До тех пор пока письмо от

¹ На мой взгляд, нет ни одного случая, когда народ достиг бы определенной, расширенной и устойчивой политической организации без использования той или иной формы письма. Ср. наблюдения Гиббона: Gibbon E. *The history of the decline and fall of the Roman Empire, with notes by Dean Milman, M. Guizot / Ed., with additional notes, by W. Smith.* – L.: J. Murray, 1887. – Vol. 1. – P. 354.

руки было единственным средством записи, книги были дорогими, газеты – вообще немислимыми, и доступ к хранилищам мысли и чувства был привилегией немногих. В таких условиях возможность была сродни раннему солнцу: оно освещало тут и там вершину холма, но оставляло в тени всю долину. Иначе говоря, печать не может сделать поток знания более глубоким или улучшить вкус воды, но открывает тропу вдоль берега и дает каждому чашку, из которой он может этой воды испить. Вместе с массовым образованием, которое естественным образом ей сопутствует, печать образует главный свободный институт, без которого не мог бы долго длиться никакой другой род свободы и с помощью которого мы можем надеяться достичь большей свободы, чем та, что у нас есть.

Вполне резонно поразмыслить о том, что означают эти изменения для отдельного человека, рождающегося с готовностью к бесконечному развитию за счет подражательной и симпатической природы. Рассмотрим, например, группу наших предков, жившую несколько тысяч лет назад, сравнительно небольшую, лишенную искусства письма и мало знающую о других группах. Прimitивная жизнь – это поле, богатое на споры, и в этом отношении она вряд ли может себя исчерпать; но большинство исследователей признают вероятность того, что наши далекие предки жили в небольших обществах, были лишены письменности и имели самые смутные представления об остальном человечестве. Такие группы вели друг с другом настоящую борьбу за существование, но внутри каждой из них, т.е. в кругу возможного хорошего взаимопонимания, бурлила активная социальная жизнь. Матери любили своих детей, а мужчины сражались за своих вождей; мысли и акты всех были связаны воедино подражанием, потребностью в одобрении и, в самом общем плане, коммуникативными мотивами. В этой социальной среде (medium) распространялись движения изменения, которые допускались ее параметрами. Но задумайтесь об узости этих параметров, о скудости образцов для подражания, о крайней смутности знания о великих людях прошлого и совершенном неведении о великих людях других обществ! Убогая среда ограничивала развитие врожденных наклонностей и способностей, и сравнительное тождество мысли и действия отражало узкую ограниченность общей жизни.

При таком положении дел все более широкие социальные отношения должны быть либо отношениями вражды, либо отношениями господства. Поскольку коммуникация служит точной мерой возможности социальной организации, хорошего понимания между людьми, то отношения, выходящие за пределы сферы ее действия,

являются не подлинно социальными, а механическими. Отдавая должное прошлому, надобно признать, что до появления печати и телеграфии у массы людей в любом крупном государстве не было возможности иметь свободную и сознательную связь с социальным целым. Основы для социального сознания не существовало. Люди в общей массе не могли понять, что происходит, и их действия с необходимостью регулировались авторитетом. Сотрудничество крестьянина, простого солдата в широких социальных движениях не могло быть иным, чем участие гужевой лошади в движениях торговли.

Если два человека, неспособных понять друг друга, входят в контакт, то возможны три вещи: они могут разойтись, могут сойтись в бою, и один может поработить другого. Точно так же и социальные группы древнего мира могли игнорировать друг друга, вести войны друг с другом или принудительно объединяться в механическое целое. Поскольку на практике первое обычно было невозможно, а механический союз оказывался сильнее, чем его отсутствие, обычно преобладал третий курс. В особенности стало так после того, как коммуникация достигла уровня, сделавшего практически осуществимой организацию широких военных деспотизмов. В древности большое свободное государство не могло образоваться, а маленькое не могло себя сохранить.

Если сложить все это вместе, эту бедность влияний и привычку к войне, которую можно было заменить только чем-нибудь вроде рабства, то мы далеко продвинемся в объяснении известных различий между нашими далекими предками и нами. Они, возможно, очень от нас отличались, но нет необходимости предполагать, что они были такими, чтобы объяснить их несхожий с нашим образ жизни.

Человеку наших дней общество, стремящееся стать кооперирующим целым благодаря расширению знания и симпатии, пришедшему с ростом коммуникации, предлагает на выбор множество сред. В связывании себя с остальным человечеством он играет все более активную роль, аккумулируя через механизм избирательного сродства элементы характерной среды. Можно быть подражателем – каковыми, в сущности, все и должны быть, – но все же развернуть через подражание характер, отличный от характера любого другого. Коротко говоря, широта и разнообразие жизни, зависящие от коммуникации и ежедневно разворачивающегося у нас на глазах расширения мира, ведут к освобождению человека путем открытия его симпатической и податливой природе «величавого выбора влияний». Он уже не просто, как в первобытные времена, член со-

циальной группы, стремящейся сформировать его мышление и действие; он – точка пересечения множества групп, каждая из которых, хотя и рассеяна во времени и месте, оказывает на него реальное и отчетливое влияние. В наши дни человек не менее зависим от социальных влияний, чем в прошлом, но меньше зависит от тех конкретных влияний, которым довелось оказаться ближе всего к нему. Каждая книга, каждая газета, каждое скульптурное, живописное или музыкальное произведение, к которым он имеет доступ, каждый человек или место, входящие в его опыт благодаря путешествиям, – это магазин, в который он может войти, дабы рассмотреть товары и, если будет желание, что-нибудь купить. Миллион сред домогаются его; вместо монополии – энергичная конкуренция.

Сегодняшние разнообразие и сравнительная свобода индивидуального развития держатся в основном на этой множественности доступных влияний, а не на радикальном изменении в человеческой природе. Если человек глянет на круг своих знакомых, он не найдет даже близко той одинаковости, которая преобладает у дикарей; у каждого человека есть свои особые мнения и способы действия, каждый выглядит самостоятельным. Эта обманчивая видимость обусловлена тем, что социальные связи больше не управляются простой смежностью. Благодаря искусству общения ассоциация сбрасывает с себя грубые и гнетущие узы времени и места и ставит на их место конгениальные связи симпатии и выбора. Таким образом, если человек и выглядит самостоятельным одиночкой, то прежде всего потому, что состоит в отношениях с теми, кого не видно; если и кажется, что он идет не в ногу с процессией, то, вероятно, потому что он, как говаривал Торо, слышит иного барабанщика. Мы мало знаем о влияниях, сформировавших его ранние имажинации, и о людях, одобрения которых он теперь жаждет и с образцами и мнениями которых пытается сообразовать свои действия. Часто они очень далеки – его родители и старые друзья, быть может, или ведущие фигуры в его профессии, или книжные персонажи, – но факт остается фактом: характер и поведение питаются социальными влияниями. Чтение автобиографий или внимательное прочтение тех частных записей, которые люди носят в своих воспоминаниях, показало бы, что люди остаются подражателями и почитателями героев. Особенно это касается детей, ведь немалую часть своей умственной жизни они проводят в воображении сцен, в которых добиваются великими деяниями рукоплесканий тех, кем они восхищаются. И разумеется, способы мышления и действия, рождающиеся из симпатии и восхищения, обычно, как и всё, что мы делаем, входят в привычку и сохраняются

среди обстоятельств, очень отличных от тех, в которых они возникли, выглядя при этом порождениями самодостаточной личности.

Те же самые условия благоприятствуют и более заметным формам индивидуальности: оригинальности и гениальности. Оригинальность – это не что-то независимое от окружения, а скорее характерный способ реагирования на него. Каким бы оригинальным человек ни был, он может развернуть и выразить свою оригинальность лишь через те влияния и материалы, которые ему доступны, а число и разнообразие их зависят от коммуникации. «Мы и впрямь рождаемся со способностями, – говорил Гёте, посвятивший всю жизнь изучению этого вопроса, – но своим развитием мы обязаны тысяче влияний великого мира, из которых мы вбираем в себя то, что можем и что нам пригодно». Для обладания гениальностью существенно, чтобы в мир пришел незаурядный ребенок; но оснащенность естественными дарованиями, какими бы выдающимися они ни были, – лишь один из двух факторов, создающих карьеру. Подобно желудю, одаренный ребенок действительно способен к чудесному росту, но он может так ни к чему и не прийти, если не найдет подходящего питания. Идея неизбежного антагонизма между индивидуальностью и ассоциацией – иллюзия. Они взаимозависимы: они всегда развивались и должны развиваться рядом. В развитии нас сдерживает, как правило, не избыток ассоциации, а неправильный ее вид.

Наконец, нетрудно увидеть, как это расширение общения повлияло на процессы социального изменения. Вернемся к сравнению с волнами; в конце концов, это лучше, чем ничего. С точки зрения передачи влияний первобытные общества можно уподобить узким водным протокам. Они длились больше во времени, чем в пространстве, но даже в первом направлении могли прерываться завоеванием или распадом; они соединялись друг с другом мелководьями и болотами случайных взаимодействий и быстро стихающими паводками федеративных объединений. Социальное изменение с необходимостью было локальным, подобно волнам на таких мелководьях. В свою очередь современное общество больше похоже на непрерывный океан, на просторах которого волны изменений не встречают никаких препятствий, кроме друг друга, достигая таких высот и далей, до которых их способен добросить порождающий импульс. Так, если взять показательный пример, некоторые движения в искусстве, словесности и философии, неведомо как и где возникшие, но достигшие большой высоты у греков, прокатились по ничего не подозревавшим средним векам, потом столкнулись с современниками Петrarки и, в конце концов, вошли расширяющимися кругами в наше

время. Изобретение письма открыло мир соперничеству социальных институтов во многом так же, как морская навигация открыла его соперничеству рас. Область действия расширилась, и все движения стали происходить в разросшихся масштабах¹.

Это расширение среды изменения сопровождается столь же примечательной дифференциацией внутри нее, предполагаемой тем, что я ранее говорил о росте индивидуальности. Социальных сред так же много, как и специализированных групп симпатически связанных и коммуницирующих индивидов, и при выборе своей среды индивид выбирает, к какой группе он будет принадлежать. Каждая из этих групп, или сред, подчинена более или менее специфичным для нее движениям; в ней есть в какой-то мере собственные мнения, институты и традиции. Таким образом, если мы хотим уподобить современные социальные движения волнам, то нужно принять во внимание бесчисленное множество течений, взаимно проникающих друг в друга подобно тому, как светонесный эфир смешивается со звуконосным воздухом; каждое из них легче всего передает волнообразные движения, рождающиеся в нем самом, но все же чувствует и влияние движений, рождающихся в других; каждое течение в отдельности, как и единое целое, образованное подобными течениями, постоянно пронизывается множеством волн, обладающих всеми мыслимыми различиями в силе, периодичности и направленности. Даже в такой формулировке сравнение все же во многих отношениях неадекватно — прежде всего потому, что ничего не говорит об активном участии, которое во всем этом могут принимать индивиды. Оно изображает то, что происходило бы, если бы в случае каждой установленной конгениальной связи каждый пребывал в равновесии, тогда как на самом деле каждый из нас постоянно движется, больше или меньше, в поиске конгениального — сопротивляясь социальному импульсу, преломляя его или дополняя особым для него способом. И все же, поскольку люди имеют схожие природы, входящие через коммуникацию в симпатию, они реально образуют своего рода поток (fluid), в котором импульсы передаются простым внушением или контактом. Если перед картиной стоят два человека со схожим чувством формы и цвета, то они и художник становятся через эту картину единым целым.

¹ Нет лучшей иллюстрации этого, чем рост великих религиозных систем, основанный на письменном документировании жизни и максим их основоположников. Вполне возможно, что индивиды, обладавшие трансцендентными качествами, появлялись и в доисторические времена, но подражание им не могло организоваться в обширные и долговечные системы без помощи аутентичных записей.

Более свободное развитие индивидов подразумевает, конечно, более свободное развитие социального порядка, поскольку отношения по выбору – отношения, соответствующие чувствам людей, – стремятся распространиться и возобладавать над отношениями вражды и принуждения. Именно коммуникация дает человеческой природе справедливый шанс, сметая с ее пути барьеры невежества, слепой вражды и ограниченности места и позволяя человеку организовать его высшие симпатические и эстетические порывы.

В последние пятьдесят лет развились новые средства коммуникации – быстрое почтовое сообщение, телеграфы, телефоны, фотография и чудеса ежедневной газеты; все они убыстряют и диверсифицируют поток мысли и чувства и умножают возможности социальной связи. Работа этих средств слишком важна, чтобы обсуждать ее в спешке, а полное ее обсуждение увело бы меня слишком далеко; поэтому я ограничусь замечанием, что они делают все влияния более быстрыми в передаче и общими в распространенности, доступными на большем расстоянии и для большего числа людей. Что же касается общего характера социального изменения, то этот эффект можно описать как более совершенное разжижение социальной среды. Густая, малоподвижная жидкость вроде смолы или патоки будет передавать только сравнительно большие волны; но в воде большие волны несут на своей поверхности небольшие волны и рябь всех размеров и направлений. Так что если бы мы сравнили сегодняшнее общество с обществом пятидесятилетней давности, то обнаружили бы, что большие изменения несколько ускорились и что к ним добавилось множество мелких изменений, которые в прежние времена не могли выйти за пределы личного контакта. Легкая рябь теперь разносится далеко: новейшие веяния в плащах и книгах проникают в самые глухие уголки и опоясывают собою весь мир.

Процесс изменения, который я описал, включает в себе отбор и, возможно, так же естествен, как и все прочее. Поэтому мы, если угодно, можем назвать его естественным отбором. Он возникает через конкуренцию влияний и умножение удобных инноваций в мысли и действии. Селективным принципом, или арбитром конкуренции, всегда оказывается человеческая природа – но не сама по себе, а обусловленная в своих выборах состоянием коммуникации, определяющим круг доступных влияний, и ограничительной инерцией своего прошлого.

СОЦИАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ (1907) *

Социальный разум вообще

Разум – это органическое целое, складывающееся из сотрудничающих индивидуальностей примерно так же, как музыка оркестра складывается из разных, но связанных друг с другом звуков. Никто не считал бы необходимым или резонным делить музыку на два вида: создаваемую целым и создаваемую отдельными инструментами. Оснований для разделения двух видов разума, социального и индивидуального, ничуть не больше. Просто при изучении социального разума мы сосредоточиваем внимание на более широких аспектах и связях, а не на более узких, относимых к обычной психологии.

Воззрение, что весь разум заключен в жизненном целом, от которого индивид никогда не бывает реально отделен, естественно вытекает из нашего растущего знания о наследственности и внушении, все более проясняющего, что каждая мысль, которая у нас есть, связана с мыслями наших предков и сотоварищей, а через них – с мышлением общества в целом. К тому же это единственное воззрение, согласующееся с общей точкой зрения современной науки, не допускающей в природе ничего изолированного.

Единство социального разума состоит не в согласии, а в организации, в факте взаимного влияния, или каузации, между его частями, благодаря чему все, что в нем происходит, связано со

* Перевод сделан по источнику: Cooley Ch.H. Social consciousness // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1907. – Vol. 12, N 5. – P. 675–694. Впервые был опубликован в сборнике: Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX века: Сб. переводов / РАН. ИНИОН. Центр социал. научн.-информ. исследований. Отд. социологии и социал. психологии; сост. и переводчик В.Г. Николаев; отв. ред. Д.В. Ефременко. – М., 2010. – С. 98–111.

всем прочим и, стало быть, вытекает из целого. Творится ли тем самым гармония, как в случае оркестра, – вопрос спорный, но то, что его звучание, приятное или нет, является выражением жизненной кооперации, отрицать невозможно.

Социальный и индивидуальный аспекты сознания

В социальном разуме можно различить – очень грубо, конечно, – осознанные и неосознанные связи. Неосознанными являются те из них, которые мы не сознаем, которые так или иначе ускользают от нашего внимания. Значительная часть оказываемых на нас влияний имеет такой характер. Наш язык, наши механические искусства, наше управление и другие институты мы получаем главным образом от людей, с которыми связаны лишь косвенно и неосознанно. Более крупные движения общества – прогресс и упадок наций, институтов и рас – редко доходят до сознания, пока не станут достоянием прошлого. И хотя развитие социального сознания является, возможно, величайшим фактом истории, его власть над человеческой жизнью все же ограничена и несовершенна.

Социальное сознание, или осознание (awareness) общества, неотделимо от самосознания, поскольку вряд ли мы можем мыслить себя иначе, нежели в соотношении с какой-нибудь социальной группой, а группы – иначе, нежели в соотношении с собой. Эти две вещи шествуют вместе, и то, что мы реально сознаем, есть более или менее сложное личностное или социальное целое, в котором подчеркивается то частный, то общий аспект.

В общем и целом, стало быть, почти все наше рефлексивное сознание – т.е. наше бодрствующее состояние разума – есть социальное сознание, ведь чувство нашей связи с другими лицами или других лиц друг с другом вряд ли может не быть его частью. Я и общество – единокровные братья, и мы знаем каждое из них так же непосредственно, как и другое.

Этот взгляд, который кажется мне очень простым и согласующимся со здравым смыслом, вовсе не является, насколько я выяснил, общепринятым. Психологи и даже социологи еще сильно заражены идеей, что самосознание так или иначе первично и предшествует социальному сознанию, последнее же выводится из него с помощью некоторого неясного процесса комбинации или элиминации. Поэтому я беру на себя смелость представить этот взгляд несколько подробнее, опираясь отчасти на непосред-

ственное наблюдение – слишком детальное для этой статьи – развития социальных идей у ребенка.

Самый известный поборник традиционного воззрения, исходящего из первичности самосознания, – насколько я понимаю, Декарт. Ища бесспорное основание для философии, он счел, что нашел его в положении «Я мыслю, следовательно, я существую» (*Cogito, ergo sum*). Оно представлялось ему неизбежным, в то время как все остальное могло быть иллюзией.

«Но я тотчас обратил внимание на то, что в это самое время, когда я склонялся к мысли об иллюзорности всего на свете, было необходимо, чтобы я сам, таким образом рассуждающий, действительно существовал. И заметив, что истина *Я мыслю, следовательно, я существую* столь тверда и верна, что самые сумасбродные предположения скептиков не могут ее поколебать, я заключил, что могу без опасений принять ее за первый принцип искомой мною философии»^{*}.

С нашей точки зрения, это утверждение неудовлетворительно в двух существенных аспектах. Во-первых, в нем, судя по всему, предполагается, что сознание «Я» («I»-consciousness) – часть всякого сознания, тогда как на самом деле оно относится лишь к довольно зрелой стадии его развития. Во-вторых, оно одностороннее, или «индивидуалистическое», ибо утверждает личностный аспект сознания, связанный с «Я», в ущерб социальному его аспекту, связанному с «мы», который в равной мере ему присущ.

Интроспекция существенна для психологического или социального озарения, но интроспекция Декарта была в данном случае ограниченным, почти аномальным сортом интроспекции – интроспекцией поглощенного самим собой философа, изо всех сил старающегося отделить себя от других людей и от всех простых и естественных условий жизни. Разум, в который он вглядывался, пребывал в весьма специфическом состоянии, не в том, которое могло бы дать ему правильное видение человеческого сознания вообще.

В наши дни интроспекция разрослась и расширилась. Есть мир вещей в разуме, заслуживающий рассмотрения, и современный психолог, вместо того чтобы сосредоточиваться исключительно на крайней форме спекулятивного самосознания, продирается через дебри бесконечного разнообразия опытов – интеллекту-

^{*} Цит. в пер. Г.Г. Слюсарева по изданию: Декарт Р. Сочинения: В 2 т. – М.: Мысль, 1989. – Т. 1. – С. 268–269. – *Прим. пер.*

альных и эмоциональных, простых и сложных, нормальных и аномальных, общительных и частных, – регистрируя в каждом случае то, что он в них видит. Он делает это, подвергая опыт разного рода суггестиям и возбуждениям, пробуждающим деятельность, которые он желает изучить.

В частности, он делает это в значительной мере с помощью того, что можно назвать *симпатической интроспекцией*, вводя себя в тесный контакт с разного рода людьми и позволяя им пробудить в нем жизнь, схожую с их собственной, которую он затем в меру своих способностей вспоминает и описывает. Таким образом он более или менее способен понять – всегда с помощью интроспекции – детей, идиотов, преступников, богатых и бедных, консерваторов и радикалов, т.е. любую грань человеческой природы, не всецело чуждую ему самому.

Это, на мой взгляд, основной метод социального психолога.

Одной из вещей, открываемых этой более широкой интроспекцией, является то, что осознание «Я» не проявляется эксплицитно до тех пор, пока ребенок не достигнет возраста примерно двух лет, и что оно, проявившись, входит в неразрывную связь с осознанием других людей и взаимосвязей, образующих социальную группу. По сути, это просто одна из фаз в корпусе личного мышления, которое является в одном аспекте самосознанием, а в другом – социальным сознанием.

Ментальный опыт новорожденного представляет собой, вероятно, просто поток впечатлений. Его можно считать индивидуальным, поскольку он дифференцирован от любого другого потока, или социальным, поскольку он несомненный продукт наследственности и суггестии, идущей от человеческой жизни вообще; но ни себя, ни общества младенец не создает.

Очень скоро, однако, разум начинает различать личные впечатления и становится как наивно сознающим себя, так и наивно сознающим общество; иначе говоря, ребенок нерефлексивно осознает группу и свою особую связь с ней. Он не говорит «я» и не называет по имени мать, сестру или няньку, но у него появляются образы и чувства, из которых эти идеи затем вырастают. Позже приходит более рефлексивное сознание, именующее себя и других людей и приносящее более полное восприятие связей, конституирующих социальное единство этого маленького мира.

И так продолжается далее, вплоть до сложнейших фаз самосознания и социального сознания: метафизического обдумывания эго и социологических раздумий о социальном организме. Я и общество идут рука об руку, как фазы единого целого. Я сознаю

социальные группы, в которых живу, настолько же непосредственно и аутентично, насколько сознаю самого себя; и Декарт мог бы сказать «ты мыслишь» или «мы мыслим», *cogitas* или *cogitamus*, на столь же надежных основаниях, на каких он говорил *cogito*. Эту точку зрения я подробнее объяснил в книге «Человеческая природа и социальный порядок»¹.

Но, могут нам сказать, само это сознание, которое вы рассматриваете, локализовано в конце концов в конкретном человеке, так же как и все схожие сознания, и, стало быть, то, что мы видим, если принять объективный взгляд на вещи, есть просто агрегат индивидуальностей, какими бы социальными эти индивидуальности ни были. Здравый смысл, по мнению большинства, убеждает нас в том, что отдельная личность – первичный факт жизни.

Если даже и так, то это потому, что здравый смысл приучен обычаем смотреть на один аспект вещей, а не на другой. Здравый смысл, хотя бы мало-мальски осведомленный, уверяет нас, что индивид существует только как часть целого. То, что не приходит через наследственность, приходит через коммуникацию и общение; и чем внимательнее мы смотрим, тем очевиднее становится то, что отдельность – иллюзия глаза, а сообщество – глубочайшая истина. «Социальный организм», если употреблять этот термин не в специальном смысле, а просто как обозначение жизненного единства в человеческой жизни, есть факт настолько же очевидный для просвещенного здравого смысла, насколько и индивидуальность.

Итак, в социальном сознании нет никакой тайны. Мнение, что в нем есть нечто непостижимое, что оно требует копания в метафизике и должно быть извлечено из ее спекулятивных глубин, происходит из неадекватного понимания социальной природы всякого высшего сознания. Что нам в связи с этим нужно, так это только лучшее зрение и понимание довольно простых и известных фактов.

Общественное мнение

Социальное сознание можно обнаружить либо в отдельном разуме, либо как кооперативную деятельность многих разумов. Социальные идеи, которые есть у меня, тесно связаны с теми, которые есть у других людей; действуя и реагируя друг на друга, они образуют единое целое. Это дает нам общественное мнение, в ши-

¹ Cooley Ch.H. Human nature and the social order. – N.Y.: Ch. Scribner's sons, 1902.

роком смысле группового состояния духа, которое группа более или менее отчетливо сознает. Единство общественного мнения, как и всякое жизненное единство, есть единство не единообразия, а организации, взаимодействия и взаимного влияния. Правда, некоторое основополагающее сходство природы необходимо, чтобы умы могли влиять друг на друга и так сотрудничать в образовании живого целого, но даже в самом простом процессе тождество необязательно и, вероятно, невозможно.

Сознание Палаты представителей, например, никоим образом не ограничивается общими взглядами, разделяемыми ее членами, если вообще таковые есть, а включает все сознание каждого члена, насколько оно связано с деятельностью Палаты. Концепция, которая оставляла бы без внимания оппозицию или даже одного несогласного индивида, была бы плохой концепцией.

То, что все разумы разные, служит условием, а не препятствием для того единства, которое заключено в дифференцированной и кооперативной жизни.

Приведу еще одну иллюстрацию того, что имеется в виду под индивидуальным и коллективным аспектами социального сознания. Некоторые из нас владеют целыми кипами книг, посвященных злободневным социальным вопросам. Каждая из этих книг, взятая сама по себе, есть выражение частного социального сознания: автор прояснил, как мог, свои идеи и опубликовал их. Но библиотека, собранная из таких книг, выражает социальное сознание в более широком смысле; она говорит от лица эпохи. И, разумеется, ни один человек, читая эти книги, не усомнится в том, что они составляют единое целое, как бы они друг от друга ни отличались. Радикал и реакционер определенно являются частью одной общей ситуации.

Группа «настраивает свой разум» во многом так же, как это делает индивид. Последний должен уделить время и внимание некоему предмету; он должен обследовать свое сознание, отыскать в нем подходящие идеи и чувства, собрать их воедино и превратить в единое целое; только после этого он будет знать, что он реально об этом думает. В случае нации должно иметь место то же самое, только в более широком масштабе. Каждый индивид должен настроить свое сознание, как и раньше, но, делая это, он вынужден иметь дело не только с тем, что уже было в его мышлении или памяти, но и со свежими идеями, потоком идущими к нему от других, разумов которых тоже оказались пробуждены. Каждый, у кого есть факты, мысли или чувства, которые, как он думает, неизвестны другим или недостаточно принимаются ими во внимание, пытается ими поделиться; таким

образом не один разум, а все разумы обследуются на предмет подходящего материала, и этот материал вливается в общий поток мышления, коим каждый может воспользоваться в меру своих способностей. Таким путем разумы в коммуницирующей группе становятся одним разумом, единым органическим целым. Их единство – не единство идентичности, а единство жизни и действия, кристаллизация различающихся, но связанных друг с другом идей.

Различий во мнениях может быть так же много, как и прежде, но теперь эти различия становятся сравнительно понятными и стабильными. Люди знают, что они реально думают о данном предмете и что думают о нем другие. Производятся меры, платформы, кандидаты, кредо и другие символы, служащие выражению и облегчению кооперации и определению оппозиции. Складывается относительно полная организация мышления, в которую каждый индивид или группа вносят особым образом свой вклад.

Возьмем для примера состояние мнений в Соединенных Штатах по поводу рабства во время Гражданской войны. Никакого общего согласия не было, но народный разум (*popular mind*) организовался в отношении данного вопроса. Этот вопрос был обдуман и рассмотрен со всех точек зрения всеми частями сообщества, пока относительно него не была достигнута некоторая степень зрелости, обнажившая радикальный конфликт в мышлении между Севером и Югом и немалые локальные расхождения во мнениях в обеих частях страны.

Тот, кто понимает общественное мнение, непременно проводит ясное различие между подлинным, или зрелым, мнением и массовым (*popular*) впечатлением. Первое требует серьезного внимания и продолжительного обсуждения; будучи достигнутым, оно значимо, даже если ошибочно. Оно редко существует в отношении вопросов, имеющих преходящий интерес; текущие разговоры или прения в печати – в высшей степени ненадежный его показатель. Массовое впечатление, в свою очередь, подвижно, поверхностно, недолговечно; ему свойственны те непостоянство и крикливость, которые обычно приписываются народному разуму вообще. Оно аналогично непродуманным взглядам и высказываниям индивида, и чем больше его изучаешь, тем меньше принимаешь его всерьез. Может случиться так, что 99 человек из сотни придерживаются сегодня мнений, противоречащих тем, которых они будут придерживаться через месяц, – отчасти потому, что они еще не разобрались в своих умах, отчасти потому, что немногие избранные, обладающие по-настоящему значимыми и хорошо обоснованными идеями, не располагали временем для того, чтобы запечатлеть их в умах остальных.

Поэтому резонно сочетать почти полное невнимание к большей части того, что сходит за общественное мнение, с серьезным доверием к весомости продуманного, зрелого, органичного социального суждения.

Социальная воля

Социальная воля отличается от общественного мнения только тем, что предполагает более постоянную и действенную организацию. Это всего лишь общественное мнение, ставшее руководством к социальному развитию.

Совершенно ясно, что развитие в прошлом происходило по большей части вслепую и без человеческого умысла. Каждая страница истории, какую ни возьми, показывает, что люди были неспособны предвидеть и тем более контролировать широкие движения жизни. Были провидцы, но они видели принципы, а не процессы, и почти никогда не были людьми влиятельными. Государственные мужи жили настоящим, не имея целей, выходявших за рамки возвеличивания своей страны, своего порядка или своей семьи. Такие частичные исключения, как вхождение в ткань американской конституции света истории и философии и некоторое предвидение ее действительной работы, ограничиваются последним временем и сами по себе удивительны.

Воля обладала жизненностью лишь в мелочах и в малых жизненных токах; более широкие же структуры и движения были подсознательными, беспорядочными и расточительными. Сама идея прогресса как широчайшего упорядоченного движения родилась и распространилась совсем недавно.

Вдобавок к тому, в наши дни социальные феномены крупного порядка являются по большей части вообще не реализацией воли, а непредвиденным результатом разнородных и частичных дерзаний. Редко какой крупный план социального действия разумно выстраивается и воплощается в жизнь. Каждый интерес работает самостоятельно – слепо и эгоистично, ухватисто, воинственно и на ощупь. Что касается общих целей, то тут почти вся энергия тратится впустую; тем не менее какое-то движение вперед происходит, хотя и похоже больше на наплывы толпы, чем на упорядоченное движение войск. Кто сможет предъявить претензию на то, что американский народ, например, руководствуется сколько-нибудь ясным и рациональным планом в своем экономическом, социальном и религиоз-

ном развитии? У американцев есть вспышки и импульсы, но вряд ли есть воля, если не брать в расчет немногие вопросы, представляющие для них близкий и злободневный интерес.

Точно так же и беды, обрушивающиеся на общество, редко бывают осуществлением воли какого-то человека или какой-либо группы; скорее это побочные продукты актов воли, имеющих другие объекты; они творятся, как кто-то сказал, скорее локтями, чем кулаками. Злонамеренности удивительно мало, и чем больше всматриваешься в дурные дела, тем меньше находишь в них тех ярких контрастов сознательного добра и зла, которых тебя учили ожидать в детстве.

Возьмем для примера такое очевидное зло, как потогонная система в швейных мастерских Нью-Йорка и Лондона. Там людей, по большей части женщин и детей, заставляют работать по двенадцать, четырнадцать, порой и по шестнадцать часов в сутки в обстановке грязи, плохого воздуха и заразы; они страдают от разрушения домашней жизни и плохого питания; и все это за заработок, которого не хватает даже на то, чтобы купить предметы первой необходимости. Но если мы станем искать грех, достаточно черный, чтобы отбрасывать такую тень, то мы вряд ли его найдем. «Потогон», или непосредственный работодатель, на которого мы в первую очередь обращаем свой взор, обычно сам оказывается рабочим, не сильно возвышающимся над остальными и получающим очень мало выгоды от своих сделок. За ним стоит крупный дилер. Обычно это благонамеренный человек, согласный с тем, чтобы все было лучше, если это не принесет ему слишком больших затруднений или денежных потерь. Он всего лишь делает то, что делают другие и чего, с его точки зрения, требуют условия торговли. И так далее. Чем больше мы приближаемся к фактам, тем очевиднее становится то, что нигде нет той несомненной злонамеренности, которую рисовали нам наши чувства. Так же обстоит дело с политической коррупцией и корыстным альянсом между богатыми и партийной верхушкой. Люди, которые контролируют богатство, обладают, вероятно, не худшими намерениями, чем остальные из нас; они лишь делают то, что, по их мнению, они вынуждены делать, чтобы сохранить свою собственность. То же с политиком: он видит, что другие продают свою власть, и легко начинает мыслить это как нечто само собой разумеющееся. По правде говоря, осознанно, откровенно злой человек является и, возможно, всегда был по большей части выдумкой для обличения. Психолог вряд ли отыщет такого, но будет чувствовать, что большинство видов зла нетрудно

понять, и, возможно, согласится с Гёте в том, что еще ни разу не слышал о таком преступлении, которое не мог бы совершить сам¹.

Во всех таких случаях первое, что требуется, – это создать социальное сознание, т.е. ясное осознание не только самих этих зол, но также условий, от которых они зависят, и средств, с помощью которых их можно исправить. Это откроет путь для действенного общественного мнения, социальной совести, социальной воли. Те, в чьей власти это сделать, найдут вполне ясный правильный путь, прочерченный для них, и не будут склонны (а если и будут склонны, то никто им не позволит) сильно от него отклоняться.

Таким образом, причиной зол является главным образом не дурная воля, а отсутствие воли; они существуют вне сферы выбора. Нам недостает рационального самоуправления, и мы страдаем не столько от наших грехов, какими бы безнадежными они ни были, сколько от нашей слепоты, слабости и неразберихи в умах.

Таким образом, правду говорят нам социалисты, что обществу нужна рациональная организация, т.е. более действенная социальная воля. Но мы не согласимся с узким взглядом этой или любой иной секты на то, какой должна быть искомая организация. Подлинная воля общества не сконцентрирована в правительстве или любом другом отдельном агенте, а вырабатывается через многие инструменты. Всё, несомненно, было бы гораздо проще, если бы какой-то отдельный, ясно очерченный принуждающий институт, вроде социалистического государства, смог объять и осуществить все правильные цели; но я сомневаюсь, что жизнь может быть организована таким образом.

Реальное основание для ожидания более рационального существования и развития следует искать в растущей эффективности интеллектуального и морального процесса в целом, а не в большей активности правительства.

В каждой области жизни рождается многогранное социальное знание, и, смешиваясь с моральным импульсом, оно образует

¹ У меня нет возможности подробно показать, что это воззрение не ставит под сомнение правомерность порицания и наказания; читатель, возможно, додумает это самостоятельно. Людей справедливо хвалят или порицают, чтобы поддержать или дискредитировать те идеалы, которые они выражают. Сознательны их грехи и добродетели или нет, имеет мало значения. Что касается относительной неважности осознанной злонамеренности, то стоит отметить, что человек, чувствующий свою неправоту, ополчается против самого себя, а потому слаб и вряд ли будет упрямо гнуть свою линию. Самое действенное зло зиждется на спокойной совести.

систему рациональных идеалов, которые через лидерство и подражание постепенно пробивают себе дорогу в практику.

Стремление нашей демократии к более ясному сознанию слишком очевидно, чтобы кто-либо из наблюдателей его не заметил. Сравните, к примеру, место, занимаемое сегодня в наших университетах историей, экономикой, политической наукой, социологией, статистикой и т.д., с тем вниманием, которое им уделялось, скажем, в 1875 г., когда некоторых из этих наук в них фактически вообще еще не было. Или взгляните, сколь возросло с тех пор число правительственных учреждений – федеральных, штатских и местных, – главная функция которых состоит в сборе, упорядочении и распространении социального знания. Не будет преувеличением сказать, что правительства все больше и больше становятся гигантскими лабораториями социальной науки. Обратите также внимание на число книг и периодических изданий, всерьез посвященных этим предметам. Немалая часть этой работы, конечно, лихорадочна и поверхностна, но это сопутствует любому быстрому изменению. В целом, нет ничего более определенного и обнадеживающего, чем прогресс в широком самопознании человечества.

Идеалы для улучшения человеческой жизни являются продуктами конструктивного воображения, подгоняемого чувством и насыщаемого знанием. В прошлом чувство было в основном недисциплинированным, а знание – недостаточным. Изучение идеалов и программ, наиболее широко принятых людьми в последние годы, наводит на мысль, что наш умственный настрой в отношении общества все еще во многом похож на тот, который преобладал в отношении природного мира во времена, когда люди искали философский камень и источник вечной молодости. Масса энергии тратится впустую или почти впустую на исключительное и фанатичное отстаивание особых схем – единого налога, сухого закона, государственного социализма и т.п., – каждая из которых кажется ее приверженцам ключиком от ворот, за которыми нас поджидает вечное блаженство.

Тем временем каждый год множит число обращенных в ту истину, что никакая изолированная схема не может быть хорошей схемой и что реальный прогресс должен быть продвижением по всем направлениям. Те, кто видит всего лишь одну вещь, никогда не могут увидеть ее по-настоящему, а потому работают поверхностно и ошибочно.

Идеализм обязан быть органическим; иначе говоря, формирование и преследование каждого отдельного идеала должно быть

подчинено системе идеалов, основанной на знании и здравом смысле. Идеалист, вкладывающий особый энтузиазм в свою работу, должен обладать также общим пониманием любой хорошей работы и того целого, в которое все вносят свой вклад. Если он воображает, что его работа единственная, которую стоит делать, то это такая же неудача, как и ситуация главы компании, воображающего, что он в одиночку тянет все дело. При прочих равных условиях, из всех идеалистов самыми эффективными оказываются самые здравомыслящие, т.е. чуткие к сложности, взаимозависимости и инерции человеческого бытия.

Развитие социальной воли означает замену механизма созданием, а формул принципами. На ранних стадиях роста каждого института истина, которую он воплощает, не воспринимается и не выражается во всей своей простоте, а неявно вплетена в обычай и формулу. Восприятие принципов не избавляет от механизма полностью, но делает его относительно простым, гибким и человеческим. При старой системе оберегается все, ведь неизвестно, где именно заключена добродетель; при новой сохраняется существенное, а все остальное отбрасывается.

Это изменение в чем-то сродни замене пиктографического письма алфавитом. Когда вдруг выясняется, что речь образуется из небольшого числа элементарных звуков, их символов оказывается достаточно, чтобы выразить все возможные слова, и они заменяют бесчисленные громоздкие иероглифы, которыми пользовались раньше. Это позволяет языку стать более разнообразным и гибким в своей функции и в то же время более простым по своему механизму. Таким же образом в настоящее время сложные формулы церкви все больше уступают место кратким декларациям принципов, основанным на лучшем понимании человеческой природы; и все нынешние институты проявляют аналогичное по характеру изменение.

Мы можем тогда ожидать, что современный мир, несмотря на всю его сложность, станет фундаментально проще, согласованнее и разумнее. По всей видимости, формализм никогда больше не сможет быть принятым и оправданным состоянием. Он существует и будет существовать везде, где недостаточно социального сознания, но перестает считаться руководящим принципом в любом департаменте. Кредо будут существовать, но они будут утверждать не больше того, во что полезно верить; останется и ритуал, но лишь в той части, которая красива и назидательна; все должно оправдывать себя какой-то функцией.

Наша моральная система, являющаяся одной из фаз социальной воли, должна идти в ногу с современной жизнью. Текущие ее методы неадекватны, и нам надо научиться улавливать и воплощать в жизнь новые виды правоты, заключающие в себе чувствительность к более отдаленным результатам, чем те, которые люди до сих пор принимали в расчет. Наши добрые намерения никогда не осуществляются, если не будут организованы так же разумно, как коммерция и политика. Все мыслящие люди приходят к пониманию того, что те черты благопристойности в очевидных жизненных связях, которые мы привыкли считать нравственностью, не соответствуют нашим потребностям. Великие злодеи, как мы теперь видим, бывают обычно благопристойными и приветливыми в повседневных прогулках и беседах, поддерживают церковь и другие уважаемые институты. По большей части они даже не лицемеры, а люди мертвой и конвенциональной морали, невосприимчивые к реальному смыслу того, кто они такие и что они делают. Социальная воля означает, помимо прочего, что их надо разбудить, что социальная совесть, основанная на чувстве и науке, должна видеть и оценивать вещи по их действительным результатам и знать, как сделать свои суждения действенными.

Направляющей силой, лежащей в основании социального сознания, является ныне, как и всегда, сама человеческая природа в тех более стойких ее чертах, на которые мало воздействуют институциональные изменения. Эта природа, знакомая нам, но непостижимая, явно способна сформировать себя более адекватно, чем это было когда-либо в прошлом.

ОЦЕНИВАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (1918 [1912])^{*}

Идея оценивания, известная всем нам по повседневным покупкам и продажам, а исследователям – по той разработке, которую она получила в политэкономической науке, вышла за пределы сферы осязаемых обменов, и теперь мы слышим дискуссии о ценностях в отношении едва ли не всех видов человеческой деятельности. Живописцы используют это слово в связи со светом и цветом, моралисты – в вопросах поведения и т.д. Оказывается, в отношении каждого человека или группы людей в любой сфере жизни можно полагать, что они действуют в соответствии с некой шкалой ценностей.

Это широкое употребление термина, видимо, зиждется на ощущении того, что суждение о достоинстве имеет во многом одинаковый характер, применяется ли оно при выборе между десятком яиц и фунтом говядины на рынке или между разными цветовыми оттенками или линиями поведения: и там и там выясняется, насколько в нас отзываются альтернативы.

Короче говоря, система ценностей – это система практических идей или мотивов поведения, а процесс оценивания, посредством которого мы приходим к этим идеям, есть предположительно тот же процесс социальной и ментальной конкуренции, отбора и организации, который всегда мы до сих пор рассматривали. Возьмем простой пример: положим, я хочу забить гвоздь, и у меня нет молотка. Я смотрю на все, что меня окружает, с точки зрения

^{*} Перевод сделан по источнику: Cooley Ch.H. Social process. – N.Y.: Ch. Scribner's sons, 1918. – P. 283–292. Первая версия текста, несколько отличающаяся от включенной в книгу «Социальный процесс», опубликована в 1912 г.: Cooley Ch.H. Valuation as a social process // Psychological bull. – Wash., 1912. – Vol. 9, N 12. – P. 441–450. Перевод публикуется впервые.

его молоточной ценности, т.е. с точки зрения того, насколько оно может подойти в этой особой ситуации, и если разводной ключ обещает в этом отношении больше любого другого наличного объекта, то его ценность возрастает; он приспосабливается к ситуации, он отбирается, он «работает» и становится более активным фактором в жизни. И с помощью аналогичных процессов обретают различные степени и виды ценности люди, народы, доктрины и вообще все что угодно.

Существенных вещей в концепции ценности, по всей видимости, три: организм, ситуация и объект. Организм необходим, чтобы придать идее значение; в ней должно быть достоинство для чего-то. Не обязательно для человека; это может быть группа, институт, доктрина, любая организованная форма жизни; а сознают ли они мотивирующие их ценности – это вообще несущественно. Все живущее и растущее порождает особую систему ценностей, соотносящуюся с этим ростом, и эти ценности – реальные силы в жизни, сознают их люди или нет; они являются частью характера и тенденции организма. Развитие языка, например, или форм искусства направляется оценками, о которых вовлеченные в него люди обычно ничего не знают. Эту идею можно легко распространить на животную и растительную жизнь, но я ограничусь лишь некоторыми из ее человеческих приложений.

Организм, каким бы он ни был, составляет самую суть дела: нас интересуют прежде всего он, поскольку это система жизни – наша система, пока она нас заботит, – а также ценности, поскольку они функционируют в этой жизни. Ситуация – это непосредственный повод для действия, в свете которого организм интегрирует различные ценности, работающие внутри него (как это делает человек, когда «настраивается» на что-то), отвечая на ситуацию актом отбора, который оказывается ступенью в его росте, ведущей к новым ценностям и новым ситуациям. Оценивание – всего лишь иное название для предварительного органического процесса.

Различные классификации ценности основываются так или иначе на классификациях объектов, организмов или ситуаций, предполагаемых общей идеей ценности. Так, смотря с точки зрения объекта, мы говорим о ценности зерна, стоимости акций, ценностях книг, живописных полотен, доктрин, людей. При этом очевидно, что они остаются неясными, пока мы не привлечем организм и ситуацию, чтобы определить их. Книга имеет разные виды ценности – например, художественную и денежную, – и они опять же могут быть разными для разных людей или групп.

Что касается форм человеческой жизни, с которыми ценности должны соотноситься, то мне представляется важным с самого начала провести различие, которое я назову различием между ценностями человеческой природы и институциональными ценностями.

В первом случае речь идет о ценностях, которые можно без больших затруднений свести к фазам универсальной человеческой природы. Организм, для которого они имеют вес, – просто человек в тех сравнительно постоянных аспектах, которые мы обычно называем человеческой природой и противопоставляем изменчивым институтам, выстроенным на ее основе. Объекты, обладающие этими ценностями, значительно различаются от эпохи к эпохе, но критерии, которые к ним применяются, остаются в основе своей одинаковыми, поскольку остается во многом тем же организм, из которого они выводятся. Яркий цвет, гармоничный звук обладают достоинством для всех людей, и наиболее универсальные формы красоты – те, что люди любой эпохи и культуры могут ценить просто в силу своего знакомства с ними, – тоже можно отнести к ценностям человеческой природы.

Ценности этого вида столь же разнообразны, как и сама человеческая природа; их можно различать и классифицировать сотнями способов. В некоторых из них особенно заметными факторами являются особые органы чувств, как в случае слуховых и вкусовых ценностей. Другие происходят из социальных чувств – как, например, ценности социального самочувствия, лежащие в основе конформности, – а также из чувств любви, страха, тщеславия, честолюбия и лояльности. Во многом таковы же по роду и более универсальные религиозные и моральные ценности; последнее, однако, обычно сплетается с институциональными ценностями, по характеру менее долговечными и более специфическими. То же можно сказать о научных, философских и этических ценностях, и долгосрочное достижение в любой из этих областей зависит главным образом от создания ценностей, являющихся таковыми для человеческой природы, а не просто для какой-то преходящей институциональной точки зрения.

Второй род ценностей – это ценности, которые должны быть отнесены на счет той или иной институциональной системы. Человеческая природа проникает в них, но настолько трансформируется в своем воздействии этой системой, что источником их мы считаем последнюю; и обосновывается это тем, что социальные организмы обладают ростом и ценностями, которые невозможно на практике объяснить с точки зрения общей природы человека. Различие это

достаточно очевидно, если подкрепить его ясным примером. Взять, например, различие между религиозными и церковными ценностями. Такие общие черты религиозной психологии, с которыми имеет дело Уильям Джеймс в «Многообразии религиозного опыта», кладут начало ценностям, которые можно назвать ценностями человеческой природы; ценности же, установленные в Римско-католической церкви, – совершенно иное дело, хотя человеческая природа определенно в них входит. Точно так же есть особые ценности в случае каждого рода институционального развития: правовые ценности, политические ценности, военные ценности, университетские и т.д. Под эту же категорию подпадают все технические ценности. Так, в каждом искусстве обнаруживаются не только ценности человеческой природы – в форме тех сторон красоты, которые открыты для людей вообще, – но и технические ценности, вытекающие из особой истории и методов искусства, которые в состоянии оценить только эксперт.

Это различие, как я уже отмечал, основывается на том факте, что есть формы социальной жизни, имеющие отличительно органическое развитие и предполагающие особые потребности и ценности, которые нельзя понять путем прямого обращения к универсальной природе человека и условиям, которые непосредственно на нее влияют. Я понимаю, что в каких-то случаях его, наверное, нелегко провести. Оно походит на большинство психологических различий, не давая никакой четкой разграничительной линии, и просто указывает на сумму и определенность подразумеваемой социальной традиции и структуры. Все человеческие ценности в той или иной степени опосредованы особыми социальными условиями. Их можно, наверное, расположить на шкале соответственно степени, в которой они так опосредованы: одни, как вкус к соли, вряд ли вообще опосредованы; другие, как вкус к поэзии, – сильно опосредованы. Когда мы обращаемся к последнему виду ценностей, мы подходим к той точке шкалы, где социальные antecedentes принимают настолько определенную форму и такое развитие, что образуют особый организм, который необходимо изучить сам по себе, прежде чем мы сможем понять его ценностную ситуацию. Так, в числе моральных ценностей есть такие – например ценности верности, доброты и мужества, – которые прямо вытекают из человеческой природы; другие же, например обязанность ходить в церковь по воскресеньям, явно институциональны.

Вряд ли нужно и добавлять, что человеческие и институциональные ценности часто входят в конфликт друг с другом и что реформа состоит по большей части в их взаимной подгонке. Нет нужды

также обсуждать в деталях известный процесс, посредством которого ценности человеческой природы, стремясь осуществиться через сложную социальную систему, обретают в итоге такую организацию и такой институциональный характер, которые уведут их далеко от человеческой природы и со временем требуют переутверждения последней через инициативу индивидов и малых групп. Каждый сможет увидеть такие циклы в истории христианской церкви или любого другого института, который он, возможно, предпочтет изучить.

Разные человеческие и институциональные ценности различаются между собой настолько, насколько различны соответствующие стороны самого человеческого ума: иначе говоря, какими бы отчетливыми ни были эти различия, ценности, в конце концов, являются выражениями обычной органической жизни. Между ними нет резких разграничений, и иногда они неразличимо друг с другом сливаются. Органическая ментально-социальная жизнь имеет в качестве одной из своих фаз органическую систему ценностей. Например, эстетические и моральные ценности могут казаться совершенно не связанными друг с другом, как в случае человека, «приятного на вид», но с дурным характером, и все же мы чувствуем, что есть нечто прекрасное в совершенном великодушии и нечто благое в идеальной красоте. Думаю, все согласятся с тем, что лучшая литература и лучшее искусство нравственны, и, вероятно, не в силу какой-то преднамеренности, а потому что эти два вида ценности связаны и стремятся совпасть в своей завершенности. Рядом с ними можно поставить ценность истины, сказав, что эти три ценности — фазы высшей формы человеческого мотива, часто становящиеся неотличимыми друг от друга.

Институциональные ценности тоже части этого органического целого, и, как я предположил, они сливаются с ценностями человеческой природы настолько, что может быть трудно отличить одни от других. Вместе с тем институт редко или никогда не соответствует той или иной стороне природы человека настолько, чтобы институциональные ценности и непосредственно человеческие ценности полностью совпали. Становясь институциональной, идея адаптируется к целостной традиционной структуре общества, взваливая прошлое на свои плечи, и теряет многое от широты и спонтанности нашей более непосредственной жизни. Нет таких институтов, которые адекватно выражали бы внутреннюю потребность в красоте, истине, праведности и религии, какими человеческая природа требует от них быть в данное время: например, ни одна церковь никогда не была и не может быть полностью христианской.

Ввиду этого органического характера ценности изменчивы: они зависят от времени, группы и особой ситуации. Каждая нация или эпоха имеет свою более или менее своеобразную ценностную систему, образованную из взаимосвязанных частей; каждый может увидеть, что система Средневековья очень отлична от нашей. Ценности – часть *этоса*, нравов, всего, как бы вы ни предпочли назвать коллективное состояние ума¹. У каждого индивида есть также собственная система ценностей, являющаяся дифференцированным членом системы группы. И эти разнообразные групповые и индивидуальные аспекты собираются воедино так, что ни один аспект невозможно объяснить иначе, кроме как соотнеся его с целым, из которого он вырастает. Вряд ли вы сможете понять, какие чувства человек испытывает в отношении, например, религии, если не поймете также того, какие чувства он испытывает в связи со своим положением в промышленности и другими вещами, которые глубоко его интересуют; надо будет, по возможности, постичь его жизнь целиком. И вряд ли вам это удастся, если вы не поймете также социальную среду (*medium*), в которой он живет. Любое вездливое исследование тех или иных ценностей должно быть изучением органической социальной жизни.

Один и тот же объект явно может обладать многими видами ценности – возможно, всеми, которые я ранее называл. Можно представить человека, обращенного к объекту всеми сторонами своей жизни и оценивающего его с каждой стороны по-разному. Возьмем для примера быка, с незапамятных времен интересовавшего человека. Он может считаться прекрасным или безобразным, может пробуждать разные эмоции, такие как любовь, страх или ярость, может пробуждать моральные и философские вопросы, может быть объектом религиозного благоговения, как в Индии, может иметь ценность для таких чувств, как зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Кроме того, особенно у пастушеских народов, он обладает примечательными институциональными ценностями, играет огромную роль в праве, церемонии и культе, а в нашей традиции имеет эпонимическую связь с денежными институтами².

¹ Ценности человеческой природы, конечно, гораздо менее изменчивы, чем ценности институциональные. Так, моды бесконечно меняются, а конформность, являющаяся общечеловеческой основой приверженности моде, остается во многом той же самой.

² Слово *pecunia* [«имущество», «деньги»] происходит от слова *pecus* [«скот»].

Процесс, который порождает ценности, — ментальный, но обычно не осознаваемый: он работает посредством внушения, влияния и конкуренции и выживания идей; но все это постоянно происходит в нас и через нас без всякого нашего ведома. Я могу совершенно не сознавать происхождение или даже существование ценностей, живущих в моем уме и направляющих мой повседневный курс; и это скорее правило, чем исключение. Обычная фраза «я стал иначе к этому относиться» достаточно хорошо выражает способ, которым ценности обычно меняются. Психология этого дела тонка, заключая в себе влияние повторения, неявных ассоциаций идей, престижа отдельных личностей, придающего вес подаваемому ими примеру, и т.д.; но обо всем этом мы обычно ничего не знаем. Например, идея наказания после смерти становилась для последнего поколения все более блеклой; ее ценность для поведения по большей части исчезла; и все же мало кто сознавал ее уход, и еще меньше людей могут сказать, как это произошло. Эту особенность развития ценностей, разумеется, хорошо понимают в искусстве рекламы, нацеленном прежде всего на то, чтобы придать некоторой идее вес в подсознательных процессах, сделать ее знакомой путем повторения, наделить ее приятными или навязчивыми ассоциациями и незаметно ее внедрить, так или иначе, в поток мышления, не дав выбору ни малейшего шанса с ней соединиться.

Если сравнительно простые фазы оценивания, связанные с личными целями индивида, обычно подсознательны, то в еще большей степени это касается более широких фаз, связанных с развитием сложных безличных целостностей. Совершенно верно говорилось, что есть «великие социальные ценности, мотивирующая сила которых направляет деятельность народов, крупных индустрий, литературных и художественных “школ”, церквей и других социальных организаций, а также повседневную жизнь каждого мужчины и женщины, увлекая их на пути, коих никакой отдельный человек не предвидел и не предполагал»¹.

В связи с этим можно отметить, что институты обычно располагают весьма определенными и точными методами для оценки ценностей в соответствии с собственными органическими потребностями. Например, в государстве мы находим сложные методы избрания или назначения лиц на должности, а также законодательные, судебные и научные авторитеты для вынесения решений

¹ Anderson B.M., jr. Social value: A study in economic theory, critical and constructive. — N.Y.: Houghton Mifflin co., 1911. — P. 116.

по тем или иным идеям. В церкви есть свои критерии членства, символы веры, скрижали, таинства, кары, иерархия святых и санов и т.д., и все они служат мерилami ценности. Аналогичная система есть и в армии. В институциональной стороне искусства мы видим выставки с награждениями, призовые конкурсы, выборы в академии и вердикты подкованных критиков; в науке – во многом то же, с бoльшим акцентом на званиях и академических должностях. Что-то подобное будет встречаться в любой хорошо организованной традиционной структуре. В университетах мы находим это не только в официальной работе института, но также в братствах, атлетических объединениях и т.п.

Также заслуживает внимания, что институциональное оценивание – это почти всегда функция особого класса. Так явно обстоит дело с названными институтами. И в равной мере это касается, хотя, возможно, и не столь явно, денежного оценивания.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ДЕНЕЖНОГО ОЦЕНИВАНИЯ (1913)*¹

Денежное оценивание – фаза общего процесса социального мышления, имеющая свои особые методы и свою особую значимость, но в сущности от него не отличающаяся: денежные оценки, которые люди присваивают вещам, определяются в движении внушения и обсуждения, меняясь в зависимости от группы и времени, подобно другим фазам общественного ума.

Это *a fortiori* очевидно, если взять, по всей видимости, простейшие и самые существенные товары. Оценка пшеничного хлеба как преобладающей у нас жизненной необходимости – дело мнения и обычая; основываются ли последние на надежной гигиене или нет – не имеет значения. Другие страны и времена мыслили иначе, и мы знаем, что необходимыми могут считаться пищевые продукты, гигиеническая ценность которых сомнительна или даже отрицательна: например, пиво в Германии или кофе у нас. Возьмем в связи с этим готовые продукты, известные как хлопья, на которые тратят огромные суммы все классы нашего народа; их модность и ценность – явно вопрос текущего и, возможно, преходящего мнения, созданного по большей части психологическим процессом рекламы.

Вряд ли мне нужно дальше в это углубляться. Ясно, что даже в случае самых необходимых вещей имеющуюся шкалу денежных

* Перевод сделан по источнику: Cooley Ch.H. The institutional character of pecuniary valuation // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1913. – Vol. 18, N 4. – P. 543–555. В 1918 г. эта статья с небольшими изменениями вошла как глава 26 в состав книги «Социальный процесс». Перевод публикуется впервые.

¹ Концепция общего процесса оценивания, лежащая в основе этой и возможных будущих статей, выдвинута в статье «Оценивание как социальный процесс» (см. перевод в этой книге).

ценностей можно объяснить только как продукт тех же социальных сил, которыми создаются другие фазы традиции и чувства; и никто не будет ожидать чего-то иного от ценностей, преобладающих в более состоятельном классе. Я, конечно, не имею в виду, что эти силы работают в совершенном вакууме, но какими бы ни были физиологические или механические факторы, заключенные в спросе и предложении, они становятся действенными только через посредство психологического процесса.

Обычно говорят, что в прошлом ценности определялись по большей части обычаям, а теперь последний вытеснила конкуренция; и, несомненно, это верно в том смысле, что стабильность локального обычая разрушена. Но каким-то иным образом обычай – т.е. влияние прошлого – остается на рынке таким же важным фактором, каким он был всегда. Сегодня, как и прежде, это основной источник мыслительных привычек, которые контролируют спрос и предложение и, стало быть, ценность. Показателен пример похорон. Почему существенная часть расходов бедных направляется на эту цель, часть столь внушительная, что вокруг этого выстроилась особая отрасль страхования? Очевидно, для этого есть исторические причины, восходящие фактически к доисторическому обществу. И хотя этот случай выглядит исключительным, поскольку в образованных классах эта особая конвенция по большей части утратила свою силу, все-таки остается истиной то, что мы извлекаем свои ценности из потока исторического влияния. На что мы готовы тратить деньги как индивиды, как классы, как нации, можно понять только путем изучения исторических влияний и их взаимодействия и распространения в настоящем.

В другом месте¹ я уже объяснял различие, которое следует, на мой взгляд, провести между ценностями человеческой природы и ценностями институциональными. Последние имеют социальные antecedents, настолько сложные по характеру, что нельзя понять их иначе, кроме как результат особого институционального развития. Очевидно, что ценности денежного рынка подпадают под последнюю категорию. Непосредственным их источником, как бы ни были они косвенно связаны с природой человека, является социальный механизм. Мы находим их не везде, где есть человек,

¹ В статье «Оценивание как социальный процесс», на которую я ссылался выше.

а только там, где есть сколько-нибудь развившаяся система обмена, товар, опознаваемый как деньги, и активный рынок.

Однако денежные ценности вовсе не находятся все на одном уровне, когда речь заходит о степени, в которой они институциональны. Все они таковы в только что указанном смысле: они требуют для своего определения и развития рыночного механизма. Но стоит заглянуть чуть глубже, и мы видим, что некоторые из них базируются (со стороны спроса) на довольно простых ценностях человеческой природы, в которых факторы особой традиции и организации не играют сколько-нибудь существенной роли. Примечательно, как только мы об этом задумываемся, то, насколько такие ценности немногочисленны; примерно таковы ценности мяса и муки, древесины, топлива и простейших видов одежды. С другой стороны, некоторые ценности порождены сложной институциональной историей, в которой трудно проследить нити, связывающие их с постоянными потребностями человеческой природы. Таковы ценности орнаментальной или церемониальной одежды, многих наших продуктов питания, наших более сложно устроенных домов и мебели, наших увеселений и досужих развлечений, наших книг, а также ценности, связанные с нашими системами образования, церквями, политическими институтами и т.д. Такие же различия проходят через ценности, придаваемые услугам разных категорий людей. Почему общество должно платить внушительную цену за фермеров и плотников – это понятно; но когда мы переходим к юристам, биржевикам, промоутерам, ученым, рекламным агентам и т.п., не говоря уже о владельцах капитала, которым, похоже, платятся огромные суммы за неделание ничего вообще, становится ясно, что объяснение здесь институциональное и что его не удастся получить без изучения органического роста и взаимодействия социальных форм. И также, по всей видимости, ясно, что в нашей социальной системе ценности такого рода имеют существенный и всё возрастающий перевес.

В спорах о ценности часто встречается ошибочный вид рассуждения. Состоит он в том, что берут простейшие мыслимые сделки, как правило, те, что имеют место в воображаемой примитивной жизни, затем отмечают принципы, на которых они могли бы базироваться, и, наконец, полагают, что этих принципов будет достаточно для общего объяснения сложных сделок нашей жизни. Предполагается: «Теперь это то же самое, но только более хитроумное». Здесь, разумеется, упускают из виду тот факт, что даже если в иных отношениях такой анализ и надежен – что само по

себе очень спорно, – то социальная сложность все же во многом существенна для действительного ценностного процесса. Она предполагает, что институциональный характер меняется с социальным типом, что он может быть понят только через знание институциональных организмов и что его можно реформировать, только воздействуя на такие организмы и работая через них. Изучение создающих ценности институтов становится, стало быть, основным средством получения практической истины. Представляется очевидным, что денежным ценностям нашего времени присущ такой характер.

Рынок (а под ним мы понимаем систему денежных транзакций, взятую как единое органическое целое) является институтом в такой же мере, как и государство или церковь, а в современной жизни он даже в какой-то мере их затмевает. Речь идет о том, что это обширная и сложная социальная система, укорененная в прошлом, но в последнее время необычайно развившаяся и обретшая невероятный престиж, и хотя ее, как и прочие институты, населяют индивиды, ее принципиально невозможно понять, рассматривая с сугубо индивидуальной точки зрения. Глупо было бы пытаться объяснить теологию Фомы Аквинского или «*Institutes*» Кальвина прямой работой религиозного инстинкта, но не больше резона в попытке объяснить рыночные ценности нашего времени непосредственной работой естественных желаний.

Это одна из многих точек зрения, с которых можно увидеть недостатки обычной трактовки процесса создания ценностей в политэкономических трактатах. Эта трактовка исходит из спроса как *данности*, полагая, что каждый индивид уже принял решение по поводу того, что ему нужно и насколько ему это нужно. Скольнибудь серьезные попытки пойти дальше этого, на мой взгляд, редки; предполагается, видимо, что эти желания приходят из непостижимых глубин частного ума. Во всяком случае, не было в обычае признавать, что они являются выражением институционального развития. Из большинства стандартных работ исследователь выносил впечатление, что если институты и классы и существуют, то с оценением ничего общего не имеют.

Истина, как мне кажется, состоит в том, что идея институтов, классов и т.п. как органических форм или процессов, имеющих значение и могущество, непостижимые с точки зрения индивидов или общечеловеческой природы, чужда философии, лежащей в основе ортодоксальной экономики, и поэтому трудно ассимилируется с ортодоксальной теорией. Насколько эти идеи все

же признаются, они, я бы сказал, скорее накладываются на исходную ткань как заплатки, чем в нее вплетаются¹. В последнее время, однако, экономисты начинают все больше сознавать несколько устаревший характер философии, содержащейся в ортодоксальной традиции².

Как бы то ни было, итогом индивидуалистической трактовки денежной ценности было взваливание целого института – рынка – на человеческую природу. Коммерциализм, каким мы его знаем, нужно было объяснить, а так как ничего другого в наличии не было, взвалить его на себя пришлось бедной человеческой природе. Простая формула «людям это нужно, а все остальное делает закон спроса и предложения» объяснит все что угодно. Но если мы позволим себе задать вопрос, почему людям это нужно, кому, собственно, это нужно или почему эти люди могут сделать свои нужды действенными, то окажется, что все это надо еще узнать. Принятая экономическая трактовка, видимо, равнозначна отказу от всякой попытки понять связь ценности с обществом в целом, иначе говоря, от всякой попытки понять саму ценность, ведь понять некую вещь – значит, постичь ее более важные связи. Я не отрицаю того, что у обсуждаемого метода анализа есть свои очень важные области применения, но если ему дозволено быть единственным методом, то он становится источником грубейших ошибок.

Когда мы говорим, что рынок как исторический институт есть главный фактор ценности, что это, собственно, означает с точки зрения индивида? Не просто то, что уже существующие индивидуальные оценки суммируются и выравниваются в согласии с формулами экономической науки, хотя это одна из сторон дела, но, сверх того, еще и то, что сами индивидуальные оценки формируются рынком, сначала в самом общем плане, а затем, в процессе ценообразования, в направлении несколько механического единообразия. Индивид и система действуют и реагируют

¹ Их признают важными – и с наилучшими результатами – экономисты, интересующиеся (а таких большинство) практическими реформами.

² Вряд ли даже нужно упоминать в связи с этим проницательное исследование д-ра Б.М. Андерсона «Социальная ценность». См.: Anderson B.M., jr. *Social value: A study in economic theory, critical and constructive*. – N.Y.: Houghton Mifflin co., 1911.

Любопытно, что хотя ортодоксальная экономика по большей части игнорировала важность институциональных процессов, ее собственная история дает настолько хорошую иллюстрацию этой важности, насколько только можно желать. Я имею в виду, что дух и основополагающие идеи этой науки можно понять только как продукт особой школы мысли, т.е. особого институционального развития.

друг на друга, пока не приходят, в большинстве случаев, к соглашению, примерно так же, как это бывает в моде, религиозной вере и т.д. Влияние рынка не вторично относительно влияния индивида ни по времени, ни по значимости; это непрерывный институт, в котором индивид живет и который постоянно формирует его идеи. Текущие сделки служат могущественными внушениями для новых, а сами по себе являются позднейшим выражением институционального развития, главными факторами которого были классовое господство и запутанный и однобокий коммерциализм. Таким образом, этот институт в значительной мере диктует те оценки, которые потом уравнивает. Пренебречь этим и трактовать спрос и предложение как суммирование исходных индивидуальных оценок было бы, в сущности, так же неадекватно, как и объяснять моду, выводя ее из суммирования индивидуальных идей по поводу одежды. Это было бы верно в данный момент для моды, как и для рынка, но в первом случае никто не смог бы не заметить, насколько поверхностно и обманчиво такое объяснение. В случае моды это очевидно, ведь перемены в ней так быстры и заметны, что мы невольно обращаем на них внимание и видим, что индивид берет свои идеи из социального потока. Более медленное движение идей, определяющее наши более устойчивые желания, имеет между тем такой же характер, и поверхностность трактовки его как берущего начало в индивиде столь же велика. Она сводится ни много ни мало к пренебрежению существенными социальными факторами денежной ценности. Связь индивида с системой в этом случае, по сути, не отличается от той, которую мы можем встретить в любом институте. Обычный человек – приспособленец; он живет в институте и принимает установившиеся в нем оценки, запечатлевая в них, конечно, и некоторую степень индивидуальности. Таким путем мы приобретаем наши идеи и практики, относящиеся к религии, браку, одежде и т.д. Так же и в денежных вопросах человек принимает, в общем и целом, текущие ценности, но обладает в своем выборе некоторой индивидуальностью, которая делает его в какой-то мере особым фактором рынка. Абсолютной конформности не существует; мы делаем все несколько иначе, чем кто-либо другой; но это не отменяет того, что нас в широком плане контролируют преобладающие институты. Именно это и игнорирует – или упускает из виду – обычный экономический анализ.

Наряду с этим мы находим феномен неконформности. Индивиды, как-то по-особому одаренные от природы, находящиеся в необычной ситуации или располагающие комбинацией того и другого –

а обычно бывает так, — далеко отклоняются от типа и инициируют новые тенденции, которые при благоприятных условиях могут развиться и модифицировать или разрушить старый тип. Эти новые движения обычно более непосредственно вытекают из глубин человеческой природы, чем старые, и обычно, хотя и не всегда, неконформность представляет ценности человеческой природы, входящие в конфликт с более институциональными ценностями. В наше время мы можем видеть этот процесс в церкви, политике и семье. В такой же мере он имеет место и в денежных отношениях, и наши расходы гуманизируются, быть может, так же радикально, как и все прочее. Вещи, казавшиеся еще четверть века назад незаменимыми, больше не кажутся заслуживающими внимания, а притязания, бывшие тогда немыслимыми, обрели неотразимую силу. Какие изменения произошли за этот период в бюджете домохозяйств, филантропии, государства и церкви!

На эту тему можно было бы много чего сказать, но все это свелось бы просто к демонстрации — в этой области — общей связи между институтами и человеческой природой.

Без принятия в расчет этой жизни индивида в институте мы никогда не сможем должным образом постичь общую власть рынка как исторического организма над обществом в целом. Это, как я предположил, структура, столь же принуждающая, как и само политическое государство, наполняющая взор зрелищем установленной и неоспоримой власти и запечатлевающая в каждом уме собственные оценки.

Итак, мы вынуждены признать, что денежная ценность — не просто, в общем смысле, социальная ценность, происходящая из социального развития прошлого, но что она, в более конкретном смысле, результат особой фазы этого развития, а именно сравнительно недавнего роста индустрии и бизнеса, включающего также рост потребления. Это особый институт, из которого, хорошо это или плохо, берут свой характер нынешние денежные ценности, во многом подобно тому как из истории церкви черпают свой характер ценности церковные. Феномены любого института обретают форму отчасти под влиянием общих условий эпохи, но в частных деталях формируются конкретными институциональными антецедентами, которые могут несколько не совпадать с более общими условиями. Если вы посетите богослужение в англиканской церкви, то обнаружите там точки зрения, которые, возможно, покажутся вам как человеку современному абсурдными и непостижимыми, если только вы не знаете кое-что об их истории. Это же, возможно, верно и в случае денеж-

ного мира, хотя мы можем этого не замечать, поскольку больше к нему привыкли и сами состоим в этой церкви.

И метод критики в случае рынка, как и в случае церкви, состоит в том, чтобы взять как можно более широкое видение этого института, выяснить, в каких аспектах он функционирует в общей жизни неадекватно, и попытаться произвести такие изменения, которые кажутся необходимыми.

Чем больше мы смотрим на практику обсуждения ценностей в отрыве от их институциональных antecedентов в свете органического видения общества, тем бесплоднее – разве что для каких-то узкоспециальных целей – выглядит эта практика. В исследованиях, пытающихся пролить свет на этику или социальную политику, ей явно следует отвести второстепенное место. Так, она является слишком хрупкой основой для теории распределения. В последнем я вижу сущностно исторический и институциональный феномен, экономическую технику, служащую, по большому счету, лишь механизмом, через который выражает себя социальная организация. Я не ставлю под вопрос техническую ценность нынешних трактатов о распределении, в той или иной мере отсекающих его от корней в социальном целом, но, возможно, настало время для такого его истолкования, которое, приняв техническую экономику как данность, прояснило бы более широкие злободневные аспекты этого вопроса.

Принцип, согласно которому любым социальным институтом и, стало быть, любой системой оценивания должен управлять некоторый класс, который будет в значительной мере контролировать его операции, весьма очевиден. Однако его долгое время упускали из виду в политической теории, по крайней мере в теории демократии, и все еще недоучитывают, по всей видимости, в экономической теории. Во всяком случае, дело обстоит так, что денежное оценивание вовсе не является работой всего народа, действующего гомогенно, а подвержено, во многом как аналогичная функция в политике, сосредоточению в некотором классе.

Классовый контроль реализуется в основном двумя способами: через контроль или управление покупательной способностью, т.е. с той стороны рынка, которая связана со спросом, и через актуальное управление деловой системой, дающее имуществу классу возможность распоряжаться большими личными (денежными) ценностями, прила-

гающимися к этой функции, и возможность умножать их путем прямого или косвенного пользования своей командной позицией¹.

Процесс точного денежного оценивания – функция ценообразования – основывается на «эффективном спросе», т.е. на предложении денег за блага; наверное, мы должны были бы сказать здесь «потребительские блага», так как ценность благ для производителей в этой связи можно рассматривать как вторичную². Следовательно, это прямая работа тех, у кого есть деньги, которые можно потратить. Насколько траты концентрируются в том или ином классе, я сказать не берусь, но, судя по текущим оценкам, можно предположить, что не будет преувеличением утверждение, что половина покупательной способности в промышленном сообществе реализуется одной пятой семей³. В этом отношении денежная ценность оказывается с внешней стороны работой ограниченного класса гораздо больше, чем политическая, в определении которой все избиратели номинально равны. При этом в обоих случаях было бы грубой ошибкой предполагать, что способность к созданию ценности измерима какими-либо подобными количественными способами. За поверхностью рыночных сделок всегда скрыта работа психологического процесса внушения и обсуждения.

Благодаря этому власть более состоятельных классов над ценностями гораздо выше, чем на это указывают их относительные расходы. Как люди праздные и предположительно рафинированные, они обладают престижем в формировании тех конвенций, которыми управляют расходы. Мы видим, как кухарки и продавщицы одеваются, подражая дамам из высшего света, как мелкие клерки закладывают свои дома, чтобы купить автомобили. Поистине бросается в глаза, насколько расходы бедных следуют образцам богатых, если только речь не идет о самых прямых и неотложных нуждах; да даже и в них они в немалой мере следуют этим же образцам.

Если все вышесказанное имеет под собой основание, то для того, чтобы понять нынешние ценности, надо было бы исследовать с исторической и психологической точки зрения идеалы, как они

¹ Называя эти ценности «личными», я имею в виду лишь то, что обычно они обогащают отдельных лиц; экономический же их характер многообразен.

² Производство обладает своим особым институциональным развитием, которое я в связи с этим не буду пытаться здесь обсуждать.

³ Эта оценка базируется на английской и немецкой статистике, показывающей, что около 1/10 семей располагают половиной совокупного дохода, а также на предположении, что доля сбережений в более состоятельном классе выше, а доля трат – ниже, откуда можно утверждать, что 1/5 семей покрывают половину всех трат.

есть, преобладающие ныне в более состоятельных классах¹. Скорее всего, оказалось бы, что это идеалы в основном двух видов: идеалы, присущие коммерциализму, особенно идеалы денежной власти и показухи как ее свидетельства, и кастовые идеалы, взятые торговой аристократией из прежнего общественного порядка. Коммерциализм склонен фиксировать внимание скорее на приобретении богатства, чем на его использовании; в поисках же идеалов, касающихся последнего, преуспевающий класс откатился назад, к надежным и очень привлекательным для воображения традициям прежней наследственной аристократии. Похоже, мы очень слабо представляем, насколько над нашими моделями мышления и, следовательно, над нашими оценками господствуют английские социальные идеалы XVII и XVIII вв. Мы усваиваем их не только через непрерывно длящийся по сей день социальный престиж английских высших классов, но и через историю, литературу и искусство. Грубо говоря, лучшая европейская литература, и особенно лучшая английская литература, создавалась под господством аристократического класса и пропиталась его идеалами. Таким образом, даже сейчас культура в немалой степени означает усвоение этих идеалов.

Это, конечно, во многих отношениях высокие идеалы; они включают в себе представления о культуре, личном характере и поведении, и потерять их было бы для нас бедствием; и все же они переплетены с постулатом высшего класса, пользующегося правом необычайного превосходства в богатстве и власти и живущего в изобилии, подобающем отведенному ему положению. Таким образом, получается, что, когда человек достигает богатства, у него появляется ощущение, что теперь его семья должна утвердить свое право на членство в высшем классе стилем жизни, призванным продемонстрировать его состоятельность. Кроме того, если он хоть сколько-нибудь усвоил более утонченную часть традиции, он чувствует, что у него должно произойти соответствующее продвижение в уровне культуры, но эту вещь, в отличие от материального положения, нельзя приобрести за деньги; общие условия этому не способствуют, а личные усилия, если он их предпринимает, обычно оказываются более или менее бесплодными.

¹ В связи с этим читатель, конечно, вспомнит работу проф. Веблена на эту тему. (Кули имеет в виду работу Т. Веблена «Теория праздного класса: экономическое исследование институций»: Veblen Th. The theory of the leisure class: An economic study of institutions. – N.Y.: Macmillan, 1899. – *Прим. пер.*)

Наряду с названными мы находим также многообещающую примесь идеалов, отражающих подъем подлинно демократического режима жизни: идеалов индивида, существующего ради целого, власти, оправданной лишь общественным служением, сожалений по поводу неравенств благосостояния и возможностей, скромности на высоких постах.

Подобное исследование психологии высшего класса как социального организма – какими бы неказистыми ни были эти предположения – кажется незаменимым, если мы хотим составить хотя бы резонные догадки по поводу того, где мы находимся в вопросе оценивания.

Приближаясь сегодня к контролю над ценностями, сопутствующему управлению деловой системой, мы замечаем, что класс, облеченный властью, несмотря на постоянные перемены в его составе, является по множеству причин реальным историческим организмом, коллективно действующим ради собственного возвышения. Это коллективное действие осуществляется по большей части неосознанно и возникает как результат устремленности многочисленных индивидов и малых групп в одном и том же общем направлении. Все мы, особенно в денежных делах, готовы соединить силы с теми, чьи интересы параллельны нашим: банкиры объединяются для продвижения банковского интереса, промышленники образуют ассоциации и т.д. Весь деловой мир есть сеть ассоциаций, формальных и неформальных, нацеленных на продвижение денежного интереса их членов. И хотя эти группы или члены одной и той же группы часто находятся друг с другом в конкуренции, это не отменяет общей параллельности усилий, когда речь заходит о вопросах, затрагивающих интерес делового класса в целом. Чем крупнее группа, тем неосознаннее, как правило, ее кооперация, но она не теряет непременно от этого свою эффективность, и вряд ли можно отрицать, что капиталистическо-менеджерский класс – или как бы еще мы ни назвали класс, управляющий в бизнесе, – могущественно действует как единое тело в сохранении и умножении своих преимуществ над другими классами. Ничто другое и не может возникнуть из желания каждого захватить и удержать все, что только можно, и обмениваться помощью с другими, имеющими схожий настрой¹.

¹ Наверное, мне будет позволено сослаться в связи с этим на более развернутую, хотя и неадекватную трактовку классов в моей книге «Социальная организация».

Говоря, что класс с этой точки зрения есть исторический организм, я имею в виду, что его власть, престиж и методы приходят из прошлого в цепи непрерывного развития, как и в случае других форм социальной жизни. Дело обстоит бы так даже в случае, если бы индивидуальное членство в нем было полностью открыто для каждого сообразно его способностям, ибо открытый класс, как мы можем увидеть на примере священников, может быть все еще полон духа и власти, почерпнутых из прошлого.

Членство в высшем экономическом классе, однако, никоим образом не открыто для всех сообразно природным способностям, и осуществляемое им распоряжение прибыльными возможностями вносит огромный вклад в его господство. Он контролирует актуальное управление рынком во многом так же, как правящая политическая партия контролирует руководящие посты с приложенными к ним престижем и покровительством; только господство в экономическом мире, основанное по большей части на унаследованных богатствах и связях, крепче и надежнее. Непосредственным результатом этого является огромное повышение рыночной ценности лиц, имеющих доступ к возможностям: преимущества в положении позволяют им черпать из общего запаса жалованья, гонорары и прибыли, вообще не поддающиеся объяснению исходя из одних лишь природных способностей. Этот эффект умножается тем фактом, что ограниченность числа конкурентов придает дополнительную дефицитную ценность услугам сведущих людей, что может почти невероятно взвинчивать их цену. Так, хорошо известно, что в пору быстрой консолидации крупных предприятий людям, которые проводили эти консолидации, выплачивались немыслимо большие гонорары, достигавшие порой миллионов долларов. Возможно, их услуги стоили той цены, которую за них платили; но коль скоро речь идет о самом факте, его можно объяснить лишь запредельной дефицитной ценностью, вытекавшей из ограниченных возможностей. Думаю, никто не станет утверждать, что здесь требовалась настолько уж запредельная природная способность, что за нее давали бы такое вознаграждение в открытых условиях. Из тысяч тех, кто мог бы быть компетентен для этой службы, несомненно, лишь немногие располагали такой подготовкой и такими связями, которые делали их реальными конкурентами. И этот же самый принцип требуется обычно для объяснения относительно больших доходов властвующего класса, включая доходы более прибыльных профессий.

Они представляют ценность хороших природных способностей, умноженную факторами возможностей¹.

Обычно подчеркиваемый в связи с этим факт, что данные доходные возможности часто достаются тем, кто не был рожден в высшем классе, а пробился в него собственными усилиями, не сильно затрагивает суть дела. Здесь не утверждается, что наш высший класс – замкнутая каста, да он и не должен таковой быть, чтобы действовать в качестве целого или оказывать доминирующее, отчасти монополистическое влияние на ценности. Хотя он слабо очерчен, не недемократичен в представлениях и чувствах и отчасти избавлен от наследственного характера европейских высших классов, он все же подлинный исторический наследник последних и доминирует над более слабыми классами во многом так же, как это всегда делали классы более сильные. Власть скапливается вокруг функций главенствующих институтов, и властвующий класс пользуется ей для извлечения своей индивидуальной и классовой выгоды. Достаточно, разумеется, просто открыть глаза, чтобы это увидеть. Сомневаюсь, что найдется хотя бы один город, деревня или поселок в сельской местности, где отсутствовала бы группа людей, образующая высший класс в этом смысле. Все сильнее, на мой взгляд, чувствуется, что класс, который доминирующая экономика под предлогом «несовершенной свободы конкуренции» или чего-то в этом роде предала забвению, составляет в действительности самую суть нашей проблемы.

Исходя из сказанного, нам представляется, что денежное оценивание есть социальный институт не меньше, чем государство или церковь, и что его развитие следует изучать не только с безличной стороны, но и в традициях и организации того класса, который преимущественно им управляет.

¹ Как на очень сильное утверждение о власти класса над возможностями и личными ценностями, выдвинутое консервативным экономистом, можно сослаться на трактовку этого предмета у проф. Сигера в: Seager H.R. Introduction to economics. – N.Y.: H. Holt & co., 1904. – § 138. Я бы не стал оценивать трудность перехода границ между классами так высоко, как это делает он.

СФЕРА ДЕНЕЖНОГО ОЦЕНИВАНИЯ (1913)*

Общая функция ценностей, как денежных, так и прочих, состоит в том, чтобы направлять энергии людей и социальных целостей, в которых люди сотрудничают. В этой статье я собираюсь разобраться в том, какую роль играют денежные ценности в этой функции, насколько они служат или должны служить движущей силой социальной организации и прогресса, что они могут делать и чего не могут. Это обсуждение, добавлю, опирается на точку зрения, предложенную в предыдущей статье¹, и состоит она в том, что деятельности денежного рынка, взятые в целом, образуют социальный институт, имеющий во многом тот же общий характер, что и другие великие институты, такие как церковь или государство.

Представляется очевидным, что специфической функцией денежного оценивания является генерализация, или уподобление, ценностей с помощью общей меры. Тем самым оно придает им широкую действенность и гибкость, и многообразные виды ценностей получают возможность свободно работать вместе в пределах всей социальной системы вместо ограничения сферы их действенности небольшой областью. А так как ценности репрезентируют силы общества, то в результате эти силы организуются в широком масштабе и получают возможность сотрудничать в рамках единого живого целого. Любая *рыночная* ценность, которую, допустим, я могу контролировать, перестает быть в своей применимости сугубо локальной и становится обобщенной силой, которую я могу

* Перевод сделан по источнику: Cooley Ch.H. The sphere of pecuniary valuation // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1913. – Vol. 19, N 2. – P. 188–203. В 1918 г. эта статья с небольшими изменениями вошла как глава 27 в состав книги «Социальный процесс». Перевод публикуется впервые.

¹ См. статью «Институциональный характер денежного оценивания» в этом сборнике. – *Прим. пер.*

применить повсюду. Если мне удалось заработать тысячу долларов, преподавая бактериологию, то я могу поехать на эти деньги в Европу, обменяв свое малопонятное знание на услуги, скажем, проводников в Альпах, которые о бактериологии даже не слышали. Схожим образом обобщаются и другие ценности, и в итоге мы имеем мобильность, позволяющую многочисленным видам ценностей, сведенным к общей мере, применяться везде и любым способом, который сочтет желательным их владелец.

Итак, перед нами ценностный институт, или процесс, который далеко превосходит в масштабах любой особый вид ценности и участвует в самых разных сторонах нашей жизни. Его функция схожа с функцией языка, а об идеале его можно сказать, что он делает для ценности то же самое, что и язык для мысли: дает универсальное средство коммуникативного роста. И точно так же, как язык и основанная на нем социальная организация расширяются в своем масштабе благодаря современным средствам дешевой печати, почты, телеграфии, телефонии и т.д., функция денежного оценивания расширяется благодаря единообразным деньгам и средствам кредитования и перевода до тех пор, пока естественные барьеры, созданные расстояниями, недостатком знания и отсутствием гомогенности, не будут по большей части преодолены.

Эта мобилизация ценностей посредством денежной меры ведет к тому, что последняя становится выражением всей жизни общества – в той степени, в какой ценности, поддерживающие эту жизнь, действительно мобилизуются или переводятся в денежное измерение. Хотя на самом деле перевод этот бывает лишь частичным и, как я попытался показать, институциональным, широта функционирования денежной ценности вкуче с ее точностью все же дают ей некое привилегированное право на то, чтобы быть массово принятой в качестве Ценности в том смысле, на который никакой иной вид ценности претендовать не может.

Это также дает денежной ценности то место регулятора социальной активности, которого для нее всегда требовали экономисты. Она дает мотив для служения денежному организму, который проникает повсюду, действует автоматически и тонко приспосабливается к условиям спроса и предложения. Если в Нью-Йорке хотят апельсинов, то предлагаются более высокие цены на них в Калифорнии и на Сицилии; если нужно больше дантистов, то в этой профессии растут вознаграждения и в нее устремляются молодые люди. Таким образом, везде возникает стимул к поставке тех благ и услуг, которые покупательная способность в обществе

считает нужными, и это побуждение существенно ориентирует производство. В каждой точке недостаточного предложения возникает своего рода втягивание, которое влечет имеющихся людей и материалы в эту точку и заставляет их работать.

Итак, в одной из главных своих сторон наша жизнь организуется этим центральным ценностным институтом, или рынком, во многом подобно тому как в других своих сторонах организуется через язык, церковь, семью и т.д.

Теперь мы подходим к вопросу об ограничениях, и здесь хорошо было бы рассмотреть в первую очередь взгляд, согласно которому сфера денежной ценности, как бы обширна она ни была, все-таки явным образом очерчена и заключена в особую и, в целом, низшую область жизни. Согласно этому взгляду, в деньгах измеримы лишь более грубые и материальные ценности, тогда как ценности более утонченные, как то красота, дружба, добродетель и т.п., являются по сути своей частными и непередаваемыми и, следовательно, недостижимы ни для какого обобщающего процесса.

Пожалуй, мы вряд ли согласимся с тем, что денежной области присуща такая четкая очерченность. Все ценности взаимно связаны друг с другом, и можно обоснованно утверждать, что ни одна из них не может существовать отдельно и быть совершенно несоизмеримой с другими. Идея общей меры, которую по крайней мере в каких-то целях можно применить ко *всем* ценностям, вовсе не абсурдна. Довод в пользу того, что такая мера возможна, можно сформулировать примерно так.

Поскольку функция ценностей – направлять поведение, то они по сути своей сопоставимы. Ведение себя означает совокупное, или синтетическое, поведение живого целого в связке с ситуацией и подразумевает интеграцию всех мотивов, относящихся к ситуации. Соответственно, когда в поведении возникает кризис, связанные с ним ценности, сколь бы несоизмеримыми они ни казались, каким-то образом приводятся к общей мерке и взвешиваются относительно друг друга с целью определить, в какую сторону склонится чаша весов. Это соизмерение психическое, а не количественное, и мы далеки от понимания его точной природы; но если каждый относящийся к делу вид ценности не получил в нем так или эдак свою долю, ум, видимо, не действует как живое целое. Если и есть абсолютные ценности, которые не могут быть ослаблены противодействием других ценностей и повлиять на которые оно никак не может, то они явно должны существовать где-то отдельно, а не в органической связи с

остальным разумом. Отсюда не следует, что мотив, который мы считаем высоким – например, чувство честности, – непременно должен быть преодолен достаточным накоплением низших мотивов, таких как чувственные желания; но мы можем быть готовы к обнаружению того, что если эти два вида мотивов будут противостоять друг другу, то последний будет так или иначе модифицировать поведение, требуемое первым, а так, на мой взгляд, обычно и бывает. Представим, например, что низшая ценность в виде искушения воюет с высшей, представленной в виде идеала. Даже если мы не уступаем первой ни пяди, даже если отшатываемся от нее, она все же таки вошла в нашу жизнь и помогла ее сформировать; так чувственность, например, помогает сформировать аскета.

Это взвешивание одного вида ценности в противовес другому будет происходить по большей части в терминах денег; они как раз и существуют для облегчения подобных трансакций. Так, честь – одна из тех ценностей, которые многие обычно выносят за пределы денежной сферы; но в то же время честь может требовать сбережения денег для оплаты долга, тогда как чувственность потратила бы их на роскошный обед. Следовательно, в этом случае мы покупаем свою честь деньгами или продаем ее, через посредство денег, в обмен на что-то низшее. Во многом так же выражены в деньгах и более масштабные альтернативы общества, например между властью, верной делу образования, и властью, ориентированной на войну. В общем, мы и в самом деле взвешиваем, индивидуально и коллективно, такие вещи, как дружба, праведность и красота, в противовес другим вещам, и делаем это в терминах денег. Красота выходит на рынок, пусть и недооцененной, в виде, например, музыки, искусства, литературы, цветов и жилых домов. Дружелюбная личность имеет рыночную ценность в торговых агентах, врачах, писателях и учителях – по существу, во всех занятиях, где важна способность оказывать влияние на людей, а она мало где неважна. Замечу, что если в человеке есть что-то привлекательное, то он в скором времени научается собирать плату за это. И не менее верно то, что потребность в праведности находит выражение в готовности платить за нее (разумную) цену на рынке. Убедительные проповедники и компетентные социальные работники получают жалованья; огромные суммы текут в благотворительные учреждения.

Истина в том, что ценности, которые мы считаем абсолютными, являются, если вы мне позволите воспользоваться таким выражением, лишь относительно абсолютными. Иначе говоря, они на-

столько превосходят ценности повседневного торга, что мы мыслим их как ценности совершенно иного порядка; но опыт показывает, что это не так. Сама жизнь не является абсолютной ценностью, ведь мы постоянно видим, как ее приносят в жертву другим целям; целомудрие из дня в день продают люди, по сути не сильно отличающиеся от нас; а что касается чести, то трудно представить, какой ее вид не мог бы быть отвергнут в тех или иных мыслимых ситуациях ради иной, возможно, более высокой цели. Представление о низменном характере помещения ценностей высшего порядка на одни весы с деньгами исходит из посылки, что деньги должны использоваться для покупки ценностей низшего рода; но если они служат незаменимым средством для более возвышенных ценностей, то такую сделку мы будем оправдывать. Такие обмены постоянно происходят; только люди, защищенные изобилием денег, могут вообразить иное. Матери жертвуют здоровьем ради денег, чтобы поддержать своих детей; сестры отказываются от социальных возможностей, чтобы отправить братьев учиться в колледж. В более состоятельных, по крайней мере, классах часто отказываются от жизни возможных детей по причине ее дороговизны.

Несомненно, есть индивиды, настроившие свои сердца на особые вещи, ради которых они будут идти на жертвы, невзирая едва ли не на все прочее. Это могут быть вещи возвышенные – любовь, справедливость и честь; часто это бывают вещи постыдные, как то алчность или эгоистические амбиции. И схожим образом нации и институты лелеют иногда ценности, являющиеся почти абсолютными, например ценность национальной независимости или авторитет Папы Римского. Однако в целом можно сказать, что практически все ценности могут стать денежными в том смысле, на который мы указали. Если A – любой индивид или социальный организм, а X и Y принадлежат к его наиболее ценимым объектам, то могут возникать ситуации, в которых ради Y при посредстве денег будет в той или иной мере приноситься в жертву X .

Итак, я делаю вывод, что четко отграничить денежную сферу от сферы других видов ценности невозможно. Всегда есть возможность того, что в нее будут втянуты высшие вещи наряду с низшими.

И все-таки все мы чувствуем, что у денежной сферы есть ограничения. Понять их характер можно, на мой взгляд, вернувшись к идее, что рынок – особый институт примерно в таком же смысле, как церковь или государство. В обществе в целом он обладает своей сравнительно обособленной системой примерно так же, как

и в уме каждого индивида. Наши покупки, продажи и сбережения, наши денежные схемы и стандарты создают в какой-то степени особый пучок мышления, часто кажущийся не связанным с другими пучками. Вместе с тем нам постоянно приходится приводить идеи из этого пучка в связь с идеями, для него внешними; и так же в обществе денежный институт пребывает в постоянном взаимодействии с другими институтами, и это взаимодействие часто принимает форму перевода ценностей. В общем, социальный процесс представляет собой органическое целое, довольно ясно дифференцированное на особые подсистемы, и денежная – одна из них.

Есть много историй, попадающих главным образом в эту систему, и их нужно изучать прежде всего с денежной точки зрения, не забывая, однако, о том, что ни одна социальная история не понимается по-настоящему, пока не увидено ее место как фазы общего процесса. Истории, которые я имею в виду, всегда рассматривались как особое дело экономиста: движение пшеницы с пшеничного поля на стол, за которым завтракают, путь железа из рудника в часовую пружину, истории социальных организаций, созданных для целей производства, торговли, банковского дела, финансов и т.д. Есть и другие истории – истории книг, образовательных учреждений, религиозной веры, научных исследований и т.п., – которые нужно понимать главным образом с других точек зрения, хотя они никогда не выпадают полностью за рамки денежных отношений.

Следовательно, если мы говорим, что почти любой вид ценности может иногда быть измерен в денежном выражении, то это вовсе не означает, что последнее является универсальным и адекватным выражением человеческой природы и общества. Напротив, денежная ценность есть в основном специализированный тип ценности, генерируемый в обособленном канале социального процесса и имеющий несомненные ограничения, вытекающие из этого факта. Попробую показать чуть подробнее, каковы некоторые из этих ограничений.

Отметим прежде всего, что сегодняшние денежные ценности вытекают из совокупного прошлого денежной системы, и, следовательно, в них неявно содержатся все неправильности, встроившиеся в эту систему раньше. Если материализованный правящий класс на коне, то этот факт будет выражен в больших доходах этого класса и в его контроле не только над механизмом рынка, но и, через престиж, над спросом, лежащим в основе его ценностей. Если частью этого института являются пьянство, детский труд, проституция и

коррупцированная политика, то спрос на них на рынке будет таким же настоящим, как и на все прочее. Разумеется, было бы глупо исходить из того, что рыночный процесс выражает *благо* общества. Спрос, на котором он базируется, – это мутный поток, текущий из прошлого и несущий с собой, нравится нам это или нет, определенный результат истории. Все пороки коммерциализма присутствуют в нем и передаются через спрос в производство и распределение. Принимать этот поток как чистый и реформировать только механизм распределения – все равно что городу брать питьевую воду из загрязненной реки и ожидать, что он избежит брюшного тифа, пользуясь чистыми трубами. У нас есть основания – как в теории, так и в наблюдении – ожидать, что наша денежная традиция и ценности, которые она выражает, будут нуждаться в реформе так же, как и все остальное.

Действительно, нельзя ожидать, что рынок, что бы мы ни делали для его реформирования, сможет когда-либо стать адекватным выражением идеальных ценностей. Это институт, а институциональные ценности по своей сути консервативны и репрезентируют уже достигнутые и утвердившиеся способности общества, а не те, которые юны и устремлены в будущее. Медленная кристаллизация исторических тенденций в институтах будет в лучшем случае плестись позади наших идеалов; того, что она будет идти в ногу с прогрессом, от нее ожидать нельзя.

Допустим, однако, на время, что спрос репрезентирует благо общества, и разберемся, насколько можно доверять рыночному процессу в том, что он осуществит это благо через денежный мотив.

Представляется ясным, что этот мотив может служить действенным руководством только в случае намеренного производства ради прибыли и при наличии права собственности на продукт. Производство должно быть намеренным, чтобы *любой* рациональный мотив мог его контролировать, и денежный мотив не будет контролировать его, если оно осуществляется не для прибыли и не защищено собственностью. Эти ограничения исключают настолько обширные области жизни, что нам впору удивиться степени своего доверия к рыночному процессу.

Они не допускают самого вопроса о производстве и развитии людей, человеческой и социальной жизни; иначе говоря, они показывают, что, как бы ни был важен денежный процесс в этой области, ему никогда нельзя довериться в контроле над ней, даже с

экономической стороны. Это сфера, в которой рынок должен быть подчинен другим видам организации.

Если взять два основополагающих фактора, наследственность и среду, как они формируют жизнь людей, то мы увидим, что нельзя ждать от рынка регулирования фактора наследственности как в том, что касается общего числа рождающихся детей, так и в том, из каких семейных групп они будут происходить. Знаю, некоторые до сих пор воображают, что здесь через экономическую конкуренцию эффективно работает «естественный отбор», но я сомневаюсь, что кому-либо известны факты, которыми можно было бы вразумительно подкрепить это воззрение. Что касается населения и евгеники, то здесь все очевиднее, что рациональный контроль и отбор, действующие по большей части вне рыночного процесса, незаменимы.

То же можно сказать обо всем воздействии среды на формирование личностей после рождения, включая семью, сообщество, школу, государство, церковь и неорганизованную работу внушения и примера. Ни один из этих формирующих агентов по самой своей природе не направляется адекватно денежным спросом. Последний, пусть даже его требования будут высокими, не дает никаких гарантий того, что люди будут производиться в соответствии с этими требованиями, ведь он не контролирует ход производства.

Заметим при этом, что даже в этой области рынок может оказывать на других агентов контроля существенное направляющее воздействие. Если, к примеру, некоторые виды работы не приносят прожиточного минимума, то это может быть оттого, что предложение данного вида работы избыточно, и государство или какая-то иная организация в ответ на это могут привести предложение в соответствие со спросом путем профессионального обучения и ориентации. Или методом реформы может быть наложение ограничений на спрос, как в случае установления минимальной заработной платы. Хотя сам по себе рыночный процесс неадекватен, обычно он будет в той или иной мере присутствовать в любом плане улучшений.

Личное и социальное развитие, вообще говоря, требует гораздо более масштабной рациональной организации, чем рынок, пусть даже она и будет сотрудничать с ним любыми полезными способами и включать, быть может, радикальные реформы в самой денежной системе. Трудно сформулировать принцип более ошибочный и вредный, чем учение о том, что последняя служит адекватным регулятором человеческой жизни или что ее процессы стоят выше регуляции.

Мы начинаем понимать, что господство подобных идей бросило нас в омут бесчеловечного коммерциализма.

То, что я говорил о людях и личностном развитии, применимо также к природным ресурсам и общественным усовершенствованиям, к искусствам, наукам и вообще более утонченным человеческим ценностям. В последних есть денежный аспект, и он более или менее важен, но сам по себе денежный спрос не может их породить и контролировать. Любовь, красота, праведность могут при некоторых условиях выходить на рынок, но не являются, в полном смысле слова, рыночными товарами. Примером нашей веры в деньги в наши дни является предложение денежных призов за поэзию, изобретения, продвижение дела мира и героические деяния. Не буду принижать значение этих наград. Их цель замечательна и иногда в высшей степени уместна. Они делают честь их авторам и разносят дух добра, даже если выбранный метод слишком наивен, чтобы быть эффективным. Если мы хотим, чтобы деньги ощутимо увеличили такую продукцию, их нужно направить, основательно и со всей возможной мудростью, на условия, формирующие характер.

На самом деле эти высшие блага не входят в экономическую сферу. Они соприкасаются с ней лишь случайно; их генезис и взаимодействие относятся главным образом к процессу иного порядка, процессу, в котором собственность и материальный обмен играют вторичную роль. Собственно экономическими являются те товары и ценности, весь ход производства которых таков, что задействованные в нем факторы подчинены законному владению и контролируются интеллектом, устремленным к деньгам; иначе говоря, это по существу денежный процесс. Так, можно сказать, что обычная машинопись является экономической, поскольку это простая, стандартная услуга, поставляемая в любом количестве соответственно спросу. Работа газетного репортера не является столь же явно экономической, поскольку в ней нет такой строгой стандартизации и остается больше простора для неуловимых достоинств, которые не может гарантировать оплата. Когда же мы подходим к журнальной литературе лучшего сорта, мы попадаем в такую область, где процесс по большей части неденежный, т.е. зависит от взаимной игры умов, находящихся вне рынка, а последний входит в дело лишь для того, чтобы установить свою очень спорную оценку продукта. Что касается в целом литературы, искусства, науки и религии, то никто из тех, кто сведущ в истории этих вещей, не станет утверждать, что важная работа в них имеет

хоть какую-то тесную связь с денежным стимулированием. Вопрос о том, был ли великий человек богатым и почтенным, как Рубенс, или работал в бедности и запущенности, как в поздние годы Рембрандт, представляет для нас лишь случайный интерес при прослеживании истории таких достижений. Идеалы и дисциплины, приводящие к последним, рождаются в неденежных зонах мышления и общения, и гений, если только он реально не голодает – а такое порой случается, – достигает своей цели по большей части невзирая на денежное воздаяние. Вряд ли нужно и добавлять, что хорошие оценщики всегда считали умеренную бедность тем условием, которое благоприятствует интеллектуальным и духовным достижениям.

Я приписал бы денежному оцениванию очень широкую и еще больше расширяющуюся сферу, но мы должны со всей ясностью заявить, что даже в своем наилучшем и масштабнейшем выражении она никогда не может быть адекватной основой для общей социальной организации. Это институт, у которого, как и у всех прочих, есть важные функции, но который, как и все институты, требуется подвести под рациональный контроль при помощи всеобъемлющей социологии, этики и политики. У него нет никакого права на автономию, никакого права на избавление от социального контроля.

Таким образом, даже если бы рыночные ценности были наилучшими из возможных в своем роде, мы не смогли бы отдать социальную систему им на откуп, и еще меньше мы можем сделать это тогда, когда данный ценностный институт, в силу быстрого и одностороннего роста, находится в несколько запутанном и деморализованном состоянии. Неся с собой не только общее наследие человеческого несовершенства, но также особые грехи узкого и несколько бесчеловечного коммерциализма, он никоим образом не отражает жизнь в том широком смысле, в каком рынок, при всей его ограниченности, мог бы ее отразить. Ценности высшего порядка остаются по большей части не переданными, даже если поддаются передаче, а материально-технические аспекты процесса приобретают несоразмерное господство. В общем, этот институт, как и другие, которые можно было бы назвать, находится в таком состоянии, что его оценки не являются заслуживающим доверия выражением общественного ума.

Имея в виду эти общие ограничения, наложенные на сферу денежной ценности, рассмотрим ее, в частности, как мотив, стимулирующий и направляющий работу индивида. С этой целью можно

отличить ее, в самом общем плане, от потребности в самовыражении, понимая последнюю предельно широко, как включающую все прочие влияния, побуждающие человека к производительному труду. Сюда вошли бы соперничество и целеустремленность, потребность в деятельности ради нее самой, любовь к мастерству и творчеству, порыв к утверждению своей индивидуальности и желание служить социальному целому. Такие мотивы глубоко проникают в самосознание человека, и для решения стоящих перед нами задач их можно отнести к потребности в самовыражении.

Правда, денежный мотив может также быть – косвенно – и мотивом к самовыражению; так, девушка может усердно работать за десять долларов, на которые сможет купить красивую шляпку. Вместе с тем имеет большое значение, является ли работа самовыражением *напрямую* или нет, ощущает ли работник то, что он делает, как радость и награду само по себе, как нечто такое, что стоило бы сделать независимо от того, заплатят за это или нет. Художник, поэт, искусный мастер по дереву или железу, прирожденный учитель или юрист – все имеют это чувство, и желательно, чтобы оно стало, насколько возможно, обычным. Допускаю, что четкой границы здесь нет, но, в целом, можно сказать, что денежный мотив здесь внешний, по сравнению с более внутренним характером прочих мотивов, которые я назвал мотивами самовыражения.

Когда я говорю, что самовыражение – регулятор производительной деятельности, я имею в виду, что, как и денежный мотив, хотя и иначе, оно является выражением органического целого, причем необязательно менее авторитетным. То, что человек чувствует выражающим его, вытекает отчасти из инстинктов человеческой природы, отчасти – из формы, приданной этим инстинктам той социальной жизнью, в которой развивается его ум. Оба этих влияния происходят из органической жизни человеческого рода. Гений, открывающий новые пути в поэзии и искусстве, социальный реформатор, проводящий свою жизнь в конфликте с бесчеловечными условиями, всякий и любой индивид, пытающийся реализовать нужды своего более возвышенного бытия, репрезентируют обычную жизнь человека на пути, который может быть более требовательным, чем настояния денежного спроса. Как мотив, он так же универсален, как и последний, и нет среди нас никого, кто не был бы способен это почувствовать.

Если говорить о самом индивиде, то самовыражение, вообще говоря, есть глубочайшая потребность его природы. Оно нужно для самоуважения и цельности характера, и не может быть вопро-

са фундаментальнее, чем вопрос о таком устроении жизни, при котором масса людей могла бы иметь шанс найти самовыражение в своей основной деятельности.

Эти два мотива связаны во многом так же, как и старые наши друзья – конформность и индивидуальность; на самом деле мы имеем дело с фазами одного антитезиса. Денежное оценивание, как и конформность, обеспечивает несколько механическое и внешнее правило: оно представляет социальную организацию в ее более эксплицитных и установленных фазах, и особенно, конечно, денежный институт, обладающий жизнью, несколько обособленной от жизни других сторон этого учреждения. Оно базируется на тех силах в обществе, которые легко переводимы в денежную форму: на богатстве, положении, установленных промышленных и деловых методах и т.д. Самовыражение же происходит из более глубоких и темных течений жизни, из подсознательных, немеханизированных сил, могущественных и без нашего понимания того, почему они таковы. Оно представляет человечность более непосредственно, и его ценности являются – или могут быть – более жизненными и значимыми, чем ценности рынка; мы можем обращаться к ним за искусством, наукой, религией, моральным совершенствованием, за всеми свежими порывами к социальному прогрессу. Все передовое в жизни обычно исходит от людей, чье повелительное самовыражение не принимает в расчет денежный рынок. При более скромных задачах самовыражение нужно для того, чтобы дать индивиду непосредственный и живой интерес к своей работе; это мотив искусства и радости, исток всех жизненных достижений.

Вполне может быть, что эти мотивы будут работать в гармонии друг с другом; в немалой доле случаев так на самом деле и происходит. Человек, работающий из-за того, что ему нужны деньги, приходит при благоприятных условиях к получению удовольствия и гордости от того, что он делает. Либо он берется за какую-то работу, потому что она ему нравится, и выясняется, что его рвение помогает ему финансово преуспеть. Думаю, мало кому из нас было бы достаточно одного только желания самовыражения для побуждения к регулярному производству. Большинство нуждается в стимуле даже для того, чтобы делать то, что приносит удовольствие, и уж во всяком случае – чтобы делать это систематически. Нам приходится что-то делать, и многие из нас достаточно удачливы, находя что-то такое, в чем можно себя выразить.

Рынок, видимо, оказывает мягкое давление на людей и направляет производство в определенную сторону, подстегивая лени-

вых и превращая нерешительность в наличные линии работы. Те, у кого есть ясное внутреннее призвание, должны сопротивляться этому давлению, как они, вообще говоря, всегда и делали; и они должны всегда это делать, чтобы у нас был прогресс. Этот конфликт между денежной системой и склонностями индивида, пусть в каком-то роде и неизбежный, не должен быть острым и деструктивным. Система должна быть настолько терпимой и гостеприимной, насколько это допускает ее институциональная природа. Ценности, как и общественное мнение, с которым они тесно связаны, должны постоянно взбадриваться, проясняться, расширяться и охватывать новые виды личных достоинств. Нет ничего ценнее для общества, чем высший вид самовыражения, и его нужно всемерно стимулировать и вознаграждать. Вполне возможны институты, не только терпимые к полезным видам неконформности, но и в какой-то мере предвосхищающие и приветствующие их.

Отсутствие самовыражения в работе, столь распространенное в наше время, имеет, видимо, два источника: характер работы, взятый сам по себе, и окружающие условия, влияющие на дух, в котором эта работа делается.

К первой категории можно отнести вызывающий отвращение и даже деструктивный характер многих задач, особенно когда они выполняются по многу часов кряду. В связи с этим возникает вопрос, насколько денежный спрос, навязывающий такие задачи, можно предотвратить и насколько его действие можно контролировать. Во вторую категорию входит отсутствие того ощущения свободы, перспективы и служения, которое легко сделало бы работу, в ином случае отталкивающую, самовыразительной.

Денежная оценка, представленная предлагаемым заработком, никогда не даст нам ни хорошей работы, ни довольных людей, пока не соединится с условиями, при которых человек, чувствуя, что его задача – это в каком-то смысле *его* задача, мог бы вложить в нее свою душу. Это была бы своего рода промышленная демократия – контроль над условиями труда со стороны государства или профсоюзов, кооперация, социализм, – т.е. что-то такое, что дает индивиду человеческую причастность к промышленному целому, членом которого он является.

С этим тесно связано чувство достойного служения. Никто не может почувствовать, что выражает самого себя в своей работе, если не верит, что это хорошая работа, и не видит, что она служит человечеству. Производя тривиальный или низменный продукт, человек вряд ли может себя уважать, и спрос на такие вещи является, как

говорит Рескин, спросом на рабство. Такой же эффект будет и в случае, когда он считает, что работодатель, на которого он трудится и который непосредственно черпает выгоду из его трудов, алчен сверх всякой меры и не работает честно на общее благо. Больше всего от таких работодателей страдают люди, которые на них работают, и неважно, высокая у них заработная плата или низкая.

Достоинством внимания и многообещающим в плане улучшения является то, что преобладание духа искусства обычно примиряет самовыражение с запросами рынка, делая первое объектом денежного спроса. Разумный спрос на искусство – это спрос на самовыражение работника в его работе; и в той мере, в какой он получит распространение, он будет, по крайней мере в сфере художественных продуктов, вытеснять тот мертвый, бесчеловечный вид труда, который преобладает в наше время, и приносить что-то такое, в чем есть дух индивидуальности и радости. При всем при том вряд ли возможно, что большинство работ смогут когда-либо стать художественной работой, и самовыражения в большинстве из них следует, вероятно, искать в свободном и самоуважительном отношении к своему труду – подразумевающим более демократический контроль, чем тот, который мы имеем сегодня, – а также в умеренной продолжительности рабочего времени, гарантиях занятости и сознании социального служения.

Что касается общей связи, имеющейся между рыночной ценностью и самовыражением в наше время, то, видимо, мы имеем примерно следующее. Наша промышленная система пережила необычайную экспансию и почти полное изменение ее характера. В ходе этого человеческую природу, если можно так выразиться, таскали за волосы. Она была приведена или насильно втащена в виды работы и условия труда, для нее отвратительные, особенно отвратительные в свете развития интеллекта и демократии в других сферах жизни. Движущей силой всего этого был денежный мотив, поддержанный отсутствием альтернатив. В этом денежном мотиве нашла отражение система ценностей, сложившаяся под прямым или косвенным господством торгового класса, естественным образом восторжествовавшего в такую эпоху. Не буду говорить, что вследствие подобного положения вещей состояние работников физического труда ухудшилось по сравнению с прошлым; с каких-то сторон оно, видимо, ухудшилось, во множестве других – явно улучшилось; но оно точно далеко от того, каким должно быть в свете необычайного развития человеческих ресурсов.

В экономической философии, возобладавшей в ходе этой экспансии, денежный мотив был принят в качестве законного принципа промышленной экспансии в ущерб самовыражению. Но нельзя безнаказанно так обращаться с человеческим Я; оно утверждает себя в общем недовольстве и множестве особых форм организованных усилий. Коммерциализм, принимающий в качестве удовлетворительных нынешние ценности и метод их утверждения, явно пошел на спад, и мы приступили к работе, призванной построить более самовыразительный порядок.

Несмотря на недостатки денежного оценивания, характер современной жизни, похоже, требует расширения сферы его применения: видимо, дело в каком-то смысле обстоит так, что принцип, согласно которому все имеет свою цену, будет скорее разрастаться, чем сужаться. Все расширяющаяся и все более взаимозависимая система, в которой мы живем, требует для своей организации соответствующего ценностного механизма – точно так же, как требует механизма транспорта и коммуникации. А это значит не только то, что ценностный посредник должен быть единообразен, гибок и устойчив, но и что самый широкий круг ценностей должен быть в него переводим. Чем шире этот круг, тем полнее рынок начинает выражать цели общества и питать их энергией. Это могущественный агент, и чем больше хорошей работы мы сможем от него получить, тем лучше. Его ограниченность, таким образом, не дает нам оснований полагать, что он не имеет ничего общего с идеалами или моралью. Напротив, метод прогресса в каждой сфере состоит в том, чтобы высшие ценности были переданы в работающие институты, а последние при этом удержаны в состоянии подъема. Как право существует для формулировки и проведения в жизнь некоторых сторон праведности и постоянно подвергается критике и ревизии на основе моральных суждений, точно так же должен претерпевать постоянное обновление свыше каждый институт, особенно денежная система. Последняя должна всегда находиться в процессе моральной регенерации, и метод, отделяющий ее от этической сферы, пусть и оправданный, возможно, для ряда специальных исследований, становится вредным, когда ему дается более широкое применение. Что до отзывчивости к моральным требованиям, то между денежным оцениванием и государством, церковью, образованием или любым другим институтом нет никакой принципиальной разницы. Мы не можем ждать от наших денежных ценностей того, что они станут для нас идеалом, как не можем ожидать этого и от наших законов, проповедей или академи-

ческих лекций, но мы можем их улучшать, и делается это путем вывода высших ценностей на рынок.

Иначе говоря, то, что денежные ценности не выражают высшую жизнь общества, создает моральную проблему, которая может решаться в равной мере двумя способами. Первый – обесценить денежное оценивание вообще и попытаться обрушить его престиж. Второй – признать за ним очень важное место в жизни, даже более важное, чем то, которое оно занимает в настоящее время, и попытаться регенерировать его посредством перевода в него более высоких ценностей. Первый способ аналогичен той несколько устаревшей форме религии, которая отдавала этот мир в руки дьявола и сосредоточивала все усилия на том, чтобы отстраниться от него и подготовиться к совершенно иному миру, который будет обретен после смерти. Мир и плоть, от которых в реальности нельзя было убежать, оставались в состоянии безнадзорного и мятежного роста.

Схожим образом, чувствуя, что денежные ценности дают во многих отношениях превратное отражение жизни, принижающее ее, мы склонны изгонять их из этической сферы и относить к области низшего. Цена вещи, говорим мы, есть вопрос материального порядка, не имеющий ничего общего с ее высшими ценностями, да и не могущий иметь. Но это плохая философия и для экономики, и для религии. Денежные ценности – члены той же общей системы, что и моральные и эстетические ценности, и частью их функции является вывод последних на рынок. Разделять их – значит, покалечить те и другие и нанести вред самой жизни, парализовав здоровый взаимобмен между ее членами. Дорога нашего прогресса пролегает, по крайней мере отчасти, не над коммерциализмом, а через него; доллар должен быть скорее реформирован, чем подавлен. Наша система производства и обмена – очень большое достижение, и не столько с механической стороны, сколько в плане заключенных в ней социальных возможностей. Наша следующая задача состоит, видимо, в том, чтобы осуществить эти возможности, расширить и гуманизировать эту систему, подведя ее под руководство всеобъемлющей социальной и этической политики.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (1918)*¹

В прошлом я претендовал в какой-то мере на то, чтобы зваться экономистом, получив в 1894 г. докторскую степень в этой области. Посвятив себя с тех пор занятиям социологией, я лишь недавно попытался восстановить свои экономические позиции, почитав книги, пользующиеся сегодня наибольшим вниманием. Следующая статья – своего рода общий комментарий к этому чтению.

Наука и философия наших дней стремятся видеть все как часть процесса, как нечто вырастающее под действием установившихся законов из прошлого и порождающее таким же образом будущее. Что все это должно означать применительно к экономике? Чего нам следует ожидать от учения об экономическом процессе? Такое учение должно, конечно, охватить что-то соответствующее теории производства, обмена, стоимости, конкуренции и т.п., которую мы сегодня изучаем по учебникам, но также должно сделать гораздо большее: оно должно показать эти непосредственные процессы как устойчивые и постижимые части экономического процес-

* Перевод сделан по источнику: Cooley Ch.H. Political economy and social process // J. of political economy. – Chicago (IL), 1918. – Vol. 26, N 4. – P. 366–374. Впервые был опубликован в журнале: Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2018. – № 3. – С. 142–151.

¹ Этот доклад был прочитан перед небольшой группой студентов и преподавателей в 1910 г. Некоторые из моих слушателей стали влиятельными учителями и авторами, и их острый интерес, усиленный дымкой ретроспективы, навел меня на мысль его опубликовать. В нем никогда не было ни капли претензии на компетентную критику политической экономии, и многое я сказал бы иначе, если бы писал этот доклад сейчас. Однако я не могу сказать, что считаю его по существу неверным, глядя с высоты сегодняшнего положения дел.

са в целом и должно позволить нам понять их человеческую значимость и разумно действовать по отношению к ним. Практическое руководство – вот чего вправе мы требовать от каждой социальной науки; и чтобы мы могли это получить, ее особые явления должны быть увидены в свете широких их связей. Следовательно, адекватное учение должно как можно шире учесть экономическое движение для рационального социального действия, направленного на экономическое благополучие. Когда экономика оказывается в этом не на высоте, она не выполняет свою существенную функцию; но даже если она и не на высоте, даже если эту функцию невозможно выполнить немедленно, саму ее нельзя ни на миг отбрасывать как идею; мы должны держать эту идею в поле зрения и не довольствоваться никакими ее заменами.

Что можно сказать о нынешней трактовке процесса, которую мы находим в учебниках и сегодняшних дискуссиях? Похоже, это почти всецело краткосрочное изучение механизма, примечательное с точки зрения проработанности в рамках ограниченной области, но ничем не примечательное с точки зрения широты и света, проливаемого на более широкую экономическую и социальную значимость того механизма, который в ней рассматривается. Дабы передать впечатление, оказываемое этими исследованиями на того, кто после долгого воздержания снова к ним возвращается, могу сказать, что экономист-теоретик походит на человека, наблюдающего только секундную стрелку часов; он тщательно отсчитывает секунды, но вряд ли способен сказать, который час.

Могут сказать, что у нас есть еще историческая школа экономики, обращающая особое внимание на изучение более крупного процесса. Я не могу со знанием дела ее обсудить, только отмечу по ходу дела свое впечатление, что ее методы слишком эмпирические, чтобы дать нам сколько-нибудь большие надежды на адекватное учение о процессе. На мой взгляд, нам нужна теория, но это должна быть теория, которая, не теряя из виду существенные результаты текущей экономики, настолько расширит их, чтобы они отвечали в какой-то степени уже названным требованиям. Сегодня никто не сможет сказать, насколько возможна теория политической экономики, включающая адекватное учение о процессе; ни одно достойное начинание не гарантирует успех; но я не вижу никаких причин предполагать, что эти трудности непреодолимы.

Дабы объяснить свое ощущение неадекватности нынешних дискуссий о процессе, позволю себе привести кое-какие замечания по

поводу них с точки зрения ряда основных вопросов, начиная со спроса. Разве я не прав, говоря, что экономисты-теоретики на практике отталкиваются от спроса как от некоей данности, а если и возвращаются к его подоплеке, то делают это столь отрывочно и вполсилы, что никаких серьезных результатов ожидать не следует? Спрос представляется как то, чего люди хотят, а если в том, чего люди хотят, есть что-то неправильное, то это списывают на испорченность человеческой природы. Принимать спрос как данность в целях интенсивного изучения рыночных процессов – вполне уместно; но на практике этот метод слишком часто сводится к тому, что спрос полагают как оправданный и как оправдывающий все экономические условия, вносящие действенный вклад в его удовлетворение.

Что такое спрос? Это лишь выражение экономической власти и воли, определенное всеми существующими условиями. Он настолько же следствие, насколько и причина действительного состояния экономической системы. Как и все унаследованное нами, он приходит к нам из прошлого в мутном потоке, приносящем с собой все те противостояния и компромиссы, которые составляют человеческую историю. Все пороки экономической системы, за исключением привносимых рыночным процессом, уже неявно заложены в спросе и, разумеется, передаются в производство и распределение. Принять этот поток как чистый – все равно что городу черпать питьевую воду из загрязненной реки, ожидая, что удастся избежать брюшного тифа с помощью чистых труб. Трубы – т.е. процесс, связывающий спрос и предложение, – предмет величайшей заботы для экономиста, источник же сравнительно мало для него значит.

Относительно спроса как выражения существующих условий отметим, например, что это по большей части классовый феномен. Из статистики доходов, собранной в Англии и Германии в целях налогообложения, видно, что примерно одна десятая часть населения получает половину совокупного дохода¹. Мы, несомненно, должны предположить более высокий процент сбережений в более состоятельных классах, но я не уверен, что здесь нет смещения, вызванного существенным занижением крупных доходов. Судя по обычным наблюдениям, мне кажется правильной и не чрезмерной догадка, что одна десятая часть населения современного коммерческого государства потребляет половину его продукции. Если это так, то спрос в основном определяется экономиче-

¹ Эта цифра, несомненно, слишком мала. Недавние исследования показывают, что 20% было бы ближе к истине.

ской властью и волей примерно этой части людей, и это состояние можно объяснить, только приняв во внимание достаточно крупный экономический процесс, включающий множество сил, приводящих к такой концентрации власти. Пригодна ли эта одна десятая для подобного господства над всем процессом – это у меня нет времени здесь разбирать; очевидно, какие-то доводы можно было бы привести в пользу того и другого. Это означает внушительную растрату и неверное направление общественных ресурсов, но в то же время укрепление важных интересов, которыми более равное распределение власти могло бы, вероятно, пренебречь.

Вряд ли надобно иллюстрировать утверждение, что спрос несет с собой все пороки и вырождение действительной социальной системы: он требует пьянства, проституции, детского труда и коррумпированной политики так же громогласно, как и более хороших вещей. Вытекает ли это из прирожденной испорченности человеческой природы? В каком-то смысле да, в другом же это результат самого экономического процесса, и экономист, если он хочет выполнять свою функцию, должен понимать, как этот процесс обычным образом все это производит.

Представляется ясным, что исходить из спроса как данности – значит, избегать наиболее жизненно важных вопросов, в том числе экономических, в прояснении которых нуждается общество. В самом деле, вряд ли можно представить метод порочнее, чем ограничиться процессом, обеспечивающим связь между спросом и предложением, предоставив читателям сделать вывод, а то и веле-речиво говоря им о том, что экономическое добро или зло следует искать всецело или главным образом в большей или меньшей эффективности этого процесса. Проблему при этом вообще не затрагивают, а самые далеко идущие выводы достигаются якобы точными методами.

Наверное, самый примечательный пример этой ошибки мы находим в том, как некоторые влиятельные американские экономисты трактуют распределение. Они берут производительность в ее рыночной оценке как справедливое или близкое к справедливому основание распределения и, тем самым, принимают спрос вместе со всем, что из него вытекает, за стандарт экономической справедливости¹. По поводу следующего их довода (на мой взгляд, очень

¹ Хотя большинство экономистов, на мой взгляд, отвергают в настоящее время эту теорию, она, как мне кажется, неявно предполагается в значительной части нынешнего преподавания.

спорного), что конкуренция действительно дает или стремится дать каждому человеку или агенту долю, пропорциональную его производительности, мне в данный момент нечего сказать; отмечу лишь недалекость этого допущения. Если сам спрос организован неправильно – а в значительной мере так оно и есть, – то даже эффективный процесс может всего лишь связать людей в этой неправильности. Достаточно привести случай девушки, сравнивающей заработка от рукоделия с заработками от проституции, или детей, втянутых до наступления зрелости в монотонный и останавливающий развитие труд, чтобы было ясно, что я имею в виду. И это не исключительные случаи; они типичны для значительной части того, как на самом деле работает спрос. Нетрудно показать, что общество может быть мысленно вполне справедливым по критериям этих экономистов, но при этом порочным, упадочным, с половиной населения, погрязшей в безнадежной нищете. Пороки и роскошь при этом исправно распределяются согласно закону производительности, а растущая бедность оправдывается растущей неэффективностью, естественным образом ей сопутствующей.

Ошибочность всего этого вытекает, разумеется, из фрагментарного видения экономического процесса. Ум движется в узком кругу, из которого исключены наиболее важные жизненные факты. В крайнем случае, как мне кажется, реально функциональная экономика рассмотрела бы предельно широко возможности дегенеративного общества и то, как можно было бы использовать его ресурсы, чтобы это в целом способствовало экономической регенерации. Но столь же широкого рассмотрения требует и частичная дегенеративность нашего порядка.

Обычный экономический анализ не дает никакой основы для суждения о социальной ценности нынешнего распределения богатства; с равным успехом можно судить о социальной ценности человека по эффективности его пищеварения. Этот анализ выявляет силы, которые должны приниматься в расчет – и в этом его реальный вклад, – но ими охватывается только малая часть экономической ситуации. И именно более или менее завуалированные этические претензии узкой школы экономических аналитиков призывают нас задуматься о том, к добру их влияние или к чему-то совсем другому.

Перейду к некоторым замечаниям по поводу конкуренции, которая, если правильно ее понять, составляет самую суть экономического процесса. Хотя экономисты это и признают, рискну усомниться в том, что они хотя бы в какой-то степени достигли

понимания конкуренции, по-настоящему схватывающего ее экономическую функцию и связь с другими социальными процессами. Политическая экономия с самого начала абстрагировала конкуренцию от других фаз социального движения, истолковав ее в сугубо индивидуалистическом ключе и превратив ее, в этом узком смысле, в своего рода идеал. Она не показала ее в ее реальной сути, как часть процесса прогрессивной организации, в котором конкуренция и комбинация являются комплементарными фазами социальной адаптации. Конкуренцию обособили и идеализировали. Комбинацию же сочли всего лишь источником помех и трактовали с помощью метода, очень естественного там, где не согласуются факт и теория. Я назову его методом доктринальных заплат.

В политической экономии вряд ли содержатся хотя бы начатки учения об экономической организации в широком социальном смысле; и это кажется мне главным ее недостатком. В его отсутствие феномены организации оказываются для нас по большей части неожиданными и непонятными, а экономическая их трактовка, если вообще есть, похожа на лоскутное одеяло, а не на согласованную часть системы. Последняя все еще индивидуалистична и статична. Учение об организации, давно уже назревшее, не может быть чем-то недостижимым. Некоторые неортодоксальные экономисты, такие как Дж.А. Гобсон и наш профессор Г.К. Адамс, сделали даже кое-что серьезное в этом направлении.

Вернемся к конкуренции. Думаю, для узкого взгляда экономистов на социальный процесс характерно внутреннее противоречие, заключенное в том, что свободная конкуренция считается *статическим* состоянием. На самом деле статическое состояние — как раз то, что должно разрушать свободную конкуренцию и порождать ригидный и неконкурентный вид организации. Свободная конкуренция, поскольку она существует, является феноменом социального изменения и может рассматриваться как нечто само собой разумеющееся и нормальное только во времена общего преобладания нефиксированных условий. В той мере, в какой общество кристаллизуется и приближается, хотя бы в какой-то степени, к статическому состоянию, свободная конкуренция исчезает.

Вообще говоря, в интересах конкурентов «быть вместе». Есть также естественное преимущество в положении, позволяющем владеть той или иной функцией, которое при определенных условиях тяготеет к монополии. И положением вещей, наиболее враждебным этим силам, является такая степень экономической нестабильности, при которой у них не оказывается ни достаточно

времени, ни достаточно прочной основы для выработки их естественных продуктов. Условиями же, благоприятствующими их «бытию вместе» и монополии, являются условия статичные, представляющие для этого время и прочную основу.

Вовсе не будучи «естественной» для устоявшихся условий, свободная конкуренция может сохраняться в таких условиях лишь постольку, поскольку становится осознанным объектом общественной воли. Единственными гарантиями ее сохранения служат, во-первых, тот факт, что некоторые динамические элементы, такие как неравенства в способностях индивидов, не могут быть полностью подавлены, и, во-вторых, намеренное поощрение конкуренции такими методами, как бесплатное общественное профессиональное образование и общественный контроль со стороны крупных отраслей, профсоюзов и т.п. Доктрина неограниченной конкуренции индивидов и небольших объединений как нормального состояния была навязана экономистам дезинтегрированными условиями, естественными для переходной, чрезвычайно динамичной эпохи, в которую они жили. Вживание ее в учение о статичной экономике не может не показаться исследователю более широкого процесса совершенно безосновательным. Эта концепция содержит элементы, принципиально друг с другом не согласующиеся.

Теперь я подхожу к доктрине общественного контроля. У меня есть впечатление, что экономисты трактуют его как предмет, отдельный от экономического процесса, как лоскуток, который можно к нему как добавить, так и не добавить, но который, во всяком случае, имеет внешнюю и чуждую ему природу. Сомневаюсь, пойдем ли мы эти вещи, пока не придем к воззрению, позволяющему увидеть общественный контроль как нормальную и неотделимую часть самого экономического процесса, которая росла с его ростом в прошлом и обещает делать то же самое в будущем. Разве не выделили экономисты некоторые фазы общественного контроля, к которым они привыкли, такие как существующие законы о собственности, договоре и наследстве, приняв их как нормальные, а другие рассматривая как исключительные, как более или менее оправданные «помехи»? Разве не факт, что здесь имеет место непрерывный социально-политический процесс, который нельзя понять иначе, нежели как целое, и что названное мной только что ограничение, попросту говоря, произвольно?

Иначе говоря, политическая экономия отводит обширную сферу рациональному контролю в его индивидуальном аспекте,

делая его частью своей системы, и при этом игнорирует, или отделяет как помеху, то же самое в его коллективном аспекте. Однако рациональное самонаправление, будь то индивидуальное или коллективное, должно рассматриваться с философской точки зрения как высшая фаза жизненного процесса; более того, эти две фазы соотносительны и, в целом, развиваются *pari passu*. Политическая экономия не только признает, но и преувеличивает индивидуальную рациональность, полагая в ней почти идеальную эффективность, и в то же время она оставляет за дверью соотносящийся с ней феномен коллективной рациональности. Эти две стороны насильно разлучены: одна отвергается, другая – принимается, гипертрофируется, обособляется и формализуется. Разумеется, полученная таким образом концепция совершенно нереалистична.

Отношение теоретиков-экономистов доминирующей школы к этике, на мой взгляд, по сути своей не отличается от отношения доброго банкира к филантропии. Он готов давать деньги на благие дела, но настаивает, чтобы ее принципы ни в коем случае не смешивались с принципами банковского дела. Филантропия и этика – опция, личное дело, вопрос чувства. Я же утверждаю, что хотя эта установка и может иметь некоторые оправдания как метод абстракции при проработке деталей, она оказывается узкой и разлагающей, когда применяется к большим принципам любой социальной науки. Что собой представляют этические цели в обществе? Это просто рациональные цели, репрезентирующие идеал эффективной всеобщей организации. Есть склонность отодвигать их в сторону как вопрос чувств, а не интеллекта, но если взглянуть на суть дела повнимательнее, то мы увидим, что когда речь заходит о чувствах, все мы оказываемся в согласии; мы знаем, что хотим справедливого, доброжелательного и обнадеживающего общества. Принимая это на веру, мы обнаруживаем, что на практике этика создает для нас интеллектуальную проблему – проблему принципов, в следовании которым мы можем достичь целей, которых все желаем, Социальная наука, не являющаяся в своих опорных принципах этической наукой, неверна своей глубочайшей ответственности, своему обязательству функционировать в помощь общему прогрессу. Я не говорю, что экономика на практике совсем неверна этому обязательству; но я не уверен, что то, что она делает, вытекает не из простодушного здравого смысла и добрых чувств экономистов, а из принципов их науки. Этические соображения в экономических учебниках, насколько я заметил, являются лоскутками, а не органической частью учения.

В центре всего изучения социального процесса находится, несомненно, вопрос прогресса, вопрос развития рациональной, действенной, человеческой организации. Это по существу этический вопрос, и любая социальная наука, пропитанная адекватным представлением о процессе, должна так считать. Экономист должен специализироваться на экономическом аспекте прогресса, но если он делает это так, что принципы его науки отделяются от принципов общественной этики, то это, на мой взгляд, фатально плохо.

В целом оригинальная, но ограниченная наука политической экономии, видимо, занимается социальным процессом почти исключительно в его непосредственных и сиюминутных аспектах — таких как формирование рыночной стоимости, — и вообще не является, в широком смысле, наукой о процессе.

Мне пришел на ум вопрос, не является ли дух политической экономии по большей части до-дарвиновским? Не находится ли традиция, сформировавшаяся под влиянием индивидуалистической, неэволюционной философии, до сих пор на подъеме, лишь модифицируясь по ходу дела несколько поверхностными применениями доктринальных лоскутков? Мне, во всяком случае, ясно, что дух американских теоретиков, каким мы его находим у самых авторитетных авторов, чужд той концепции органического процесса, которая преобладает в нынешней философии, биологии и, отчасти, социологии. Меня удивило, что в наши дни могут выходить в свет работы, настолько статические и индивидуалистические по своей сути, как работы — и —¹. В экономике явно присутствует своя атмосфера, способная защитить ее приверженцев от отвлекающих инноваций.

¹ Я предпочитаю опустить имена авторов, которых имею в виду, поскольку этот абзац относится к ним не больше, чем к другим. На мой взгляд, все это относится едва ли не ко всей совокупности зрелых теоретиков, обладающих тем, что можно назвать авторитетным академическим положением.

КОРНИ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ (1926)*¹

Если мы хотим получить широкий взгляд на знание, то должны, как мне кажется, рассмотреть его с точки зрения генезиса, проследив его истоки в человеческой природе и человеческой истории. Знание, в конце концов, есть фаза высшей органической эволюции, и очевидно, что развилось оно ради его функции, позволившей нам приспособиться к условиям, в которых мы живем, и обрести власть над ними. Если в этих условиях присутствует какое-либо фундаментальное разделение по роду, то следует ожидать, что соответствующее разделение проявится в способностях человеческого ума и в знании, основанном на этих способностях.

В сущности, условия, с которыми уму приходится и приходилось иметь дело с тех пор, как жизнь стала человеческой, довольно четко делятся на два рода: материальные, с одной стороны, и человеческие, или социальные, – с другой. Нам всегда нужно было понимать как вещи, так и людей, и даже самый примитивный дикарь, хотя может время от времени их путать, все же вполне сознает, что они различаются, и понимать их нужно по-разному.

Это разделение заложено в глубинах нашего опыта и соответствует схожему разделению в нашем умственном аппарате. Для внешних контактов у нас есть разные органы чувств, а также в последнее время расширение и совершенствование этих чувств

* Перевод сделан по источнику: Cooley Ch.H. The roots of social knowledge // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1926. – Vol. 32, N 1. – P. 59–79. Впервые был опубликован в журнале: Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2017. – № 4. – С. 129–151.

¹ Президентское обращение к Мичиганской академии науки, искусства и словесности, прочитанное 31 марта 1926 г.

с помощью того, что было удачно названо «инструментами точности»; благодаря им стали возможны точные науки. Для внутренних контактов у нас есть обширный и малопроницаемый багаж человеческих восприимчивостей, известных как инстинкты, чувства, эмоции, влечения и т.п., так же прочно укорененный в эволюционном процессе, как и органы чувств, способный расширяться и совершенствоваться собственными способами и порождающий тот особый род знания, который мы признаем специфически человеческим и социальным.

Возможно, вы скажете, что любое знание, будь то вещей или людей, приходит к нам через органы чувств и что, стало быть, разделение, о котором я говорю, – это плод воображения. Действительно, любое знание требует того или иного рода и той или иной степени чувственной активности, однако функция этой активности в материальном, или пространственном, знании, с одной стороны, и в человеческом, или социальном – с другой, совершенно различна. При обращении с вещами чувственное восприятие служит основным источником сырого материала, который ум превращает в знание; при обращении с людьми оно служит главным образом средством коммуникации, каналом входа для символов, которые пробуждают сложную внутреннюю жизнь, в основе своей вообще не чувственную. В одном случае это главный наш инструмент, в другом – только вспомогательный. Когда я, повстречав незнакомца, сужу по его лицу, манере и голосу, что это человек дружелюбный и культурный, и воспринимаю в какой-то мере по его словам работу его ума, чувственные образы подобны стартеру в автомобиле; они запускают процессы более сложные и могущественные, чем они сами, и из них в итоге в основном и складывается знание.

Итак, с точки зрения стоящей перед нами задачи можно провести различие между двумя видами знания. Первый – это развитие чувственных контактов в знание вещей, в том числе его совершенствование и превращение в измерительную науку. Я называю его пространственным, или материальным, знанием. Второй вид развивается из контакта с умами других людей посредством коммуникации, запускающей в нас процесс мышления и чувствования, схожий с их процессом, и позволяющей нам понять их через приобщение к состояниям их ума. Это знание я называю личностным, или социальным. Его можно описать также как симпатическое, а в более активных его формах – как драматическое, поскольку обычно оно состоит в визуализации поведения, сопровождающейся представлением в воображении соответствующих ментальных процессов.

В социальном знании нет ничего таинственного или неведомого, кроме того, что нам, возможно, непривычно осознавать его и думать о нем. И у ребенка, и у человеческого рода оно появляется так же рано, как и материальное знание; оно так же полезно в повседневных жизненных делах и так же универсально принимается здравым смыслом в качестве реального. Если некоторые люди науки не понимают, что оно по роду своему отлично, и склонны считать его пространственным знанием, находящимся в несовершенном состоянии и обреченным на последующее улучшение при помощи более тонких измерений, то это, несомненно, потому что они подходят к делу с априорными концепциями, присущими физическим исследованиям. В отношении социальных явлений простая пространственная концепция знания указывает на абстрактный способ мышления, не видящий фактов. В этой области она расходится со здравым смыслом. Все мы знаем, что самое существенное в наших связях с другими людьми не поддается количественному измерению.

Уверен, никто не заподозрит меня в том, что я отстаиваю какой-то там метафизический дуализм разума и материи. Для цели, которую я перед собой ставлю, нет надобности принимать чью-то сторону в этом вопросе. При этом сам я нисколько не сомневаюсь, что у всех явлений, связанных с социальным знанием, в том числе интроспекции, имеются физические параллели в мозге и нервной системе. Теоретически эти физические факты можно физически измерить, но когда мы принимаем во внимание их мелкость и недоступность, вероятность того, что они будут измерены в пространственном смысле, представляется весьма отдаленной. На практике мы должны выходить на них через сознание и через внешнее поведение.

Пространственное знание, как известно, было расширено и уточнено процессами измерения, калькуляции и умозаключения, и отсюда родилась точная наука. Обычно соглашались, что знание этого рода верифицируемо и кумулятивно, благодаря чему возможно то постоянно разрастающееся здание проверенных фактов, которое относится к числу величайших человеческих достижений. Пожалуй, есть смысл коротко остановиться на том, откуда происходит эта особая верифицируемость.

Она проистекает, на мой взгляд, из того, что этот вид знания состоит, по существу, в измерении одной материальной вещи через другую, и человек с его чувствами и рассудком служит лишь медиатором между ними. Тогда если группе исследователей удастся достичь согласия по поводу техники измерения, она может двигаться вперед, добиваясь результатов и передавая их от человека к челове-

ку и из поколения в поколение, невзирая на причуды человеческой природы и социальной жизни. Когда оказывается возможным это техническое согласие, происходит накопление знания. При этом мы должны, разумеется, различать непосредственные результаты измерения и корпус гипотез и теории, который постоянно из них вырастает. Наука дает нам факты, из которых интеллект старается выстроить истину. И то, что мы считаем истинным, даже в пространственных науках, является по большей части общественным делом, зависящим от общего движения мысли. Группа ученых, знакомая с предшествующими исследованиями в данной области и вооруженная надежной техникой, — лучший из имеющихся у нас инструментов поиска истины и один из замечательнейших продуктов нашей социальной системы; при этом он, конечно, далек от непогрешимости. Все группы обладают корпусом верований, которые принимаются как данность просто потому, что никто их не оспаривает, и часто оказываются иллюзиями. Согласие индуцируется конформирующими влияниями, не очень-то сильно отличающимися от тех, которые действуют в религии или политике. Короче говоря, ни одна группа не является заслуживающим доверия критиком собственных умозаключений, и только проверка временем и придиричливой критикой с совершенно иных точек зрения способна определить ценность ее вклада. Было много групп, состоявших из очень умных людей, работавших усердно и с полной уверенностью в том, что они находятся на верном пути, которые, как мы теперь видим, заблуждались. И хотя научные методы стали, несомненно, совершеннее, было бы глупо предполагать, что они дают нам гарантии от групповой ошибки. Некоторые из научных учений являются перманентной истиной, но только время показывает, таковы ли они на самом деле.

Практический успех пространственной науки, который позволил нам предсказывать и даже контролировать поведение окружающего нас материального мира, наделил ее огромным престижем и принес ощущение, что чем больше наши умственные процессы будут на нее похожи, тем они будут совершеннее. Соответственно, выросло и вошло в моду представление о том, какой должна быть социальная наука, основанное скорее на аналогии, чем на внимательном изучении условий, с которыми нам приходится иметь дело. Вернемся же к истокам нашего знания о человеке и рассмотрим вкратце развитие этого рода знания у ребенка. Он входит в человеческий мир, уже имея обширный комплекс врожденных способностей к жизни, специфичный для человеческого рода и охватываю-

щий в своем потенциальном содержании те процессы социальной эмоции, чувствования и интеллекта, в которых люди черпают свои главные интересы и мотивы. Все это результат эволюции, весьма практичный; именно этот материал сделал человека самым могущественным среди животных, и, несомненно, он так же физически реален, как и любые другие нервные или умственные процессы. По поводу точного содержания этого врожденного сырого материала личной и социальной жизни много спорили, но, к счастью, нам нет нужды вступать в эти споры. Некоторые говорят, что он включает совершенно определенно организованные механизмы, наподобие инстинктов у низших животных; другие полагают, что врожденные механизмы у человека малоразвиты и неопределенны и обретают организованность только под стимулирующим влиянием особого рода жизни. Так или иначе, никто не сможет усомниться в том, что мы рождаемся с зачаточным миром ментальных способностей, физически существующим как масса мозга и нервных узлов, и что в качестве главного условия своего роста он требует взаимобмена стимуляциями со схожими комплексами, существующими у других личных организмов.

Процесс, посредством которого внутри нас развиваются отлчительно человеческий, или социальный, ум и соответствующий тип знания, впервые развернуто изобразил в 1895 г. Джеймс Марк Болдуин. Он назвал его «диалектикой личностного развития». Этот процесс напоминает игру в теннис, никто в нем не может играть в одиночку; по ту сторону сетки должен быть кто-то другой, возвращающий вам мячик. С раннего младенчества наша жизнь протекает в активном реагировании на побуждения, доходящие до нас через экспрессивное поведение других людей, через выражения лиц, жесты, устные слова, письмо, печать, изображения, скульптуру, символы науки и механические искусства. Каждая реакция, которую мы производим, – шаг в нашем образовании, учащий нас действовать, думать и чувствовать немного человечеснее. В чувствовании наших социальных окружений развиваются наш мозг и наши нервные комплексы. В то же время наше сознание принимает во внимание этот внутренний опыт и приписывает его другим людям в схожих условиях. Таким образом, в едином процессе повышается наше понимание людей, общества и самих себя. Когда вы играете в гольф, вы приобретаете не только пространственное знание в форме некоторого мышечного навыка, но и социальное знание – через узнавание той гордости, которую испытывает человек, сделав дальний удар, и того унижения, которое он чувствует, когда закручивает

мяч и отправляет его в протекающий рядом ручей. Видя, как другой человек это делает, вы симпатически повторяете свою внутреннюю реакцию на прежние случаи и приписываете ее ему. Вам открывается новый диапазон человеческого опыта, вы расширяете свое понимание людей. И во многом так же вы расширяете свое знание домашней жизни, литературы, искусств и наук. Рассмотрим научную работу в лаборатории и в поле. Дает ли она только материальное знание поведения *вещей* в пробирках и колбах, вида и ощущения геологических слоев, привычек рыб, или она учит нас также понимать химиков, геологов и зоологов как *людей*, т.е. участвовать в некоторой фазе человеческой жизни, разделять ее идеалы и осваивать ее социальные методы? И не является ли последнее знание для человека науки столь же важным, как и первое? Способные люди в каждой области, как правило, преуспевают и в техническом, и в человеческом знании, ибо оба они – плод богато развитого ума и оба должны культивироваться как инструменты успеха.

Если отличительной чертой пространственного знания является то, что оно измерительное, то социальное знание отличается, наоборот, тем, что оно драматическое. Если первое можно свести к проведению различий между нашими ощущениями и, следовательно, между материальными объектами, обуславливающими эти ощущения, то последнее базируется в конечном счете на восприятиях интеркоммуникационного поведения людей и на переживании умственных процессов, которые ему сопутствуют. То, что мы знаем о человеке, состоит отчасти из вспышек видения того, что он делал бы в тех или иных ситуациях, как он выглядел бы, говорил и двигался; именно благодаря таким вспышкам мы можем судить о том, смел он или труслив, вспыльчив или благоразумен, честен или лжив, великодушен или жесток и т.д. Также оно состоит из внутренних чувств, которые мы сами в какой-то мере испытываем, когда думаем о нем в этих ситуациях, приписывая их ему. Именно эти симпатические элементы создают разницу между нашим знанием человека и нашим знанием лошади или собаки. Последнее – почти всецело внешнее, или поведенческое, хотя те, кто близко связывает себя с ними, могут приобретать некоторую меру подлинной симпатии. Животных мы знаем по большей части как специфически живой вид вещи. С другой стороны, хотя наше знание людей тоже поведенческое, в нем не будет ни проникновения, ни отличительно человеческой прозорливости, если оно не будет также и симпатическим.

Есть, несомненно, способ познания тех, кому мы не симпатизируем, и он – по существу внешний, или животный, по характеру.

Примером тому служит практичное, но всецело бихевиористское знание, которым обладают иногда мужчины с большим сексуальным опытом в отношении женщин или, наоборот, женщины в отношении мужчин; никакого подлинного участия в мысли и чувстве здесь не предполагается. Чем больше поведение другого пола является инстинктивно сексуальным, тем больше наше понимание его тяготеет к тому, чтобы быть внешним, а не симпатическим. Или, выражаясь довольно грубо, иногда мужчина понимает женщину так, как он понимает лошадь: не соучаствуя в ее психических процессах, а смотря на то, что она делает. Фактически в нашем знании людей имеется целый спектр – от сугубо внешнего, как наше знание маленьких детей, идиотов и буйнопомешанных, до всех степеней всецело внутреннего, или симпатического знания, как, например, читая такого медитативного автора, как Марк Аврелий, мы знаем только его сознание, и ничего больше. В основном, однако, человеческое знание является одновременно поведенческим и симпатическим: восприятие или воображение внешней черты сопровождается симпатией со всеми теми переживаниями, чувствами и идеями, которые этому сопутствуют.

Это также процесс, посредством которого мы приходим к пониманию значения слова и, достигая такого понимания, чувствуем себя как дома в том широком царстве смыслов, к которому слова служат ключом. Мы можем знать слова как всего лишь поведение, например когда некто заговаривает с нами на чужом языке, но в этом случае они не допускают нас в царство смыслов. Чтобы обладать человеческой ценностью, слово и поясняющий его внутренний опыт должны идти вместе.

Короче говоря, мы учимся знать человеческую жизнь извне и изнутри одновременно и через единый процесс, продолжающийся с младенчества.

Приняв удобный и популярный термин, я буду называть отдельный человеческий ум, включающий все эти социально развивающиеся чувства и понимания, *ментально-социальным комплексом*. Используя это неказистое выражение, я надеюсь уйти от традиционных импликаций, которые делают невнятными такие термины, как «ум», «сознание», «дух» и «душа»¹. Именно вокруг него, как бы мы его ни назвали, вертится вопрос о природе и возможностях социаль-

¹ Схожим образом «групповой разум», т.е. коллективный взгляд коммуницирующих друг с другом и влияющих друг на друга индивидуальных комплексов, можно было бы назвать социально-ментальным комплексом.

ного знания. Это наш высший дар; но по этой самой причине – поскольку все глубокие жизненные вещи сосредоточены в нем – он является частью нас, о которой мы меньше всего знаем и которая меньше всего поддается точному толкованию. Можно ли сделать его доступным для науки, или мы должны попытаться как-то его обойти, или нейтрализовать, как это делает ученый-физик, когда требует, чтобы идущие от него идеи о природе верифицировались самой природой через физические измерения? Проблема с любым подобным планом будет состоять, видимо, в том, что в человеческой жизни ментально-социальный комплекс *и есть* природа. Это самая сердцевина того, что мы стремимся описать и сделать понятным. Ее нельзя обойти, не обойдя саму жизнь.

Допустим, вы обеспечиваете посредством ряда умственных проверок детальное знание того, что делает тот или иной человек в разных ситуациях. Это знание может быть очень полезным; я ожидаю важных результатов от подобных исследований; но, в конце концов, они не могут позволить нам узнать этого человека как живую целостность. Социальный человек – нечто большее, чем сумма стандартизированных актов, сколько бы мы их ни отобрали и как бы хорошо мы их ни отобрали. Его можно постичь только благодаря способности собственного ментального комплекса к пониманию и синтезу; без нее любое знание, которое может быть получено нами из поведенческих проверок, неизбежно остается поверхностным и неразумным. Не содержится ли некоторая двусмысленность в использовании терминов, когда мы говорим об измерении интеллекта или личности? Тем, что мы измеряем, является выполнение стандартизированных операций. Перейти от них к органическому целому интеллекта или личности – всегда трудная и не защищенная от ошибок работа конструктивного воображения.

Многие из тех, кто, возможно, согласен с тем, что я сказал о конечном родовом различии между пространственным и социальным знанием, будут утверждать, что именно в силу этого различия никакая социальная наука и невозможна. Если пространственное знание является точным и поддающимся передаче и, следовательно, кумулятивным, то драматические и интуитивные восприятия, лежащие в основе социального знания, столь индивидуальны и субъективны, что мы не можем ожидать того, что люди сумеют достичь по поводу них согласия и выстроить из них растущее здание удостоверенной истины.

Это действительно труднопреодолимая проблема, и энтузиасты точной социальной науки склонны ее игнорировать. Могу

сразу же сказать, что я не ищущу быстрого роста науки, которая была бы основательной с точки зрения проникновения в человеческую жизнь и в то же время точной и бесспорной. Здесь есть родовое различие, и было бы глупо его не видеть.

По поводу субъективности можно сказать, что любое знание в каком-то смысле субъективно, ведь это вещь умственная, а не внешняя, всего лишь конструкт ума. Даже простейшие восприятия формы или протяженности и тем более точные восприятия науки – далеко не просто физические данные, а продукт расширенного процесса образования, интерпретации и социальной эволюции. Наши так называемые физические науки – в конце концов, часть социального наследия и творения ментально-социального комплекса. В этом отношении, стало быть, пространственное знание и социальное знание стоят на одном фундаменте.

Вопрос о большей или меньшей субъективности, относящийся к разным видам знания, я считаю вопросом о большем или меньшем согласии в элементарных восприятиях. Если явления можно наблюдать и описывать так, чтобы при этом вызывалось согласие всех разумных людей, независимо от теорий и всякого рода предубеждений, то фактуальная основа знания требует той независимости отдельных умов, которую мы называем объективностью. Измерительная рейка объективна, поскольку дает неоспоримый метод достижения согласия по поводу некоторых пространственных отношений. Профессор Эйнштейн, думаю, показал, что эта объективность не абсолютна, но для большинства целей пространственной науки ее достаточно. Строго говоря, в социальном знании нет таких мерил, нет элементарных восприятий отличительно социальных фактов, которые были бы у всех людей настолько схожими и могли бы быть настолько точно переданы, чтобы дать нам неоспоримое средство описания и измерения. Я говорю «отличительно социальные факты», поскольку существует много фактов, обычно считаемых социальными, которые являются также и материальными событиями, скажем браки, и поддаются в этом качестве точному наблюдению и подсчету. Между тем отличительно социальные факты являются внутренними и ментальными: например любовь и взаимная страсть сторон, денежные соображения, планы создания домохозяйства и т.д. Их тоже можно узнавать и передавать, но не с тем точным согласием между наблюдателями, которое делает возможным решающее измерение.

Быть может, вы скажете, что хотя ментально-социальные явления и в самом деле нельзя наблюдать напрямую и с существенной

точностью, все же они выражаются в поведении, а оно осязаемо, и мы можем надеяться в конце концов его зафиксировать и весьма точно измерить. Даже наши сокровенные мысли и чувства обретают форму в символах коммуникации, в жесте, голосе, словах, в письменных символах, сохраняющихся в неизменном виде веками. Все это верно и очень важно: я бихевиорист, насколько я, на мой взгляд, могу быть таковым, не превращаясь в фанатика. Но нам не следует забывать, как это подчас делают бихевиористы, о том, что символ сам по себе ничто, что это всего лишь удобное средство развития, передачи и фиксации значения, а значения являются продуктом ментально-социального комплекса и известны нам только через сознание. Следовательно, опора на символы никоим образом не избавляет нас от проблемы, проистекающей из неизмеримости наших элементарных социальных восприятий. Мы можем регистрировать поведение, орудовать зарегистрированными данными с помощью статистики, но я не вижу способа избежать конечного вопроса: что это означает?

И как быть с интроспекцией? Разве не включает тот вид восприятия, о котором я говорю, эту постыдную практику, а если включает, то не является ли он тем самым безнадежно испорченным?

Слово «интроспекция», в обычном его понимании, наводит на мысль о философе, исследующем свое внутреннее сознание в более или менее полной абстракции от обычных жизненных функций. Хотя в этом методе, возможно, есть своя польза, считается, что в прошлом на него опирались больше, чем он того заслуживает. Давайте, говорят, наблюдать людей в более нормальных условиях, предпочтительно через их действия, а не через их предполагаемые мысли.

Но что есть, в конце концов, интроспекция? Это не просто только что указанная философская интроверсия; она принимает различные формы, и некоторые из них повседневно используются всеми нами и незаменимы для сколько-нибудь реального знания умов других людей.

Тот целостный процесс социального роста ума, о котором выше шла речь, включает элементы интроспективного характера. Мы узнаем о других людях и о самих себе, наблюдая не только взаимную игру действия, но и взаимную игру мысли и чувства. Воспринимая и вспоминая чувственные образы жеста, голоса и выражения лица, мы в то же время регистрируем движения мысли и чувства в своем сознании, приписываем схожие движения другим и достигаем тем самым проникновения в их умы. Рефлексив-

но мы этого по большей части не осознаем, но мы это делаем, и результатом становится социальное знание. Этот процесс стимулируется и организуется языком и – косвенно, через язык – социальным наследием, идущим из прошлого. Под руководством слов мы интерпретируем свое наблюдение – как внешнее, так и интроспективное – в соответствии с паттернами, которые сочли полезными наши предшественники. Когда мы начинаем с пониманием употреблять такие слова, как «добрый», «решительный», «высокомерный», «скромный», «сердитый», «боязливый», «унылый», «печальный» и т.п. – слова, вызывающие в памяти движения как тела, так и ума, – уже само это показывает, что мы не только сохранили летопись нашей внутренней жизни, но и собрали данные в определенные концепции, которые можно передать другим при помощи общего символа.

Немалая часть нашего социального знания, особенно приобретенного из чтения, предполагает более осознанно интроспективный процесс. Вряд ли можно, скажем, осмысленно прочесть пьесу или роман, не воспроизведя в памяти идеи и эмоции из собственного прошлого для сравнения с идеями и эмоциями описываемых людей. Герой, как мы его понимаем, складывается из материала нашей собственной жизни. Не абсурдно ли тогда ученому отвергать интроспекцию? Готовит ли кто-нибудь научный отчет или статью, не обращаясь первым делом внутренним взором к содержаниям своего ума с целью увидеть, что он может предложить и как можно все это упорядочить и представить? Короче говоря, интроспекция, как бы ею ни злоупотребляли философы, есть нормальный и обычный процесс, без которого мы могли бы очень мало узнать о жизни.

Будучи критичной, интроспекция более объективна, чем обычная практика плавание в социальных течениях без попытки их осознать. Как можно быть объективными в отношении собственных мотивов, если от них не отстраниться и не взглянуть на них со стороны? Вспоминается одна недавно вышедшая книга, притом хорошая, автор которой, резко осуждая интроспекцию, разворачивает ряд мнений по злободневным социальным вопросам, столь явно свойственных его расе, стране и социальному классу, что можно только улыбнуться его наивности. Некоторая интроспекция в этом случае, разумеется, не помешала бы: собственную субъективность нужно понять, если есть желание ее избежать.

Представляется, следовательно, что внешняя и внутренняя стороны человеческой жизни, сознание и поведение, взаимно до-

полняют и объясняют друг друга и что в сфере человеческого бытия изучение внешнего поведения как чего-то самодостаточного будет неизбежно таким же бесплодным, как и чистая интроспекция, причем по той же самой причине, а именно потому, что оно обособляет один аспект естественного процесса от другого. Природа соединила эти вещи, и я не думаю, что мы чего-либо достигнем, если будем рассматривать их порознь. Регистрации поведения без интроспективной интерпретации сродни библиотеке, собранной из книг на чужом языке. Они вышли из умов и ничего не значат, пока не найдут своей цели в других умах.

Однако я не вижу причин ссориться с теми крайними бихевиористами, которые считают, что нам нужно наблюдать людей просто извне, как мы это делаем в отношении прочих животных. Пусть работают над этой теорией, если считают ее полезной, и покажут, на что они способны. Даже если она неверна, она может породить полезную технику исследования, как неверные теории не раз делали в прошлом. Справедливо судить о бихевиористах по их поведению. Думаю, на практике, подобно большинству из нас, они будут пользоваться интроспекцией, когда в этом будет необходимость¹.

На полюсе, противоположном бихевиоризму, мы, видимо, находим метод или, скорее, различные методы ментального анализа, основанные на зондировании сознания и памяти. Все они в значительной мере опираются на симпатическую интроспекцию, или понимание сознания другого с помощью собственного сознания, и дают полную свободу ментально-социальному комплексу. Они могут использоваться как в социологии, так и в психиатрии и, в сущности, принципиально не отличаются от личных интервью, широко применяемых при изучении социальных ситуаций. Я действительно считаю, что психоаналитическая психология обязана вхождением в моду своему упорному пренебрежению к довольно узким пространственным методам, коими ограничивали себя лабораторные психологи, и дерзновенной попытке исследовать таинственные пещеры человеческого ума в свете клинических интервью и интроспективной интерпретации. Люди видели, что вытекающие отсюда откровения напоминают то, что они знали о собственных эго. Этот метод вполне

¹ Вряд ли нужно и говорить, что научное изучение поведения не имеет необходимой связи с группой людей, называющих себя «бихевиористами». Их крайнюю доктрину отказа от сознания лучше всего понимать как реакцию на предыдущую крайность, воцарившуюся в психологии, а именно чисто интроспективное исследование. Социальные исследования всегда были в основном поведенческими.

можно отделить от связанных с ним экстравагантных теорий, и он, несомненно, будет широко использоваться.

Я допустил, что социальное наблюдение, в целом, уступает в точности и проверяемости и, следовательно, в меньшей степени кумулятивно, чем пространственное, не только потому что условия редко можно воспроизвести с помощью эксперимента, но и потому что сами восприятия у разных людей менее схожи и, следовательно, относительно них труднее прийти к согласию. Однако опыт показывает, что этих трудностей никоим образом недостаточно, чтобы помешать объективному и кооперативному изучению социальных явлений и накоплению знания, которое, при всей его меньшей осязаемости по сравнению с экспериментальной наукой, способно со временем принести щедрые плоды.

Основа общих социальных восприятий и, следовательно, накопление знания кроется в общем сходстве ментально-социальных комплексов во всем человеческом роде и в гораздо более тесном сходстве между комплексами, сформированными общими языком и культурой. Мы сознаем это сходство, наблюдая поведение других людей, в том числе их язык, и обнаруживая, что это поведение можно успешно проинтерпретировать, приписав им мысли и чувства, схожие с нашими. Идея, что они подобны нам, практически верна; она работает. Она рождается у нас в опыте раннего детства, и мы опираемся на нее всю жизнь. Это фундаментальное согласие по поводу значений можно сделать более точным с помощью разборчивого использования языка и других коммуникативных знаков, подобно тому как уточняются с помощью инструментов точного измерения (пусть даже не в такой же степени) чувственные восприятия, и это делает передачу и накопление знания достаточно точными для практического использования.

Вся история, все новости, все социальные исследования представляют собой летопись того, что делали люди: видимых актов, представляющихся значимыми, а также их символических актов, их речи и их произведений искусства. Но что делает эту летопись интересной, так это то, что благодаря нашему сходству с ними она становится также летописью того, какими они были, их значений, их внутренней жизни, подобие коих пробуждается в нас документированными актами.

Я открываю наугад Геродота и нахожу описание того, как карфагеняне захватили с выведенных из строя судов множество фокейцев, высадили их на сушу и побили камнями. Но после этого овец, быков и людей, проходивших мимо этого места, поражал паралич.

Тогда они обратились к дельфийской прорицательнице, и она потребовала учредить обычай почитания погибших фокейцев с погребальными обрядами. Это летопись поведения, которую мы интерпретируем с помощью симпатии. Мы ощущаем жестокость карфагенян, их изумление и ужас, вызванные странным поведением пораженных людей и животных, их тревожное обращение к пифии, их испуганное подчинение ее словам. Об основаниях для критики этого нарратива с точки зрения более широкого изучения человеческих идей и человеческого поведения мне нет нужды здесь говорить. Как и всякое социальное наблюдение, приходящее из прошлого, он должен интерпретироваться с учетом различия в ментальных комплексах между теми, кто сделал эти записи, и нами, которые их читают. Мы, как говорится, должны принять их бэкграунд и точку зрения. Но люди, в конце концов, так друг на друга похожи, что воображение, подготовленное сравнительными исследованиями, обычно способно довольно верно уловить то, что эти записи означают. Подлинной причиной того, что мы в социологии должны опираться в основном на современные, а не на исторические факты, является неадекватность записи. История не говорит нам того, что мы хотим знать, и мы должны искать в окружающем мире ответы на вопросы, которые людям древности не приходило даже в голову поставить.

Во всяком случае, у нас действительно есть аккумуляции социального знания. Аристотель и многие другие авторы прошлого собрали факты, до сих пор считающиеся заслуживающими доверия, и истолковали их с помощью обобщений, до сих пор пользующихся уважением. В современную эпоху этот процесс продолжился, наращивая обороты, разнообразие и точность, и привел к появлению технических групп специально обученных людей. У нас есть множество видов истории, есть социальная антропология, политическая наука, право, экономика, социология, сравнительное изучение религии, сравнительные исследования литературы и искусства и прочие специальные знания, и во всех них есть свои архивы документированных фактов.

Что касается накопления, то изучение человека имеет даже огромное преимущество, состоящее в том, что его предметное содержание уникально: это самоописание (self-recording). Даже записи геологии и палеонтологии не сравнятся по богатству с теми, которые человек передает о себе самом через язык и всяческие искусства. И чем больше он приближается к состоянию цивилизованности и вступает в него, тем обширнее становятся эти записи. Динозавр может оставить после себя скелет или даже яйца, от человека же остает-

ся окаменевший разум. Мы знаем о нем бесконечно больше, чем о любом другом животном, и трудность аккумуляции знания, насколько это касается первичных фактов, совершенно иллюзорна. Споры, как и в других областях, ведутся в основном вокруг интерпретации. Отбор и объяснение фактов оказывались до сих пор предварительными; их приходится делать снова и снова, с каждым изменением в общем течении мысли. Но не касается ли это любой науки? В настоящее время вся магистральная теоретическая линия физики поколеблена до оснований и грозит рассыпаться. Долговечной структуры знания едва ли следует ожидать, если только не брать первичные факты и их простейшие связи, и к социальной науке это относится в такой же мере, как и к науке пространственной.

Теперь самое время обратиться к корпусу знания и практики, который известен как статистика. Статистика – точный метод, и таковым ей позволяет быть то, что сама по себе она не социальная наука, а математическая. Она не *схватывает* напрямую социальные факты или какой-то другой вид фактов, а берет определенные стандартные единицы, коими могут быть и воспринятые социальные факты, а затем компилирует, упорядочивает, обрабатывает и представляет их так, чтобы они что-то высвечивали. Статистик оперирует в промежутке между, с одной стороны, первичным наблюдателем и, с другой – теоретиком, стремящимся пролить свет на те или иные гипотезы. Наверное, я не погрешу против истины, если уподоблю его повару, который не поставляет продукты и не ест их, а выступает в качестве специалиста в промежуточных процессах между одним и другим.

Разумеется, было бы неразумно предполагать какой-либо антагонизм между точными методами статистики и более падкой на ошибки процедурой симпатического наблюдения и интерпретации. Они друг друга дополняют, друг на друга не накладываются и не должны накладываться. Единственная оппозиция, которая возможна между ними, – это оппозиция, обусловленная пристрастиями практика. Статистик, когда ему недостает широты ума, склонен настолько любить свои точные процедуры, что обходит стороной и принижает все прочее; симпатический наблюдатель, в свою очередь, склонен с раздражением относиться к статистике. Эта разница вкусов не принесла бы большого вреда, если бы функции были четко отделены друг от друга, но если человек, пригодный для выполнения только одной из них, берет на себя обе, то результат бывает плачевным. Немалая часть статистической работы, особенно той, которая основывается на анкетах или интервью, испорчена отсутст-

вием драматического проникновения в умственные состояния людей, поставляющих информацию. Анкета – инструмент социального восприятия, и чтобы ее использование имело хоть сколько-нибудь научный характер, первейшим долгом пользователя является драматизация той игры мысли и чувства, которая происходит между тем, кто задает вопрос, и тем, кто на него отвечает. Каково было действительное умственное состояние последнего, и какова человеческая значимость его ответа? Не каждому исследователю хватает прозорливости и добросовестности, чтобы воспринять и передать этот реальный факт, сплошь и рядом сильно отличающийся от мнимого факта, но именно от этого зависит ценность его работы.

Так же обстоит дело с вопросами или задачами, используемыми в психологических тестах. Если они нацелены только на проверку способности к выполнению стандартизированных операций, то они объективны, но с социальной точки зрения поверхностны; если они идут дальше этого и в них предпринимается попытка открыть социальные или моральные установки, то они субъективны и не имеют никакой ценности для науки без симпатической интерпретации.

Дело обстоит не так, что социальная наука становится точной, заменяя социальную симпатию и воображение статистикой. Скорее происходит так, что использование симпатии и воображения становится более компетентным, а статистика занимает место догадок в обращении с данными.

Еще одно впечатление, на мой взгляд, ошибочное, состоит в том, что статистика находит в социальных явлениях единообразия, или регулярности, указывающие на то, что эти явления можно будет со временем подчинить точному предсказанию так же, как и физические явления. Действительно, статистика находит в некоторых социальных процессах последовательность, порядок и поразительную степень предсказуемости. Благодаря анализу того, что происходило в последние десять лет, особенно в экономической области, где факты по большей части материальны, можно предсказать, что будет происходить в следующие пять лет; и никто не может сказать, насколько далеко мы можем пойти в этом направлении. Все это держится, однако, на преобладании инерции и на редкости и медленности более творческих процессов. Человеческие явления по большей части столь рутинизированы, что более или менее поддаются расчетам. Везде, где люди под воздействием привычки или внушения движутся вперед механически или где их интеллект просто воспроизводит то, что является в основе своей

старым синтезом мотивов – например, при принятии решения о вступлении или невступлении в брак, – будут уместны точные методы. Комплекс человеческих событий можно в значительной мере свести к потокам тенденций, движущимся с установившимися скоростями по определенным траекториям. Если мы сможем измерить эти траектории и скорости, то их комбинированное действие можно будет предсказывать во многом так же, как предсказывают движение кометы, рассчитывая результат совместного действия гравитации, тангенциального импульса и других воздействующих на нее сил. Вся основа предсказания в таких областях, как деловой цикл, сводится к вере в то, что подспудные мотивации по существу стандартизированы или имеют повторяющийся характер.

Вероятно, ни одна наука не смогла бы предсказать внезапный рост автомобильной промышленности и гений Генри Форда, хотя теперь, когда эта отрасль получила развитие и институционализировалась, мы, наверное, можем рассчитать с некоторой точностью, что она принесет в ближайшем будущем.

Неблагоразумно считать, что такие статистические методы в состоянии предсказать то, что, в конце концов, прежде всего отличает человеческую жизнь от физических процессов, а именно творческий ментальный синтез, осуществляется ли он выдающимися индивидами или группами. Тот вид механистической теории, который исключает из рассмотрения уникальную функцию человеческого сознания и воли, не только очень спекулятивен и непроверяем, но и, похоже, утрачивает основания даже как спекуляция. В последнее время философы (например, наш коллега профессор Селларс¹), принимая механицизм или детерминизм, толкуют их так, чтобы оставить нетронутой способность человека реорганизовывать и перенаправлять жизнь на пути, которые не может надеяться предсказать никакая точная наука.

В одном отношении, однако, физическая и социальная науки могут быть уподоблены. Может оказаться, что атомы и электроны не настолько единообразны и надежны, как думалось, что предполагаемые физические законы лишь статистические и скрывают разнообразие в явлениях примерно так же, как социальная статистика скрывает разнообразия отдельных людей. И впрямь люди, по всем признакам сведущие, говорят нам, что «нынешнее состояние физики совершенно не подтверждает мнение, что в физической природе существует

¹ Sellars R.W. Evolutionary naturalism. – Chicago (IL): Open Court, 1922. – Passim.

причинность, основанная на строго точных законах»¹. Разрыв может быть преодолен примерно так, но это, на мой взгляд, никогда нельзя сделать путем сведения к нулю человеческой воли.

До сих пор я говорил о наблюдении, прямом или опосредованном техникой. Теперь перейду к интерпретативному использованию данных, к попытке выстроить структуру социальной истины. Во всех науках это дело воображения, и это такая работа, которая в прошлом всегда оказывалась предварительной и требовала обновления в русле общего развития истины. Не вижу причин ожидать чего-либо иного в будущем.

В настоящее время во всех науках о жизни, как я вижу, господствует идея органического развития. Дарвин дал этим исследованиям ориентацию, сделав их исследованиями процесса, а не состояния: того, что происходит, а не того, что есть, драмы, а не картины. Многие годы, однако, эволюционные идеи применялись к социальным явлениям главным образом внешне и аналогически; их навязывали искусственно, не давая естественно вырасти из самих социальных процессов. В итоге возник обширный корпус социальной теории и пропаганды, претендующий на эволюционность и научность, но не являющийся работой группы специалистов, прежде всего и беспристрастно посвятивших себя изучению социальных фактов. Даже сегодня специалисты из смежных эволюционных областей вносят щедрый вклад в социальную литературу, ничуть не скрывая своей уверенности, что о том, что важно для общества, им известно больше, чем так называемым «социологам». Как бы то ни было, факт остается фактом: некоторые из этих сторонних доктрин, такие как псевдодарвинизм Ницше или детерминизм наследственности, с которым носятся радикальные последователи Гальтона, пользовались и все еще пользуются широким влиянием.

Я между тем буду исходить из того, что, в конце концов, социальные явления вероятнее всего будут поняты теми, кто делает их изучение своим основным делом, и что применение эволюционных идей в этой сфере есть прежде всего задача истории, антропологии, этнологии, политической науки, экономики, социальной психологии, социологии и близких им дисциплин. Во всех этих науках действительно есть решительно эволюционный тренд, а о некоторых из них можно сказать, что они вообще созданы эволюционным движением. Все они нацелены на понимание личностных и социальных целост-

¹ Слова Германа Вейля, цит. по: Sullivan J.W.N. Aspects of science. – L.: R. Cobden-Sanderson, 1923. – P. 158.

ностей в действительном жизненном процессе. Все пользуются во все большей степени социальной психологией. Они не стремятся разложить социальные явления на элементы, не являющиеся социальными, а пытаются исследовать более простые и общие социальные процессы и использовать полученное знание для синтетической интерпретации более крупных социальных целостностей. Это может делаться путем использования хорошо отобранных образцов, как, например, в исследованиях индивидуальных личностей, типичных локальных или институциональных условий и т.д.

В общем, прозрения социологии, если взять эту область исследований как представительную, – это воображаемые реконструкции жизни, истина которых зависит от компетентности ума, создающего их так, чтобы они охватывали главные факторы изучаемого процесса и воспроизводили или предвосхищали их действие. Это требует прирожденной способности, знания фактов, социальной культуры и подготовленности в особой технике.

Иногда предполагается, что до-дарвиновские исследования в истории, литературе, искусстве и социальной теории были по существу ненаучными и лишенными ценности, фактически просто мусором, который развивающиеся силы науки должны отвести в сторону. Я же считаю, что многие из этих исследований опирались на здравый смысл, имели прочную эмпирическую основу и сегодня даже ценнее поспешных, догматических и по большей части аналогических попыток заменить их чем-то с виду похожим на естественную науку. Эти попытки породили множество разных псевдонаук, некоторые из них в настоящее время процветают, однако они не разрушили реальной преемственной связи нынешнего социального знания с серьезной работой предыдущих поколений. Социология, по крайней мере, всем сердцем признает ценность доэволюционистских исследований и ожидает, что те, кто их изучает, узнают кое-что о великих течениях исторической, литературной и художественной традиции и овладеют по-настоящему широкой культурой в гуманитарном знании. Эта культура дает единственный доступ к огромным хранилищам фактов, без которых нам не обойтись. Кроме того, она дает перспективу развития социальной интерпретации. Большинство обобщений, которые ныне определяются, разбираются, проверяются и преобразуются в систематическое знание, предвещены проницательными умами прошлого. Как много современной социальной психологии имплицитно содержится в максимах Ларошфуко! Как прозорлив в отношении социальных процессов был Гиббон! Сент-Бёв, видев-

ший в литературе органическое человеческое целое и с одинаковым пониманием наблюдавший индивидуального писателя и поток литературных тенденций, был настоящим социологом в области литературной критики. Гёте был таковым даже в еще более широком смысле. Честный и компетентный исследователь будет почтителен к достижениям прошлого и будет отказывать в поддержке поверхностным и легковесным умам, понимающим научный метод как своего рода трюк с лабораториями и графиками, с помощью которого можно избежать медленных приближений к подлинному социальному знанию.

Что до предсказания, то я уже отмечал, что в более механизированных процессах социальной системы оно может быть поразительно точным. Но у нас нет оснований ожидать подобной же точности при предсказании многочисленных флуктуаций человеческой жизни в целом. Предсказание в любой науке требует, чтобы ум охватил процесс, подобно тому как физик охватывает своей формулой процесс падения тела, и тем самым, через участие, предусмотрел его исход. Даже в естественной науке это обычно можно сделать точно лишь тогда, когда процесс искусственно упрощен, как в лаборатории. Социальные процессы действительной жизни может охватить только ум, работающий целиком, участвующий с интеллектом и симпатией в многочисленных потоках человеческих сил и сводящий их в воображаемый синтез. Это вряд ли можно сделать с высокой точностью и вообще нельзя сделать, если не насытить технические методы всеобъемлющим творческим духом.

Человеческий ум участвует в социальных процессах так, как не участвует ни в каких других процессах. Он сам является выборкой, фазой этих процессов и при благоприятных обстоятельствах способен настолько идентифицироваться с общим движением группы, что при этом достигается удивительно верное предвосхищение того, что эта группа будет делать. Такое предсказание по большей части интуитивно, а не интеллектуально; оно сродни предсказанию человека с гениальным чутьем к бизнесу, в противовес предсказанию статистика; это не наука, но это тот самый процесс, благодаря которому были впервые уловлены великие обобщения науки.

Меж тем любые предсказания будут надежными скорее всего тогда, когда их делают люди, наиболее обстоятельно знакомые с наблюдаемыми процессами, и именно развитие этого знакомства, наряду с более глубоким пониманием принципов, должно помочь социальным наблюдателям лучше, чем прежде, предсказывать то, что должно произойти.

Итак, что нового есть в нынешней социальной науке, что (если таковое есть) обещает более быстрое и надежное накопление знания, чем в прошлом? Прежде всего, я бы сказал, следующее:

1) избавление от устаревших теологических и метафизических посылок и реорганизация на основе изучения фактов и эволюционного мировоззрения;

2) появление специальной группы адекватно подготовленных ученых с теми традициями и стандартами, той экспертной критикой и взыскательной групповой атмосферой, которые незаменимы для высших достижений;

3) развитие (начиная с 1860 и особенно после 1900 г.) сети фактуальной теории, под которой я понимаю теорию, произрастающую из наблюдений и поддающуюся подтверждению или опровержению путем более пристального изучения фактов. Такую теорию необходимо отличать от множества былых спекуляций, по большей части метафизических, не подлежащих верификации и потому совершенно бесполезных для стимулирования исследований.

В нынешнем движении нет ничего поразительного. Оно не проявляет разрывов с прошлым, не обещает никакой феноменальной способности к предсказанию и, фактически, занято главным образом установлением того, что действительно происходит, и развитием техники. Мы пытаемся описать и истолковать человеческую жизнь в том же духе, что и жизнь животных и растений, но с должным уважением к иному характеру стоящей перед нами задачи. Человеческий материал отличается не только своим необычайным богатством и разнообразием, но и тем, что требует в обращении с собой радикально иного теоретического и технического оснащения.

КЕЙС-СТАДИ МАЛЫХ ИНСТИТУТОВ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ (1928)*¹

Всякая наука, как я предполагаю, движется вперед с помощью анализа, т.е. интенсивного изучения сравнительно существенных и долговечных элементов природы, глубокого, проникательного наблюдения ограниченных, управляемых, репрезентативных феноменов. Если суметь их понять, то мы сможем надеяться, что наше знание охватит и более широкие целостности.

Так вот, в царстве жизни репрезентативные феномены сами являются жизненными процессами. А чем еще они могут быть? Жизнь – всегда жизнь, а не собрание иных вещей. Если мы и изучаем факты структуры, то всегда в надежде на то, что они прольют свет на факты жизни, с которыми они связаны. В социологии мы делаем много работы, связь которой с жизненным процессом косвенна и, возможно, неочевидна; но все же она есть и придает этой работе смысл. Она служит фоном, например, для наших исследований установок; исследования установок иммигрантов нацелены, как я полагаю, на лучшее понимание жизненных изменений, происходящих со смешением рас, национальностей и культур.

* Перевод сделан по источнику: Cooley Ch.H. Case study of small institutions as a method of research // Personality and the social group / Ed. by E.W. Burgess. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1928. – P. 181–191. Впервые был опубликован в сборнике: Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX века: Сб. переводов / РАН. ИНИОН. Центр социал. научн.-информ. исследований. Отд. социологии и социал. психологии; сост. и переводчик В.Г. Николаев; отв. ред. Д.В. Ефременко. – М., 2010. – С. 111–120.

¹ Доклад, прочитанный на заседании Американского социологического общества в 1927 г. Впервые опубликован в: Cooley Ch.H. Case study of small institutions as a method of research // Publications of the American sociological society. – Chicago (IL), 1928. – Vol. 22. – P. 123–132.

То, что я хочу сказать, можно выразить и иначе: объектом изучения для нас всегда является поведение, но не следует забывать, что оно может быть косвенным объектом и что группы и институты, наряду с индивидами, тоже как-то *себя ведут*. В обычном понимании бихевиоризм есть *изучение жизни с точки зрения органического процесса*, и в этом смысле, полагаю, все мы бихевиористы. Мы видим жизнь как адаптацию, выживание, эволюцию и интересуемся актами, насколько они влияют на эти процессы. Тот факт, что некоторые бихевиористы желают исключить из этого исследования сознание, важен, но вряд ли дает им право монополизировать это звучное название.

Мне кажется, что эта органическая, или бихевиористская, точка зрения предполагает некоторую ревизию наших критериев научного знания. Мы привыкли мыслить научную точность как измерение в небольших единицах пространства и времени. Но бихевиористское знание сущностно органично; оно должно существовать в целостностях, либо его не существует вообще. Даже в простейших своих выражениях оно имеет дело с формами (*conformations*), паттернами, системами, а не с механическими единицами. По этой причине феномены жизни часто лучше различаются по паттерну, а не по количеству. Тем, кто жаждет сделать социологию строгой наукой, стоило бы уделить больше внимания методу сравнения паттернов. Отталкиваясь, возможно, от использования отпечатков пальцев для идентификации преступников, его вполне можно было бы перенести с помощью фотографии и звукозаписи в очень тонкие области поведения. Измерение – лишь один вид точности. Что в качестве документации зримого поведения может быть точнее кинофильма? Но ведь он не количественен. Его точность – тотальная, а не частичная, вопрос скорее паттернов, чем мелких различий в пространстве. Наши инструменты точности призваны регистрировать живые целостности, а не сводить их к безжизненным элементам. Если бы у нас был фильм о Джордже Вашингтоне со звуковым сопровождением, снятый тогда, когда он руководил набегом на британцев у Джермантауна, это добавило бы в наше знание о нем больше точности, чем любые мыслимые измерения. Настаивание на квантификации там, где она неуместна, – один из источников той трудоемкой напраслины, которая является обычным делом в некоторых направлениях исследований.

И все же я не хотел бы приструнивать ту пылкую страсть к измерению, которая стала здоровой чертой новейшей исследовательской работы. Многие виды наблюдения, чтобы быть точными, должны быть количественными, и статистические процессы, с

помощью которых мы устанавливаем, является наблюдаемый акт типичным или нет, количественны по своей природе. Тут надо действовать разборчиво.

Статистический метод не может сильно помочь нам в таких предметах, как воспитание или криминология, где главное – понимать людей. Он имеет дело не с организмом в целом, а с некоторого рода чертами или функциями, искусственно выделяемыми и трактуемыми как числовые элементы. Но что такое черта отдельно от человека? Разве не черпает она свою реальность из того, что является аспектом конкретного человеческого организма? И что останется, если его убрать? Статистика черт полезна как индикатор массовых тенденций, но не раскрывает нам человеческой реальности и должна быть в таких областях лишь подспорьем к изучению целостных личностей.

Какова же цель бихевиористской науки? На мой взгляд, она состоит в целостном восприятии, регистрации и понимании фундаментальных актов с вытекающей отсюда способностью их предвидеть¹. Это требует, прежде всего, точной и исчерпывающей техники наблюдения и сравнения, и, кроме того, всего конструктивного воображения, которое мы сможем привлечь. Как бы это применилось к жизни животных, скажем к поведению диких уток? Я полагаю, что адекватная наука должна требовать, прежде всего, кинозаписи всех существенных функциональных актов этого вида, их способов питания, совокупления, строительства гнезд, высиживания яиц, укрывания от врагов, нападения, защиты и т.д. Если наша техника позволит, в поле зрения должно быть включено функционирование расцветок и криков; также в него должны войти не только сами птицы, но и существенные особенности их среды. Кроме того, несомненно, нужно регистрировать вес и габариты, количество и длину перьев на крыльях, другие детали, оказывающие влияние на функцию. Могут быть также предприняты статистические исследования численности и миграций птиц, так как они показывают крупномасштабные функциональные деятельности. Если бы мы все это понаблюдали, зафиксировали и обработали не просто в деталях, а как живое целое, настолько вобрав это в воображение, что удалось бы понять, как этот вид адаптируется и адаптировался до этого к условиям жизни, и предсказать, что будет делать данный его член

¹ Мне представляется плодотворным обсуждение бихевиоризма у Грейс А. де Лагуна в ее книге о речи. См.: De Laguna G.A. Speech: Its function and development. – New Haven (CT): Yale univ. press, 1927.

в данной ситуации, то, вероятно, мы узнали бы о поведении диких уток столько, на сколько только может рассчитывать человек.

В случае более разумного и социального вида, такого как изученные Кёлером шимпанзе, регистрация поведения будет охватывать социальные и разумные акты, в том числе рудименты языка. Кто-то может быть настолько предан статистической идее, что, смотря удивительные кинофильмы Кёлера, будет говорить: «Это интересно, но это не точная наука. Это совершенно не годится для докторской диссертации». Я же считаю, что по научности это вполне сопоставимо с лучшей статистической работой и служит примером органического, или тотального, способа регистрации поведения, нужного нам также и при изучении человеческой жизни.

Я полагаю, что идеал для социологии – распространить регистрацию поведения на все существенные акты человека, сделав их понятными, вообразимыми, предсказуемыми. Мы стремимся видеть человеческую жизнь как действительную драматическую деятельность, а также участвовать в тех ментальных процессах, которые являются частью человеческой функции и доступны симпатическому наблюдению с помощью жестикуляции и языка. Мы должны видеть ее не только с точки зрения индивидов, семей и наций, но также с точки зрения тех функциональных групп и процессов, на которые дифференцируется человеческая жизнь. Понятая таким образом, техника социологии будет частично состоять в некоторого рода описании, точном и одновременно драматичном, аналогичном кинофильмам Кёлера. Наверное, многое можно сделать с помощью обычной фотографии. Профессора Одум и Джонсон уже делали фото-фонографические записи негритянского пения¹; можно легко представить и другие направления, в которых были бы уместны исследования этого типа – например, в изучении детей или для регистрации поведения толп. Социальное поведение человека, однако, по большей части столь тонко, столь сложно и столь мало привязано ко времени или месту, что единственной техникой, адекватной для его описания и документирования, является техника языка. Сам язык есть форма социального поведения, одно из позднейших достижений эволюции; для высших типов жизни он так же незаменим, как и мозг. Его функция состоит в том, чтобы определять, описывать, организовывать

¹ См.: Odum H.W., Johnson G.B. Negro workaday songs. – Chapel Hill: Univ. of North Carolina press, 1926. – Ch. 15.

и направлять более тонкие формы человеческой деятельности; и потому естественно, что социальная наука, нацеленная на расширение и совершенствование этой функции, должна найти в языке свой основной инструмент.

Языковые записи можно использовать как объективные данные для изучения личного и группового поведения; например, Томас и Знанецкий использовали таким образом письма, напечатанные в их книге «Польский крестьянин»¹. Либо язык можно использовать как инструмент, с помощью которого квалифицированные наблюдатели определяют и регистрируют особенности поведения, которые не могли бы иначе быть сохранены.

Под влиянием физической науки сформировалась привычка мыслить «научное» и «литературное» как антитетические категории. Я считаю, что нам придется выбросить из головы эту идею и прийти к пониманию того, что литературная техника – точная, дисциплинированная, ответственная и вместе с тем живая и образная – незаменима для социального описания. Даже в науках о поведении животных литературные таланты таких натуралистов, как У.Х. Хадсон и Уильям Биб, служат не просто украшением, а частью их научного оснащения. В психологии некоторые авторы, особенно Уильям Джеймс, пользовались драматическими пассажами, оригинальными или цитируемыми, для описания типичного человеческого поведения; и у нас в социологии мы видим растущий выпуск серьезной описательной литературы, которая не теряет научности от того, что животным, привычки которого в ней описываются, является человек. Такая работа не может быть хорошо сделана без мастерского владения инструментом.

Во многом нынешний скептицизм относительно возможности науки о человеческой жизни вытекает из концепции науки, исключаящей те живые и драматические аспекты, без которых жизнь просто не была бы человеческой. Бихевиоризм обещает вернуть драматическому его законное центральное место.

Поведенческие процессы, которые мы изучаем, могут быть обширны, сложны и труднодоступны, как, например, процедуры нашего государства в сфере налогообложения и сбора налогов, либо иметь малый масштаб и быть довольно легкодоступными, как, например, поведенческие процессы многих индивидов и семей. В последнем случае исследователь может понять их, иденти-

¹ Thomas W.I., Znaniecki F. The Polish peasant in Europe and America: In 5 vol. – Boston (MA): R.G. Badger, 1918–1920. – *Прим. ред.*

фицироваться с ними и представить их другим в виде весьма полной и близкой к жизни биографии. Именно это я и понимаю под кейс-стади: это прямое и всестороннее изучение жизненных историй, в отличие от сбора той косвенной, частичной и несколько абстрактной информации, относящейся к таким историям, которой нам часто приходится довольствоваться.

Все мы, полагаю, чувствуем, что в кейс-стади есть что-то особенно реальное и стимулирующее, даже когда его вклад в теорию неочевиден. Оно углубляет наши восприятия и дает нам более ясное понимание жизни. Оно является подлинно бихевиористским, подходя к поведению напрямую, а не косвенно и абстрактно. Если у нас будет достаточно таких исследований и ими будет охвачено достаточное разнообразие типов, репрезентативное для социального процесса, то это позволит нам понять этот процесс и, возможно, предвидеть его ход.

Хотя обычными объектами кейс-стади являются личности и семьи, этот метод можно распространить и на другие составные части социального процесса: на жизненные истории групп и институтов, не слишком больших для такого непосредственного и тотального рассмотрения. Это тоже живые вещи, и они дают поле для бихевиористских исследований, коим, хотя его и нельзя назвать неведомым, до сих пор сравнительно пренебрегали. Ничто не сможет его заменить; это отдельный и незаменимый метод.

Наверное, мне необходимо объяснить, как я понимаю разницу между институтом и группой. Здесь все по большому счету зависит от точки зрения. Группа – это прежде всего совокупность людей, как, например, семья, полк, конгрегация, совет директоров. Группа может либо участвовать, либо не участвовать в институте, т.е. в непрерывной органической деятельности, обладающей собственным социальным наследием и методами кооперации, которыми она оснащает входящих в нее людей. Даже если они участвуют, значительная часть их личности может иметь мало общего с институтом; они принадлежат ему только некоторыми привычками и интересами. С другой стороны, институт – больше чем группа; его жизненность заключена в органической целостности передаваемых идей, которая имеет способность мобилизовывать деятельности группы, но рождается по большей части не с группой и не может быть объяснена просто как продукт составляющих ее личностей. Она должна видаться как отдельный органический процесс.

Каждый, кто пробовал себя в социальном исследовании, в этот момент скорее всего спросит, насколько возможно выделить

для анализа простые, отдельные и репрезентативные социальные процессы. Разве не факт, что целостный институциональный комплекс внутри настолько хитро сплетен, что мы ничто не можем отделить от остального, не разрушив тем самым его реальность? Можно ли надеяться понять такую целостность, выстраивая ее из предполагаемых элементов? Все совершенно верно, но это относится к изучению не только институтов, но и личностей. Никакой анализ личности невозможен в отрыве от того социального комплекса, аспектом которого она является. Как поступает аналитик? Он добывает такое знание о социальном комплексе, которое кажется наиболее относящимся к делу, и, используя его в качестве основы, переходит к интенсивному изучению личности, возможно, ища дополнительное знание о комплексе по мере того, как в нем возникает необходимость. Так же мы поступаем и при анализе институционального процесса: мы должны отобрать для изучения элементы, являющиеся как можно более отдельными, типичными и управляемыми, и подвергнуть их интенсивному изучению на фоне такого знания среды (*milieu*), какое только мы сумеем добыть, ожидая, что одним из результатов нашего исследования станет приращение этого знания.

Но что же именно мы хотим узнать о поведении малых институтов? Допустим, мы отобрали какой-то для наблюдения. Что мы будем наблюдать? Я исхожу из того, что наша цель – понять, какую роль изучаемая нами форма жизни играет в социальном процессе, а также, возможно, предвидеть ее оперирование, узнать, как можно повлиять на нее, и посредством сравнения распространить наше знание на другие формы, более или менее похожие на эту. Зрелая наука о таких формах, видимо, должна включать установление типов и близкое знакомство с особенностями работы каждого.

Я полагаю, что каждый институт, занимая свое место в мире, должен иметь особый характер и функцию, объясняющие его жизнеспособность. Наверное, первой нашей целью должно стать установление его характера и функции, выяснение того, как он вызывает к человеческой природе и обретает способность ставить часть человеческой жизненности себе на службу. Так, коммерческие институты имеют, в общем и целом, очевидные функции, но адекватная характеристика успешного торгового института должна была бы включить также и те тонкости организации и духа, которые объясняют, как именно и почему этот институт жизнеспособен, в то время как другие, если и жизнеспособны, наполняются

жизненностью как-то иначе. Мне приходилось, например, сталкиваться с несколькими издательскими концернами, и, на мой взгляд, изучить особенности их поведения было бы очень поучительно. Даже общие функции не всегда очевидны. В случае Ку-клукс-клана может с самого начала требоваться исследование, чтобы выяснить, почему такой институт вообще существует. Или возьмем университетский футбол – институт, ранг которого вырос буквально на наших глазах. В нем имеется что-то большее, нежели очевидные атлетические функции; мы не смогли бы его объяснить, не разобравшись в массовой психологии, в ее эксплуатации организованным спортивным интересом, приросшим к системе образования (кое-кто считает это «ростом раковой опухоли»), а также в использовании университетскими чиновниками игры как средства мобилизации выпускников. То же касается патриотических институтов (вроде Лиги национальной безопасности), политических (вроде Таммани-холла), религиозных (вроде Армии спасения), подростковых банд, уже ставших объектом примечательных исследований. Пытливому исследователю эти и многие другие институты принесли бы, вероятно, интересные результаты.

Этот глубинный и отличительный характер института можно сравнить с темой симфонии, которая постоянно возвращается и которую весь организм музыки то так, то иначе разворачивает. Как и она, этот паттерн пронизывает всю паутину, коей это особое сплетение и оказывается. Его установление и формулировка могут требовать столько же воображения и проницательности, сколько требуется для выявления и описания личностного эго. И, подобно последнему, он, будучи схваченным, попадает в фокус нашего исследования.

После установления характера, или темы, института можно, полагая, перейти к исследованию того, как институт развивается и работает в разных условиях, как он действует, реагирует и модифицируется, как со временем может преобразиться его характер. У него будут свои механизмы нападения и защиты, методы рекрутирования и обучения и – насколько его процессы сознательны – какое-то оснащение для исследования, дискуссии, оценивания, планирования и пропаганды. Будут также взаимодействия внутри института между его наследием и людьми, несущими его в будущее (скажем, лидерами и экспертами), дисциплина и багаж соответствующих нравов. Во все это исследователь должен добросовестно вникнуть, если хочет понять, как жизнь института поддерживается и обогащается.

Сложилось так, что без всякого планирования с моей стороны, а главным образом по инициативе самих студентов, недавно в аспирантуре Мичиганского университета было проведено несколько исследований, более или менее близких по типу к тому, который здесь обсуждается. Среди них лучшим примером завершеного исследования является диссертация Рида Бейна, выдвинутая на защиту в 1926 г. Она называется «Рост института: Социологическая интерпретация Ассоциации сыроварен округа Тилламук в Тилламук, шт. Орегон». Это добросовестное исследование жизненной истории фермерской организации, достаточно старой, чтобы иметь хорошо определенное и успешное институциональное развитие. Д-р Бейн пишет не в абстрактном или просто академическом стиле, а с душевной вовлеченностью в свой предмет, которая особенно заметна в описательных частях работы, в том числе в полной симпатии главе «Корова». Убедительно показаны особый характер, жизненные процессы и трансформации института; проведены показательные сравнения с другими институтами более или менее схожего типа. Тема сотрудничества производителей выведена в область более ясного видения, и это видение проецируется в какой-то мере на более широкую теорию и практику кооперации и ее вероятное будущее. Рассмотрение этой ассоциации производителей сыра внушило д-ру Бейну мысль о возможности превращения сельского округа в интегрированную социальную организацию, выстроенную вокруг главенствующего сельскохозяйственного интереса. Мы не знаем, осуществимо ли это практически, но предлагать такие возможности и исследовать их практическую осуществимость есть, несомненно, одна из высших целей исследования.

Еще одним завершенным исследованием, примерно таким же по типу, является исследование студенческой ассоциации в Мичигане, проведенное Робертом К. Энджеллом. Скоро, уже нынешней зимой, оно выйдет в виде книги под названием «Кампус». Это исследование не единичного института, а ограниченного институционального комплекса, выросшего совсем недавно, поразительно открытого для наблюдения и очень значимого для образования и для социального процесса в целом. Автора, используя термин Линдемана, можно назвать «включенным наблюдателем» (participant observer), который опирается на собственное недавнее знакомство с жизнью кампуса в такой же степени, в какой и на собранную статистику, и способен благодаря этому оживить свои факты аутентичной интерпретацией. Когда у нас будет больше

таких исследований – а так, несомненно, и будет, – они существенно прояснят американское образование.

Третье исследование еще проводится, и из исследований, которые пока не доведены до конца, оно, пожалуй, лучшее. Надо дать ему сохранить ту уединенность и неопределенность, которой преждевременное обнародование могло бы повредить. Но, вероятно, мы не причиним ему вреда, если скажем, что оно посвящено институту, занятому конкретной социальной реформой и предположительно более или менее типичному среди институтов этого рода. Такое исследование, если со знанием дела его провести, должно дать лучшее понимание процессов социального лидерства и контроля, с которыми такие институты связаны.

Тип исследования, который я здесь обсудил, кажется мне настолько же многообещающим, как и другие, пользующиеся большей благосклонностью. По крайней мере, это один из способов, благодаря которым мы можем рассчитывать на расширение нашего знания о том, что происходит в мире, а также нашей способности контролировать этот процесс.

МЕТОД ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИИ К СЕЛЬСКИМ СОЦИАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ (1929)^{*1}

Цель всех наших научных изысканий состоит, на мой взгляд, в более адекватном восприятии жизни, в лучшем понимании того, что происходит, а для этого мы должны каким-то образом расчленивать социальный комплекс и рассматривать его по частям. В общем и целом, есть, видимо, два способа это сделать. Можно изучать действительных людей или действительные группы вплотную и использовать добытые таким образом восприятия как ядро, в опоре на которое можно строить понимание других людей и групп и, в конце концов, всего комплекса. Примерно так же натуралист, спрятавшись на вершине дерева с фотоаппаратом, наблюдает и регистрирует поведение пары птиц, строящей гнездо, рассчитывая с помощью серии таких исследований понять поведение вида. Это метод интенсивного наблюдения, пользующийся известностью как кейс-стади. Когда он принимает форму жизнеподобного описания, охватывающего некоторый период времени, его можно более точно назвать методом жизнеизучения (life study); именно этим термином я и буду сегодня пользоваться.

^{*} Перевод сделан по источнику: The life-study method as applied to rural social research // Papers and publications of the American sociological society. – Chicago (IL), 1929. – Vol. 23. – P. 248–254. Впервые был опубликован в сборнике: Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX века: Сб. переводов / РАН. ИНИОН. Центр социал. научн.-информ. исследований. Отд. социологии и социал. психологии; сост. и переводчик В.Г. Николаев; отв. ред. Д.В. Ефременко. – М., 2010. – С. 120–129.

¹ Доклад, прочитанный в 1928 г. на собрании Американского социологического общества.

С другой стороны, можно проводить наблюдение в большом масштабе и уделять внимание индивидуальному случаю лишь для того, чтобы увидеть, проявляет он некоторые стандартизированные черты или нет; в этом случае к объекту подходят со средними, шкалами, графиками и т.п., которые можно в некоторых целях рассматривать как представляющие социальный комплекс. Этот метод сродни методу натуралиста, который пристреливает своих птиц и описывает их на основе измеряемых характеристик, таких, как длина клюва или число разных типов перьев в крыльях, а затем переходит к классификации их на виды и разновидности, дабы изучить их распределение, миграции и эволюцию. Это метод экстенсивного абстрактного наблюдения, знакомый всем как метод статистики. У него есть хорошо известные преимущества, на которых мне нет нужды останавливаться; вместе с тем ему присущ тот недостаток, что он всегда остается абстрактным и схематичным, никогда не схватывает жизнь в ее органической реальности. Он обладает числовой точностью (никоим образом не тождественной верности фактам), но не стремится к той описательной точности, которая может быть достигнута с помощью искусного использования языка, а также, возможно, фотографии, фонографии и других механических инструментов.

Некоторые недооценивают описание на том основании, что оно не количественное и, следовательно, не допускает точного измерения и сравнения. Но, как мне кажется, они упускают из виду два факта: во-первых, что специфически человеческое, или социальное поведение, являющееся феноменом скорее паттернов, чем количеств, – паттернов выражения лица, жеста, голоса, слов и т.п., – можно перевести в количественную форму лишь посредством некоторого рода фикции, которая часто бывает полезной и, стало быть, оправданной, но при этом выводит процедуру за рамки точной науки; и, во-вторых, что идея количественного, выдвигающая исключительную претензию на то, чтобы быть истинной или совершенной формой знания или даже единственной, которая делает науку возможной, вытекает из устаревшей философии, от которой, по всей видимости, желательно было бы уйти¹.

¹ Современный взгляд на эти вещи можно найти, например, в: Whitehead A.N. Science and the modern world. – N.Y.: Macmillan, 1925; Sellar R.W. Principles and problems of philosophy. – N.Y.: Macmillan, 1926; Koffka K. The growth of the mind. – L.: Routledge & Kegan Paul, 1925; а также в недавно опубликованной брошюре: Ritter W.E. The organismal conception, its place in science and its bearing on

Все естественные науки в первую очередь описательны, и социология – та естественная наука, в которой описание разнообразнее и вызывает больше затруднений, чем в любой другой. Что бы мы подумали о зоологии, если бы она не давала близкого к жизни описания животных?

С утвердительной стороны – «измеряй все, что можешь измерить» – количественный идеал восхитителен. С негативной стороны – «не занимайся ничем, чего не можешь измерить» – он, на мой взгляд, обструкционистский.

Осмелюсь утверждать, что мы не можем ожидать удовлетворительного проникновения ни в какой социальный комплекс без жизнеизучения главных социальных агентов, в него вовлеченных. Это единственный способ, которым мы можем провести живой, а не анатомический анализ. Я исхожу из того, что мы пытаемся постичь человеческий смысл наших институтов и процессов, как они проявляются в жизнях мужчин, женщин и детей. Как можем мы рассчитывать на успех, не восприняв происходящее так, как это делают люди?

Мы постоянно отмечаем, что даже мыслящих людей вряд ли возможно заинтересовать описанием общества, в котором нет близости к жизни, и что статистика обычно считается невыносимой для чтения, если только это не приложение к чему-то более человеческому. Из миллионов людей, увлеченно читающих о Гофер-Прейри, Зенит-Сити и Вайнсберге, шт. Огайо, мало кто, вероятно, будет обращать внимание на статистическое обследование этих мест. Просто ли это следствие ленивости человеческого ума или для этого есть некие основания в здравом смысле и рациональном поиске знания? Должен сказать, что верно последнее. Основа реальности для нашего знания людей содержится в симпатических, или драматических, восприятиях; без них мы зависаем в состоянии неопределенности. Поэтому неудивительно, что здравый смысл требует, прежде всего, чтобы у нас была возможность сформировать такие восприятия. Романист дает нам нечто человеческое, драматичное, реальное – окрашенное, несомненно, его темпераментом и точкой

philosophy. – Berkeley: Univ. of California press, 1928. Позиция Уайтхеда особенно интересна, ведь это выдающийся физик, призывающий отказаться от атомистической и механической концепции природы, которой физики до сих пор придерживаются, и заменить ее органической концепцией, которая, соответствуя очевидным фактам общества, широко используется в социологии. Некоторые из наших коллег явно навязывают нам «допотопную физику», натягивая на себя ветхие одежды, от которых сами физики уже отказываются.

зрения, но гораздо более близкое к истине, чем любое описание с помощью чисел. Он бихевиорист, изображающий людей в действии и показывающий умы и тела, совместно функционирующие в органическом процессе. Мы не можем совершенно пренебречь его методом, если хотим осуществить социологию как науку о жизни.

Обозревая примеры последних исследований в сельской местности, я восхитился талантом и трудолюбием исследователей и отметил для себя, что некоторые из них стремятся одушевить свою работу с помощью кейс-стади. В целом, однако, мне показалось, что исследователи, несколько одержимые мыслью, что они не должны представлять ничего неколичественного, как-то нерешительны в попытках дать близкий к жизни портрет поведения. Мне вспоминается, например, одно недавнее исследование сельских поселений, опубликованное в нескольких томах Институтом социальных и религиозных исследований. Оно восхитительно почти во всех отношениях. Информация была добросовестно собрана, разумно организована и ясно представлена. Но у читателя определенно не остается ощущения того, что он заглянул в глубь жизни этих деревень. По-видимому, ставится жестко задача – особенно это заметно в квазирелигиозном исследовании – оставаться на внешней позиции по отношению к вещам, включая религию, и выдерживать количественный подход любой ценой. Так, относительно лидерства я читаю:

«В рамках этого исследования мы не можем разработать шкалу для того, чтобы оценить лидерство, проанализировать его качество или даже выделить факторы, которые бы объяснили лидерство, атрибутируемое индивиду; никакой ранее разработанной методологией для этого мы тоже не располагали. Лидерство, несомненно, было жизненно важным фактом в этих деревнях, но точное его изучение – задача для будущего»¹.

Близкое к жизни изображение типичных лидеров с помощью компетентного биографического или автобиографического описания их поведения в критических ситуациях, по всей видимости, рассматривалось либо как ненаучное, либо как невыполнимое.

Наблюдение, лишённое воображения, – поверхностное наблюдение, и неважно, каким методом оно ведется. Всякая наука требует воображения, и в нашем случае оно в основном принимает

¹ Brunner E. de S. Village communities. – Garden City (NY): Doubleday, Doran & co., 1928. – P. 93.

форму мысленного проникновения в мотивы, делающего возможным проницательное описание поведения.

Более удовлетворительно, с представленной нами здесь точки зрения, исследование специальных групп интересов в Висконсине, проведенное Колбом и Уиледеном¹. Оно основано на кейс-стади 351 группы; материал, полученный из анкет, был искусно обработан с помощью статистических и иных методов, в том числе был представлен совокупный, или обобщенный, жизненный цикл изученного вида организаций. Есть также восемь отобранных частных историй (case-histories), иллюстрирующих особенно интересные процессы². Я высоко ценю этот отчет и спрошу лишь в порядке критики: разве не стали бы эти истории ближе к жизни, если бы были изложены в повествовательной (narrative) форме, а не в виде отдельных параграфов?³

Позвольте произнести похвальное слово в адрес почти классического исследования – «Американского городка» Уильямса⁴. Я не назвал бы эту работу образцом метода. Она хороша другим: погрузившись в свой материал, Уильямс размышлял над ним и вживался в него до тех пор, пока не достиг глубокого понимания людей, о которых он пишет. Он пишет драматично – не по форме, а по существу – благодаря своему пониманию (insight) поведения, и к последнему читатель имеет возможность приобщиться.

Целью описательной техники в сельской социологии должно быть, на мой взгляд, такое изображение существенного функционального поведения сельских людей и групп, при котором их жизнь могла бы быть понята во всей ее драматической реальности, насколько только возможно. Она стремится дать «наглядные образцы», по которым читатель мог бы составить близкое к жизни и справедливое представление о происходящем. Это предполагает

¹ Kolb J.H., Wileden A.F. Special interest groups in rural society. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 1927. – (Research bull.; N 84). – *Прим. ред.*

² Мне хотелось бы больше случаев, таких же красноречивых, как рассказ о встрече Клуба сообщества Саннисайда.

³ Я задаюсь вопросом, не является ли использование отдельных параграфов с заголовками разных типов по всему тексту отчета избыточным. Текст трудно читать последовательно. Для придания ему большей плавности я посоветовал бы собрать заголовки, проясняющие структуру текста, в начале глав или вынести их на поля. Мне кажется также, что нужна читабельная заключительная глава, в которой суммировались бы выводы.

⁴ Williams J.M. An American town: A sociological study. – N.Y.: J. Kempster, 1906. – *Прим. ред.*

продуманный отбор событий, которые являются существенными, которые раскрывают ключевые функции, или, так сказать, выдающиеся события. В научном описании, так же как и в пьесе, не должно быть ничего случайного и поверхностного. Нужно показать только необходимое; но показать его надо так продуманно и наглядно, чтобы это было убедительно. Какие наглядные случаи отбирать в связи с осуществляемыми сегодня проектами сельских исследований – исследованиями стандарта жизни фермерских семей, молодежных организаций, сельской церкви, сельской миграции, сельского лидерства и т.д., – об этом я здесь говорить не буду. Но мне кажется, что все они могут и должны быть обогащены такими случаями. Почему стандарт жизни должен раскрываться только с помощью статистики? Почему бы не добавить к ней описание того, как он проявляется в жизни?

Я не уверен, что существуют какие-либо модели, которые можно было бы безоговорочно рекомендовать сельским социологам как руководство к их техникам описания; нам нужно что-то новое, что-то, что соединило бы в себе пронизательность литературы с беспристрастностью и фактуальной истиной науки. Полезные примеры, однако, можно найти в самых разных источниках.

Первый и самый важный из этих источников вдохновения – хорошая работа, уже сделанная в области изучения села, например, вышеупомянутые исследования. Более широкий обзор социологии даст много поучительных примеров использования автобиографий, дневников, интервью и других материалов для изучения жизни.

Близко связанной с социологией отраслью литературы, из которой мы могли бы немало почерпнуть, является изображение социальной психологии народов, отличных от нашего. Хотя большинство таких исследований далеки от науки, есть среди них и хорошие, например, недавнее исследование Германии, опубликованное проф. Дантоном из Пекина¹. Его способ видения социологический и проникновенный, а приводимые им факты не становятся менее убедительными от того, что лишены формального упорядочения. Он, так сказать, психоаналитически разобрал многочисленные типы немцев, и сделал это с замечательной ясностью и умением, благодаря чему мы имеем возможность реально понять их поведение.

¹ Danton G.H. Germany, ten years after. – Boston (MA); N.Y.: Houghton Mifflin, 1928. – *Прим. ред.*

Более формальное использование психоанализа можно обнаружить в научной психиатрии, которая развила поисковый тип кейс-стади с помощью интервью; пожалуй, лучшие его образцы дают нам исследования юношеской делинквентности, в частности работы д-ра Хили. Этот инструмент вполне можно было бы сфокусировать на представительных персонажах сельской сцены. Это субъективный метод, опирающийся в используемых данных на проницательность и суждение наблюдателя, а не на что-либо независимое от его личности. Поэтому его трудно контролировать, и он подвержен влиянию предпонятий. Однако ему можно доверять, когда мы уверены в наблюдателе и имеем другие средства для подтверждения полученных им результатов. Обучение этой технике можно проводить в школах социальной работы и в некоторых университетах.

Еще одна техника, с которой вполне стоит ознакомиться, – это техника антропологии, находящаяся в хороших описательных монографиях. Как объект наблюдения примитивное племя не отличается радикально от какого-нибудь непознанного аспекта нашего собственного общества, и в компетентной работе, например в работе У.Х.Р. Риверса о тода¹, мы можем увидеть, как его можно описать. Такие же хорошие примеры, вероятно, можно было бы найти и в американской антропологии.

Важной особенностью антропологической техники является широкое использование фотографии для показа типичных людей, как отдыхающих, так и функционирующих в обычных (customary) процессах племени. Я могу добавить, что плодотворного развития можно ждать и в сфере механической регистрации социального процесса с помощью кинофильмов, звукозаписи и т.п. Выше я уже отмечал, что социальная жизнь в разумном ее аспекте являет себя в паттернах, а не в количествах, и коли это так, то техники, с помощью которых можно регистрировать паттерны, многое сулят науке.

Что касается литературной техники в целом, то социолог должен ей учиться хотя бы потому, что это одна из самых точных и глубоких форм коммуникации, сама являющаяся интереснейшим социальным процессом. Используя ее как средство социального описания, он не будет стремиться ни к чему, что могло бы своей яркостью отвлечь его внимание или внимание читателей от трезвой истины. Вместе с тем его долг – дать живой транскрипт своих восприятий. Я склонен думать, что главное и, возможно, единст-

¹ Rivers W.H.R. The Todas. – L.; N.Y.: Macmillan, 1906. – *Прим. ред.*

венное правило, которому нужно следовать, такое: он должен сначала убедиться, что сам ясно понимает, что он хочет описать, а потом терпеливо постараться это выразить, заботясь о том, чтобы работа происходила только тогда, когда ум свеж и в голове полная ясность. У лучших писателей, полагаю, нет никакого другого метода; любое формальное правило и любое подражание образцу окажутся обманом. Недавно я весьма досконально изучил один прекрасный современный роман, рассчитывая выяснить, как автору удалось так хорошо изобразить характер¹. Мой главный вывод после обследования множества мест состоял в том, что описание там настолько многоплановое, настолько ускользающее и настолько неуловимо суггестивное, что, видимо, у автора не было вообще никакой формальной техники, а она, держа в сознании живой образ, просто показывала поведение персонажа в каждой ситуации так, как она его видела. Зримое, наглядное описание было менее частым, чем я ожидал; фактически имело место избегание внешнего драматизма в пользу тонкой передачи драмы мысли и чувства. Но ведь это не эзотерический труд, а бестселлер.

Как бы то ни было, техника описательной социальной науки вряд ли может быть техникой романиста, ведь последний стремится передать что-то придуманное им самим, действительность чего не составляет проблемы; он стремится лишь убедить читателя в том, что это могло бы быть правдой. Со своей стороны, ученый стремится описать событие, а также подкрепить его множеством фактов. Таким образом, у него есть резон делать упор на нечто осязаемое, вводить верифицируемые детали, имеющие отношение к делу, и передавать вербальное поведение отчасти путем прямого цитирования. Но в конце концов главным должно быть его собственное видение факта; если он не передаст его, то не передаст ничего стоящего. Обрушивание на читателя неотобранных и неорганизованных фактов сделает автора просто-напросто невразумительным.

Возможно, стоит на миг приостановиться, прежде чем подвести итоги, и рассмотреть вопрос о том, должно ли социальное описание ограничиваться отчетом о внешнем поведении, в том числе речевом, или оно должно также сообщать о тех ментальных состояниях, которые наблюдатель воспринимает посредством наития и истинность которых он не может подтвердить ничем осязаемым. Несомненно, такие наития следует предлагать и воспринимать с осторожностью и постоянно сверять с чем-то более

¹ «Смерть пришла архиепископу» Уиллы Кейтер.

верифицируемым. Если бы мы располагали совершенной техникой для видения и регистрации всего внешнего поведения, то, наверное, у наблюдателя появилась бы возможность просто отбирать и представлять то, что он сочтет более значимым, без всяких дальнейших комментариев. Но даже это предполагало бы интерпретативный инсайт, и ввиду нынешней неадекватности наших средств записи я считаю, что попытка описать человеческие события сугубо извне нереалистична, и наука, как и здравый смысл, оправдывает нас, когда мы даем какую-то меру интерпретации. Истина в том, что наши повседневные восприятия поведения человека являются смесью зримого и слышимого с воображениями скрытого за ним психического процесса; без последних мы вообще не могли бы за ним следить, непременно потеряли бы его след и упустили самое значимое даже в том, что могли бы видеть и слышать. Таково все наше взаимодействие друг с другом. Мы воспринимаем поведение другого человека, приписываем ему соответствующее ментальное состояние, реагируем на это ментальное состояние своим поведением и отмечаем, демонстрирует ли его дальнейшее поведение то, что мы правильно его поняли. Обычно оно это демонстрирует, и так мы эмпирически узнаем, что можем понять и понимаем его ментальный процесс вполне хорошо, чтобы успешно на него реагировать и вызывать в ответ желаемые реакции. Приписывание хода ментального поведения имеет, стало быть, характер рабочей гипотезы, направляющей и уточняющей наше наблюдение хода внешнего поведения. Если мы наблюдаем только внешнее, то будем наблюдать его поверхностно. Кто бы замечал, скажем, неуловимые, но выразительные различия в очертаниях рта и глаз, если бы не научился благодаря процессу, заключающему в себе интроспекцию, связывать их с интересными состояниями чувств. Сугубо внешний бихевиоризм был бы поверхностным бихевиоризмом, и если те, кто признается в игнорировании внутреннего, не всегда поверхностны, то, полагаю, именно потому, что они не всегда верны своему принципу.

ЧАРЛЬЗ ХОРТОН КУЛИ ИЗБРАННОЕ

Сборник переводов

Оформление обложки И.А. Михеев
Компьютерная верстка Н.В. Афанасьева
Корректор О.П. Дормидонтова

Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953. П. 5008.8.99 от 23.08.1999 г.
Подписано к печати 4/III – 2019 г. Формат 60х84/16
Бум. офсетная № 1. Печать офсетная
Усл. печ. л. 14,7 Уч.-изд. л. 13,5
Тираж 300 экз. (1–100 экз. – 1-й завод)
Заказ № 138

**Институт научной информации
по общественным наукам РАН,
Нахимовский проспект, д. 51/21,
Москва, В-418, ГСП-7, 117997**

**Отдел маркетинга и распространения
информационных изданий
Тел. / Факс: (925) 517-36-91
E-mail: inion@bk.ru**

Отпечатано по гранкам ИНИОН РАН
ООО «Амирит»
410004, Саратовская обл., г. Саратов
ул. Чернышевского, д. 88, литера У